# Возраст зрелости

# Жан‑Поль Сартр

Ванде Козакевич

I

Посреди улицы Верцингеторига какой‑то верзила схватил Матье за руку; на другой стороне по тротуару прохаживался полицейский.

— Дай мне что‑нибудь, шеф, я хочу есть. У него были близко посаженные глаза, из толстогубого рта разило алкоголем.

— А может, выпить? — спросил Матье.

— Ну что ты, старина, что ты, ей‑богу, нет, — заплетающимся языком пробубнил верзила.

Матье нашарил в кармане монету в сто су.

— Да мне на это наплевать, — успокоил его Матье, — это я так, к слову. И протянул монету.

— Молодец, — забормотал, прислоняясь к стене, верзила. — Сейчас я пожелаю тебе что‑нибудь потрясающее. Скажи‑ка, чего тебе пожелать?

Оба они задумались, потом Матье сказал:

— Чего хочешь.

— Ну ладно, пожелаю тебе счастья, — изрек верзила, — вот так!

Он победоносно засмеялся. Матье увидел, что полицейский приближается к ним, и встревожился за пьянчугу.

— Ну, хватит, — поторопил он его. — Прощай! Он хотел уйти, но верзила его задержал.

— Одного счастья мало, — сказал он мягко, — это мало.

— Что ты имеешь в виду?

— Хочу тебе что‑нибудь подарить...

— Сейчас я задержу тебя за попрошайничество, — пригрозил полицейский.

Он был совсем молодой, розовощекий, но пытался напустить на себя суровость.

— Ты уже полчаса пристаешь к прохожим, — добавил он неуверенно.

— Он не попрошайничал, — живо возразил Матье, — мы просто разговаривали.

Полицейский пожал плечами и отправился своей дорогой. Верзила основательно шатался; казалось, он даже не заметил полицейского.

— Придумал, что тебе подарить. Подарю тебе марку из Мадрида.

Он вынул из кармана зеленый картонный прямоугольник и протянул его Матье. Матье прочел надпись на испанском и французском:

«С.П.Т. Конфедеральный ежедневник. Оттиск 2. Франция. Анархосиндикалистский комитет, 41, улица Бельвиль. Париж XIX». Марка была приклеена под адресом. Она была тоже зеленая, с мадридским штемпелем. Матье протянул руку:

— Большое спасибо.

— Осторожно! — прорычал верзила. — Это же... это же из Мадрида!

Матье посмотрел на него: у того был взволнованный вид, он делал отчаянные усилия, чтобы выразить свою мысль. Потом отказался от этого и только повторил:

— Из Мадрида!

— Я понял.

— Клянусь тебе, я хотел туда поехать. Да не удалось. Он помрачнел, сказал: «Подожди», — и медленно провел пальцем по марке.

— А теперь можешь ее взять.

— Спасибо.

Матье сделал несколько шагов, но субъект окликнул его:

— Эй!

— Чего тебе? — спросил Матье. Тот показал ему издалека монету.

— Тут один тип дал мне сто су. Хочешь, угощу тебя ромом?

— Как‑нибудь в другой раз.

Матье ушел со смутным сожалением в сердце. В его жизни был период, когда он бесцельно слонялся по улицам и по барам, и первый встречный мог его куда‑нибудь пригласить. Теперь с этим покончено: к чему? Но типчик попался презабавный. Он собирался сражаться в Испании. Матье ускорил шаг и с раздражением подумал: «Так или иначе, нам нечего было сказать друг другу». Он вытащил из кармана зеленую открытку: «Она из Мадрида, но адресована явно не ему. Вероятно, кто‑то ему ее дал. Перед тем как подарить, он много раз потрогал ее — еще бы, она пришла из Мадрида! На его физиономии было написано странное волнение». Матье, в свою очередь, на ходу посмотрел на марку, затем опустил картонный прямоугольник в карман. Раздался гудок локомотива, и Матье подумал: «Я уже старик».

Было без двадцати пяти одиннадцать; Матье пришел раньше условленного срока. Он прошагал, не останавливаясь и даже не поворачивая головы, мимо маленького голубого домика. И все же искоса посмотрел на него: все окна были темны, кроме окна мадам Дюффе. Марсель еще не успела открыть входную дверь. Она сейчас склонялась над матерью и грубыми мужскими движениями устраивала ее в большой кровати с балдахином. Матье был мрачен, он думал: «Пятьсот франков, а ведь надо дотянуть до двадцать девятого, это по тридцать франков в день, даже меньше. Как я управлюсь?» Он повернул и пошел обратно.

В комнате мадам Дюффе свет погас. Через какое‑то время осветилось окно Марсель; Матье пересек мостовую, прошел мимо бакалейной лавки, стараясь не скрипеть новенькими подошвами. Дверь была приоткрыта; он слегка толкнул ее, она скрипнула: «В среду принесу масленку и смажу петли». Он вошел, закрыл дверь, в темноте разулся. Ступеньки слегка поскрипывали: Матье осторожно поднялся по лестнице, держа в руках туфли; он нащупывал каждую ступеньку ногой, прежде чем стать на нее. «Какой фарс», — подумал он. Марсель открыла дверь раньше, чем он добрался до площадки. Розовый, пахнущий ирисом пар просочился из комнаты и распространился по лестнице. Марсель была в зеленой рубашке. Матье увидел просвечивавшую сквозь нее нежную и массивную окружность ее бедер. Он вошел; ему всегда казалось, что он входит в раковину. Марсель заперла дверь на ключ. Матье направился к большому шкафу, встроенному в стену, открыл его и поставил туда свои туфли, потом посмотрел на Марсель и почуял что‑то неладное.

— Что‑нибудь не так? — тихо спросил он.

— Нет, все в порядке, — тихо отозвалась Марсель, — а у тебя?

— Все в норме.

Он поцеловал ее в шею и в губы. Шея пахла амброй, а губы — обыкновенным дешевым табаком. Пока Матье раздевался, Марсель присела на край кровати и рассматривала свои ноги.

— А это что? — спросил он.

На камине стояла фотография, которую он еще не видел. На ней была стройная девушка, причесанная под мальчика, со строгой и застенчивой улыбкой. На девушке был мужской пиджак и туфли без каблуков.

— Это я, — сказала Марсель, не поднимая головы. Матье обернулся: Марсель задрала рубашку над полными бедрами; она наклонилась вперед, и Матье угадывал под рубашкой нежность ее тяжелой груди.

— Где ты ее отыскала?

— В альбоме. Она снята летом двадцать восьмого года. Матье аккуратно свернул пиджак и положил его в шкаф рядом с туфлями. Он спросил:

— Ты теперь смотришь семейные альбомы?

— Нет, но сегодня, не знаю почему, мне захотелось снова найти что‑то из моей прежней жизни, какая я была до того, как узнала тебя, когда я еще была здорова. Дай ее мне.

Матье протянул ей фотографию, и она вырвала ее у него из рук. Он сел рядом. Марсель вздрогнула и немного отодвинулась. Она рассматривала фотографию, неопределенно улыбаясь.

— А я тут забавная, — наконец сказала она. Девушка стояла напряженно, облокотившись о садовую решетку. Рот ее был полуоткрыт; должно быть, она тоже говорила: «А я забавная», — говорила так же неловко и напряженно, с таким же скромным вызовом. Только тогда она была молодой и худощавой. Марсель покачала головой.

— Забавно! Забавно! Меня снял в Люксембургском саду студент‑фармаколог. Видишь эту блузку? Я ее в тот же день купила, потому что в следующее воскресенье намечалась большая прогулка в Фонтебло. Боже мой...

Нет... Определенно, что‑то случилось. Никогда ее движения не были такими резкими, а голос таким грубым, таким мужским. Она сидела в глубине розовой комнаты на краю кровати, больше, чем обнаженная, — беззащитная, как большая китайская ваза, и было мучительно слушать, как она говорит низким голосом и пахнет острым звероватым запахом. Матье взял ее за плечи и притянул к себе.

— Ты жалеешь о том времени? Марсель сухо ответила:

— О том времени нет: я жалею о несостоявшейся жизни. Когда‑то она была погружена в свои занятия химией, но болезнь прервала их. Матье подумал: «Такое впечатление, что она злится на меня». Он открыл было рот, чтобы спросить Марсель об этом, но увидел ее глаза и промолчал. Она разглядывала фотографию грустно и напряженно.

— Я растолстела, да?

— Да.

Марсель пожала плечами и бросила фотографию на кровать. Матье подумал: «А ведь действительно жизнь у нее не сложилась». Он хотел поцеловать ее в щеку, но она, нервно усмехнувшись, мягко воспротивилась этому и сказала:

— С тех пор прошло десять лет.

Матье подумал: «Я ей ничего не даю». Он приходил к ней четырежды в неделю; он подробно рассказывал о своих делах, она давала ему советы серьезным и категоричным тоном и часто говорила: «Я живу чужой жизнью». Он спросил:

— Что ты делала вчера? На улицу выходила? Марсель сделала усталый округлый жест.

— Нет, я слишком утомилась. Немного почитала, но мама все время приставала с магазином.

— А сегодня?

— Сегодня выходила, — угрюмо сказала она. — Захотелось подышать свежим воздухом, потолкаться среди людей. Я дошла до улицы Гэтэ, чтобы развеяться; затем решила повидать Андре.

— Ты была у нее?

— Да, минут пять. Когда я вышла от нее, начался дождь, странный нынче июнь, и потом у людей были такие гнусные рожи... Я взяла такси и вернулась...

Она вяло спросила:

— А ты?

Матье не хотелось распространяться. Он сказал:

— Вчера пошел в лицей прочитать последние лекции. Обедал у Жака; как всегда, это было невыносимо скучно. Сегодня утром зашел в бухгалтерию — узнать, не могут ли мне дать аванс. Оказывается, это не положено. Тем не менее в Бовэ я обо всем договорился с управляющим. Потом я встречался с Ивиш.

Марсель подняла брови и внимательно посмотрела на него. Матье не любил говорить с ней об Ивиш. Он добавил:

— Она сейчас не в духе.

— Это почему?

Голос Марсель окреп, лицо ее приняло разумное мужское выражение; сейчас у нее был вид толстого левантинца. Он процедил сквозь зубы:

— У нее переэкзаменовка.

— Но ты мне говорил, что она занимается.

— Да... на свой лад, то есть она часами сидит над книгой, не шевелясь, но ты ведь знаешь, какая она: у нее, как у душевнобольных, бывают приступы. В октябре она выучила по ботанике все, и экзаменатор был доволен, а потом она вдруг поняла, что сидит перед лысым типом, говорящим с ней о кишечно‑полостных. Ей это показалось смешным, она подумала: «Плевать я хотела на кишечнополостных», — и лысый не смог уже вытянуть из нее ни слова.

— Странная барышня, — задумчиво сказала Марсель.

— Во всяком случае, я боюсь, что она повторит этот номер. А нет, так еще что‑нибудь учудит, вот увидишь.

Что означал этот его тон, тон снисходительного равнодушия — разве не ложь? То, что можно было выразить словами, он выражал. «Но что такое слова!»

С минуту он поколебался, потом обескураженно опустил голову: Марсель знала все о его чувстве к Ивиш, она даже смирилась бы с этой любовью. Требовала она только одного: чтобы он говорил об Ивиш именно таким тоном. Матье, не переставая, поглаживал ее по спине, и Марсель начала помаргивать: она любила, когда он гладил ее по спине, особенно по пояснице и между лопаток. Но внезапно она высвободилась, лицо ее посуровело. Матье сказал ей:

— Послушай, Марсель, мне плевать, что у Ивиш переэкзаменовка, она не больше меня годится для медицины. Как бы то ни было, если сейчас у нее и выгорит, в следующем году ей станет дурно при первом же вскрытии, и ноги ее больше не будет на факультете. Но если на этот раз она провалится, то наделает глупостей. Тем более что в случае провала ее семья запретит ей пробовать еще раз.

Марсель спросила его с расстановкой:

— Какие именно глупости ты имеешь в виду?

— Не знаю, — растерянно пробормотал он.

— Бедняга, как хорошо я тебя изучила. Ты никогда этого не признаешь, но ты боишься, что она продырявит себе пулей шкуру. И он еще заявляет, что ненавидит романтику. Скажи, пожалуйста, ты что, никогда не видел ее кожи? Да ее можно пальцем проткнуть. И ты воображаешь, что куколки с такой кожей будут портить себя выстрелом из револьвера? Я еще могу представить, как она рухнет на стул, волосы свисают на лицо, как она смотрит завороженным взглядом на лежащий перед ней маленький браунинг, — все это очень по‑русски. Но представить другое — нет, нет и нет! Револьвер, дружок, предназначен для такой крокодильей кожи, как моя.

Она приложила свою руку к руке Матье. У него кожа была белее.

— То ли дело моя. Погляди‑ка, ни дать ни взять сафьян.

Она засмеялась:

— Из меня вполне можно сделать шумовку, ты как думаешь? Я легко представляю себе под левой грудью прелестную круглую дырочку, красненькую, с четкими и чистыми краями. Это не было бы противно.

Она все еще смеялась. Матье закрыл ей рот ладонью:

— Замолчи, разбудишь старуху. Марсель замолчала. Он сказал ей:

— Какая ты взвинченная!

Она не ответила. Матье положил руку ей на бедро и нежно погладил его. Он любил эту плоть, мягкую под ласками, как масло, с легкими, будто подрагивающими волосками. Марсель не шевелилась: она глядела на руку Матье. Матье убрал руку.

— Посмотри на меня, — сказал он. На мгновение он увидел круги у нее под глазами, ее надменный и безнадежный взгляд.

— Что с тобой?

— Ничего, — отрезала она, отворачиваясь. И всегда с ней так: она напряжена. Скоро она не в силах будет сдерживаться: ее прорвет. Остается только заполнить чем‑нибудь время и ждать. Матье терпеть не мог этих безмолвных взрывов: страсть в этой комнате‑раковине была непереносима, потому что ее нужно было выражать тихим голосом и без резких движений, чтобы не разбудить мадам Дюффе. Матье встал, подошел к шкафу и взял из кармана пиджака картонный прямоугольник.

— Взгляни‑ка.

— Что это?

— Какой‑то тип сунул только что на улице. У него была симпатичная физиономия, и я дал ему немного денег.

Марсель безразлично взяла открытку. Матье почувствовал себя чем‑то связанным с тем человеком, чем‑то вроде сообщничества. Он добавил:

— Знаешь, для него это, видно, что‑то важное.

— Он анархист?

— Не знаю. Он предложил мне выпить.

— И ты отказался?

— Да.

— А почему? — небрежно спросила Марсель. — Наверное, это было бы занятно.

— Не думаю, — сказал Матье. Марсель подняла голову, близоруко и насмешливо взирая на настенные часы.

— Когда ты рассказываешь такое, — сказала она, — это мне действует на нервы. Скажу одно: твоя жизнь полна упущенных возможностей.

— И это, по‑твоему, упущенная возможность?

— Да. Раньше ты сделал бы все что угодно, чтобы спровоцировать подобную встречу.

— Возможно, я немного изменился, — добродушно сказал Матье. — Что ты имеешь в виду? Что я постарел?

— Тебе тридцать четыре года, — просто сказала Марсель.

Тридцать четыре. Матье подумал об Ивиш и испытал легкую досаду.

— Да... Но я отказался скорей из щепетильности. Понимаешь, я не в курсе этих дел.

— Сейчас ты редко бываешь в курсе, — заметила Марсель.

Матье живо добавил:

— Впрочем, он тоже не был в курсе: когда человек пьян, он невольно впадает в патетику. Этого я и хотел избежать.

Он подумал: «Это не совсем верно. Об этом я не размышлял». Он старался быть искренним. Матье и Марсель договорились всегда говорить друг другу все.

— Видишь ли... — начал он.

Но Марсель рассмеялась. Тихое и нежное воркование, как в те минуты, когда она гладила его по голове, приговаривая: «Мой бедный мальчуган». Однако вид у нее был неласковый.

— Узнаю тебя, — сказала она. — Ты боишься патетики! И все‑таки, наверно, ты мог бы быть немного патетичен с этим парнем? Что в этом дурного?

— Ну и что это дало бы мне? — спросил Матье.

Он защищался от себя самого.

Марсель неприветливо улыбнулась. «Она меня достает», — рассеянно подумал Матье. Он был настроен миролюбиво, немного отупел, пожалуй, был в хорошем настроении и не хотел спорить.

— Послушай, — сказал он, — ты не права, что придаешь такое значение этой истории. Да у меня и времени не было: я шел к тебе.

— Ты совершенно прав, — сказала Марсель. — Это пустяк. Просто пустяк, яйца выеденного не стоит... Но тем не менее это симптоматично.

Матье вздрогнул: только бы она не употребляла эти отвратительные словечки.

— Ну, выкладывай, — сказал он. — Что ты тут видишь такого интересного?

— Ну, — ответила она, — во всем виновата твоя знаменитая трезвость. Ты забавен, старина, ты так боишься обмануть сам себя, что скорее откажешься от самого прекрасного приключения на свете, чем рискнешь солгать себе.

— Ну да, — сказал Матье, — ты это хорошо знаешь. Это давно так.

Он считал, что она несправедлива. При чем тут «трезвость»? (Он ненавидел это слово, но Марсель с некоторых пор стала его употреблять. В прошлом году вместо него было слово «поспешность»: слова держались не дольше сезона.) Эту «трезвость» они культивировали вместе, они были за нее в ответе один перед другим, это и было глубинной сутью их любви. Когда Матье принял свои обязательства по отношению к Марсель, он навсегда отказался от мыслей об одиночестве, от свежих тенистых внезапных мыслей, которые когда‑то у него возникали с затаенной живостью рыбок. Он мог любить Марсель только в абсолютной трезвости: она была его трезвостью, его товарищем, свидетелем, советчиком и судьей.

— Если бы я врал себе, — сказал он, — мне бы казалось, что одновременно я вру и тебе. Это было бы для меня невыносимо.

— Да, — сказала Марсель.

У нее был не очень убежденный вид.

— Ты, кажется, думаешь иначе.

— Да, — вяло подтвердила она.

— Думаешь, я лгу?

— Нет... но с тобой никогда нельзя быть до конца уверенной. Только знаешь, что я думаю? Что ты себя немного стерилизуешь. Я подумала об этом как раз сегодня. У тебя все так опрятно и чисто; пахнет стиркой, как будто бы тебя пропустили через стерилизатор. Но тебе недостает тени. В тебе не осталось ничего бесполезного, непроясненного, смутного. Слишком светло, слишком знойно. И не говори, что ты это делаешь для меня: ты потакаешь собственному пристрастию; у тебя вкус к самоанализу.

Матье был смущен. Марсель часто бывала с ним жестковата; всегда настороже, немного агрессивна, немного недоверчива, и, если Матье с ней не соглашался, она это рассматривала как попытку над ней властвовать. Но сейчас был тот редкий случай, когда она явно хотела позлить его. И потом, эта фотография на кровати... Он с беспокойством разглядывал Марсель: время, когда она решится заговорить, еще не пришло.

— Мне не очень‑то интересно себя анализировать, — просто сказал он.

— Верно, — согласилась Марсель, — но это не цель, это средство. Чтобы освободиться от себя самого; смотреть на себя, судить себя — вот твоя любимая повадка. Когда ты на себя смотришь, ты воображаешь, будто ты не то, на что смотришь, будто ты ничто. В глубине души это твой идеал: быть ничем.

— Быть ничем, — медленно повторил Матье. — Нет. Это не то. Послушай, я... я хотел бы зависеть только от себя.

— Да. Быть свободным. Абсолютно свободным. Вот он, твой порок.

— Это не порок, — сказал Матье. — Это... А что ж, по‑твоему, надо стремиться к другому?

Он был раздражен: сто раз он объяснял все это Марсель, и она прекрасно знала, что он больше всего дорожит этим.

— Если... если бы я не пытался примерить существование на себе, то оно казалось бы совершенно абсурдным.

Марсель настаивала с насмешливым и упрямым видом:

— Да, да... Не отрицай, это твой порок.

Матье подумал: «Она действует мне на нервы, когда строит из себя этакую бяку». Но тут же опомнился и мягко сказал: — Это не порок, просто я такой, какой есть.

— Почему же у других все иначе, если это не порок?

— Они такие же, только не отдают себе в этом отчета. Смех Марсель осекся, в уголках губ появилась жесткая и угрюмая складка.

— А у меня нет желания быть свободной, — сказала она.

Матье посмотрел на ее склоненный затылок и почувствовал себя неловко: когда он был с ней, у него всегда возникали угрызения совести, нелепые, неотвязные угрызения. Он подумал, что никогда не ставил себя на ее место: «Свобода, о которой я ей говорю, — это свобода здорового мужчины». Он положил руку ей на шею и нежно сжал пальцами эту уже приувядшую, тучную плоть.

— Ты чем‑то раздосадована?

Она подняла к нему слегка смущенные глаза.

— Нет.

Они замолчали. Удовольствие Матье сосредоточилось в кончиках пальцев. Он медленно провел рукой вдоль ее спины, и Марсель опустила длинные темные ресницы. Он привлек ее к себе: в это мгновение он не желал ее, он скорее хотел почувствовать, что этот строптивый и мятежный дух тает, как сосулька на солнце. Марсель склонила голову на плечо Матье, и он увидел вблизи ее смуглую кожу, голубоватые шершавые подтеки у нее под глазами. Он подумал: «Боже мой! Она стареет». Но тут же поймал себя на мысли, что тоже немолод. Он несколько неуклюже наклонился над ней: ему хотелось забыть и себя, и ее. Но он давно уже не забывался, когда был с ней в постели. Матье поцеловал ее в губы; они у нее были красивые: праведные и строгие. Она тихо откинулась назад и легла на кровать с закрытыми глазами, неуклюжая, осунувшаяся; Матье встал, снял брюки и рубашку, сложил их в изножье кровати, потом лег рядом с Марсель; он видел, что ее глаза были открыты и неподвижны; скрестив руки под головой, она смотрела в потолок.

— Марсель, — позвал он.

Она не ответила; вид у нее был недобрый; затем она резко выпрямилась. Он снова сел на край кровати, смущаясь, чувствуя себя голым.

— Теперь‑то, — твердо сказал он, — ты мне скажешь, что случилось.

— Ничего, — вяло отозвалась она.

— Нет, — возразил он с нежностью. — Тебя что‑то беспокоит. Марсель! Разве мы не условились говорить друг другу все?

— Здесь ты ничем мне не поможешь. К тому же все это тебя раздосадует.

Он слегка погладил ее по волосам.

— И все же скажи.

— Ну хорошо. Так вот, это случилось.

— Что? Что случилось?

— Это самое. Матье покривился.

— Ты уверена?

— Абсолютно. Ты же знаешь, я никогда заранее не паникую: задержка уже два месяца.

— Черт! — вырвалось у Матье.

Он подумал: «Она должна была мне об этом сказать по крайней мере три недели назад». Ему захотелось куда‑то деть руки: набить трубку, например, но трубка была в кармане пиджака, в шкафу. Он взял с ночного столика сигарету, но тут же положил ее на место.

— Ну вот. Теперь ты все знаешь, — сказала Марсель. — Что будем делать?

— Мы... мы... избавимся, разве нет?

— Хорошо. У меня есть нужный адрес, — сказала Марсель.

— Кто тебе его дал?

— Андре. Она сама там была.

— У той бабки, которая ей в прошлом году все расковыряла? Скажешь тоже: ведь у Андре тогда полгода ушло, чтобы очухаться. Я против.

— Ты что, собираешься стать отцом?

Она высвободилась и села на некотором расстоянии от Матье. Вид у нее был суровый, но не по‑мужски. Она положила ладони на бедра, руки ее походили на ручки терракотовой вазы. Матье заметил, что лицо ее посерело. Воздух был розовым и сладковатым, они вдыхали аромат розы, глотали его — и вдруг это серое лицо, этот неподвижный взгляд. Казалось, она с трудом сдерживает кашель.

— Подожди, — сказал Матье, — все так неожиданно: мне надо подумать.

Руки Марсель задрожали; она проговорила с внезапным пылом:

— Я не нуждаюсь в твоих размышлениях; не тебе об этом думать.

Она повернулась и посмотрела на него. Она смотрела на его шею, плечи, живот, потом ее взгляд скользнул ниже. Вид у нее был удивленный. Матье побагровел и сомкнул ноги.

— Здесь ты ничем мне не поможешь, — повторила Марсель.

И добавила с вымученной иронией:

— Теперь это дело женское.

Губы ее при этих словах сжались: сиренево‑алый рот, казалось, пожирающий подобно багряному насекомому ее пепельно‑серое лицо. «Она чувствует себя униженной, — подумал Матье, — она меня ненавидит». Он ощутил приступ тошноты. Комната внезапно лишилась розовой дымки; между предметами обозначились огромные пустоты. Матье подумал: «В этом повинен я!» Лампа, зеркало со свинцовыми бликами, каминные часы, кресло, полуоткрытый шкаф вдруг показались ему безжалостными механизмами: их завели, и они влачили в пустоте свое хрупкое существование с непреклонным упорством, точно чрево шарманки, непрерывно наигрывающей одну и ту же мелодию. Матье встряхнулся, как бы силясь вырваться из этого мрачного затхлого мирка. Марсель не шевелилась, она продолжала смотреть на низ его живота и на этот виноватый цветок, прикорнувший меж его бедер. Матье знал: ей хочется кричать и биться в рыданиях, но она этого не сделает из страха разбудить мадам Дюффе. Неожиданно он схватил Марсель за талию и привлек к себе. Она припала к его плечу и всхлипнула трижды или четырежды, но без слез. Это все, что она могла себе позволить: безмолвная буря.

Когда Марсель подняла голову, она уже успокоилась и обрела прежнюю рассудительность. Она сказала:

— Извини, мальчуган, но мне нужна была разрядка: с самого утра держусь. Естественно, я тебя ни в чем не упрекаю.

— Однако у тебя есть на это право, — сказал Матье, — мне нечем гордиться. Это в первый раз... Черт возьми, какая мерзость! Я сглупил, а ты расплачиваешься. И вот случилось то, что случилось. Послушай, а что это за бабка, где она живет?

— Улица Морер, 24. Кажется, бабка довольно странная.

— Так я и думал. Ты скажешь ей, что пришла от Андре?

— Да. Бабка берет всего четыреста франков. Знаешь, похоже, это ничтожная сумма, — трезво проговорила Марсель.

— Да. Согласен, — с горечью отозвался Матье, — короче, тебе повезло.

Он чувствовал себя неловко, как жених. Неуклюжий детина, к тому же совершенно голый, принес несчастье, а теперь улыбается, чтобы заставить забыть о себе. Но она не могла забыть о нем: она видела его белые бедра, мускулистые, коротковатые, его самодовольную нагловатую наготу. Какое‑то причудливое наваждение. «Будь я на ее месте, мне захотелось бы исколошматить эту мясистую тушу». Он сказал:

— Меня как раз волнует, что она берет слишком мало.

— Ну уж нет, — сказала Марсель. — Это редкостная удача. У меня как раз есть четыре сотни: приготовила их для портнихи, но она может и подождать. И знаешь, — добавила она твердо, — я уверена, что бабка позаботится обо мне не хуже, чем в этих знаменитых подпольных абортариях, где сдирают за милую душу по четыре тысячи франков. Да у нас и нет выбора.

— У нас нет выбора, — повторил Матье. — Когда ты к ней поедешь?

— Завтра, около полуночи. Кажется, она принимает только по ночам. Чудно, да? Думаю, она малость тронутая, но это как раз удобно из‑за мамы. Днем она занята в галантерейной лавке; она почти никогда не спит. Входишь через двор, видишь свет под дверью — значит, бабка там.

— Ладно, — сказал Матье, — я пойду туда сам. Марсель недоуменно посмотрела на него.

— С ума сошел? Она тебя выгонит, она примет тебя за легавого.

— Я все равно пойду, ‑— упрямо повторил Матье.

— Но зачем? Что ты ей скажешь?

— Я хочу убедиться своими глазами, я должен посмотреть, что там такое. Если мне не понравится, ты туда не пойдешь. Я не хочу, чтобы тебя искромсала какая‑то полоумная старуха. Скажу, что пришел от Андре, что у меня есть подруга, у которой неприятности, но сейчас у нее грипп, или что‑нибудь в этом роде.

— А потом? Куда я пойду, если там не получится?

— У нас есть день‑другой, чтоб обернуться. Завтра схожу к Саре, она наверняка кого‑то знает. Помнишь, она сначала не хотела иметь детей?

Марсель, казалось, немного расслабилась, она погладила его по затылку.

— Как ты мил, мой мальчик, я не очень хорошо понимаю твои замыслы, вижу только, что ты хочешь что‑нибудь для меня сделать; ты, наверное, готов прооперироваться вместо меня?

Она обвила его шею красивыми руками и добавила тоном дурашливого смирения:

— Если ты обратишься к Саре, она точно пошлет тебя к какому‑нибудь еврею.

Матье обнял ее, она обмякла.

— Миленький мой, миленький…

— Сними рубашку.

Марсель повиновалась, он опрокинул ее на кровать и стал ласкать ее грудь. Он любил ее крупные припухшие соски. Марсель вздыхала, закрыв глаза, покорная, предощущающая. Веки ее были зажмурены. Матье подумал: «Она беременна». И снова сел. В его голове еще звучала какая‑то будоражащая мелодия.

— Послушай, Марсель, сегодня ничего не получится. Мы оба слишком взволнованы. Прости.

Марсель что‑то сонно пробурчала, потом резко поднялась и запустила обе руки в волосы.

— Как хочешь, — холодно сказала она. И более любезно добавила:

— Конечно, ты прав, мы сегодня слишком нервничаем. Я ждала твоих ласк, но боялась, что у тебя ничего не получится.

— Увы! — вздохнул Матье. — Так оно и вышло, и нам больше нечего бояться.

— Знаю, но я этого не хотела. Не знаю уж как сказать, но ты всегда внушал мне какой‑то страшок.

Матье встал.

— Баста. Так я пойду к этой старухе?

— Да. И завтра позвонишь мне.

— А я не смогу тебя завтра увидеть? Так было бы проще.

— Нет, только не завтра вечером. Если хочешь послезавтра.

Матье надел рубашку и брюки. Поцеловал Марсель в глаза.

— Ты на меня не сердишься?

— Ты ни при чем. Это случилось единственный раз за семь лет, тебе не в чем себя упрекнуть. А я‑то тебе не противна?

— Ты с ума сошла.

— Знаешь, я сама себе немного противна, мне сейчас кажется, что я всего лишь огромное вместилище еды.

— Милая малышка, — нежно сказал Матье. — Бедная моя малышка. Не пройдет и недели, как все уладится, я тебе обещаю. Он бесшумно открыл дверь и выскользнул из комнаты, держа туфли в руках. На площадке он оглянулся: Марсель все еще сидела на кровати. Она улыбалась ему, но Матье казалось, что втайне она на него злится.

Напряжение в глазных яблоках наконец отпустило. Марсель больше на него не смотрела, и ему не приходилось следить за выражением своих глаз. Окутанная темной одеждой и покровом ночи, его повинная плоть чувствовала себя под защитой, мало‑помалу она оживала, обретая прежнюю теплоту и невиновность. В голове свербило: масленка, принести послезавтра масленку, как бы ее не забыть? Наконец‑то Матье был один.

Он остановился, пронзенный ощущением: неправда, он не один. Марсель его не отпустила, она думает о нем, она думает: «Негодяй, это он сделал, он забылся во мне, словно ребенок, который опростался в простыню». Как бы он ни вышагивал по пустынной улице, темный, почти безымянный, до шеи закутанный в свою одежду, от Марсель ему не убежать. Марсель со своими невеселыми мыслями и стенаниями осталась там, позади, но Матье от нее не ушел: он был там же, в розовой комнате, голый, беззащитный перед этой тяжелой телесностью, еще более невыносимой, чем взгляд. «Единственный раз», — сказал он себе в бешенстве. И вполголоса повторил, чтобы убедить Марсель: «Единственный раз за семь лет!» Марсель не давала себя убедить: она осталась в комнате и думала о Матье. Там, в тишине, она осуждала его и ненавидела. А он не мог защитить себя. Не мог даже прикрыть своих чресел. Для кого еще он существует с такой очевидностью?.. Жак и Одетта спят; Даниель если еще не пьян, то уж, наверное, осоловел. Ивиш никогда не думает об отсутствующих. Может быть, Борис... Но сознание Бориса — всего лишь маленькая тусклая вспышка; оно не может бороться против ожесточенной и неподвижной трезвости, которая завораживала Матье на расстоянии. Ночь окутала мраком рассудки: Матье остался с Марсель один на один. Действительно, пара.

В кафе у Камю был свет. Хозяин ставил стулья один на другой; служанка прилаживала деревянный ставень к одной из створок двери. Матье толкнул другую створку и вошел. Ему хотелось, чтобы его видели. Он положил локти на стойку.

— Всем добрый вечер.

Хозяин взглянул на него. Какой‑то кондуктор пил перно, надвинув форменную кепку на глаза. Рассудки, приветливые и рассеянные. Кондуктор щелчком отбросил фуражку на затылок и посмотрел на Матье. Рассудок Марсель отпустил его и растворился в ночи.

— Кружку пива.

— Вы редко заходите, — заметил хозяин.

— Но это не потому, что я не хочу пить.

— И правда, хочется пить, — вступил в разговор кондуктор, — можно подумать, что уже разгар лета.

Они замолчали. Хозяин мыл стаканы, кондуктор насвистывал. Матье был доволен, потому что они время от времени смотрели на него. Он видел в зеркале свое лицо, бледное и круглое в серебряном море: у Камю всегда казалось, что сейчас четыре утра из‑за света, серебристой дымки, которая туманила глаза и отбеливала лица, руки, мысли. Он подумал: «Она беременна. Чудно: мне кажется, что это неправда». Мысль показалась ему шокирующей и гротескной, как зрелище целующихся в губы старика и старухи: после семи лет такая оплошность не должна была произойти. «Она беременна». В ее чреве находится маленькая стекловидная масса, которая медленно раздувается, а вскоре будет, как глаз: «Это прорастает среди всякой гадости у нее в животе, это живое». Он увидел длинную шпильку, неуверенно продвигающуюся в полумраке. Слабый звук — и глаз, лопнув, разрывается: остается лишь непроницаемая и сухая оболочка. «Она пойдет к этой бабке, она даст себя искромсать». Он чувствовал себя начиненным ядом. «Все в порядке». Матье встряхнулся: то были бледные мысли, мысли предутренние.

— До свидания.

Он заплатил и вышел,

«Как это было?» Он шел тихо, стараясь вспомнить, «Два месяца тому назад...» Он совершенно ничего не помнил, кажется, это было на второй день пасхальных каникул. Он, как всегда, заключил Марсель в объятия из нежности — конечно, скорее из нежности, чем из желания; и вот теперь... Он остался в дураках. «Ребенок. Я хотел доставить ей удовольствие, а сделал ей ребенка. Я не ведал, что творил. Теперь я отдам четыреста франков этой бабке, она погрузит какой‑то инструмент между ног Марсель и примется скоблить; жизнь уйдет, как пришла; а я останусь дураком, как и прежде; разрушая эту жизнь больше, чем создавая ее, я так и не пойму, что наделал». Он отрывисто усмехнулся. «А другие? Те, что всерьез решили стать отцами и ощущают себя дающими жизнь; когда они смотрят на живот своей жены, понимают ли они что‑нибудь лучше меня? Они действовали быстро, вслепую орудуя половым членом. Остальное происходит в темноте, внутри, в желатине, как в фотоделе. Все происходит без них». Он вошел во двор и увидел свет под дверью: «Это здесь». Его жег стыд.

Матье постучал.

— Кто там? — спросили за дверью.

— Я хотел бы с вами поговорить.

— В такое время к людям не приходят,

— Я от Андре Бенье,

Дверь приоткрылась. Матье увидел прядь желтых волос и внушительный нос.

— Что вам надо? Хотите навести полицию? Не выйдет, я правила соблюдаю. Если мне нравится, имею право у себя дома жечь свет хоть до утра. А коли вы инспектор, так покажите удостоверение.

— Я не из полиции, — сказал Матье. — У меня неприятности. Мне сказали, что я могу обратиться к вам.

— Входите.

Матье вошел. На бабке были мужские брюки и блузка на молнии. Она была очень худа, взгляд пристальный и угрюмый.

— Вы знаете Андре Бенье? Она глядела на него сердито.

— Да, — ответил Матье. — Она приходила к вам в прошлом году перед Рождеством — у нее были неприятности; ей нездоровилось, и вы потом четырежды приходили ухаживать за ней.

— Ну и что из того?

Матье смотрел на ее руки. Руки мужчины, душителя, потрескавшиеся, в шрамах и царапинах, с коротко остриженными черными ногтями. На первой фаланге большого пальца темнели фиолетовый синяк и толстая черная корка. Матье вздрогнул, вспомнив нежную смуглую плоть Марсель.

— Я пришел не из‑за нее, — сказал он. — Я пришел из‑за одной ее подруги.

Старуха отрывисто хохотнула.

— Первый раз такого наглого вижу: гарцует тут передо мной. Не нужны мне тут мужики, ясно?

В комнате была грязь, беспорядок. Везде стояли ящики, на плиточном полу разбросана солома. На столе Матье заметил бутылку рома и наполовину опорожненный стакан.

— Я пришел, потому что меня послала моя подруга. Она сама не может сегодня прийти и попросила меня договориться с вами.

В глубине комнаты была приоткрыта дверь. Матье мог поклясться, что за этой дверью кто‑то есть. Бабка сказала ему:

— Бедные дурехи, до чего глупые. На вас только поглядеть — сразу видно, что вы из тех, кто приносит несчастье, бьет посуду и стекла. И все‑таки эти дурочки отдают вам самое драгоценное. А потом расхлебывают то, что сами и заварили.

Матье оставался корректен.

— Я бы хотел посмотреть, где вы оперируете.

Бабка бросила на него злобный, недоверчивый взгляд.

— Еще чего? Кто вам сказал, будто я оперирую? Что вы мелете? Не суйте нос не в свое дело. Коли ваша подруга хочет меня видеть, пускай приходит. Я хочу иметь дело с ней одной. Вы соображали, что делали. А она, разве она соображала, когда отдавала себя вам в лапы? От вас ей только несчастье. Понятно? Можете мне пожелать, чтобы я оказалась половчее вас, а больше мне нечего сказать. Прощайте.

— До свиданья, мадам, — сказал Матье. Он вышел и сразу почувствовал облегчение. Он медленно направился к Орлеанскому проспекту: в первый раз с тех пор, как он покинул Марсель, он смог думать о ней без волнения, без ужаса, с нежной грустью, «Завтра пойду к Cape», — решил он.

II

Борис смотрел на красную клетчатую скатерть и размышлял о Матье Деларю. Он думал: «Матье — славный малый». Оркестр умолк, воздух был голубоватым, люди болтали друг с другом. В этом узком маленьком зале Борис знал всех: они были не из тех, кто приходит повеселиться; они притащились сюда после работы, были серьезны и хотели есть. Негр, сидящий против Лолы, — певец из «Парадиза»; шесть парней в глубине зала со своими подружками — музыканты из «Ненетт». Определенно, у них что‑то произошло, выпала неожиданная удача, может, ангажемент на лето (позавчера они туманно говорили о кабаре в Константинополе), так как они, всегда такие жмоты, заказали шампанское. Борис заметил также блондинку, выступавшую с матросским танцем в «Ла Ява». Рослый худощавый господин в очках, куривший сигару, — хозяин кабаре на улице Толозе, только что закрытого префектурой полиции. Поговаривали, что кабаре скоро откроют, потому что у хозяина есть поддержка в высших сферах. Борис горько сожалел, что еще не посетил его, и решил обязательно зайти туда, если оно снова откроется. Господин был с субтильным гомосексуалистом, который издалека выглядел, пожалуй, привлекательным: узколицый блондин, не слишком жеманный и изящный. Борис отнюдь не жаловал голубых, так как они постоянно охотились за ним, но Ивиш их ценила, она говорила: «Эти хотя бы не боятся быть не как все». Борис был полон пиетета к воззрениям своей сестры и честно пытался гомосексуалистов уважать. Негр ел кислую капусту. Борис подумал: «Не люблю кислой капусты». Ему хотелось узнать, что за блюдо подали танцовщице из «Ла Явы»: что‑то коричневое, вкусное на вид. На скатерти было пятно от красного вина. Красивое пятно, казалось, в этом месте скатерть была из атласа. Лола посыпала немного соли на пятно: она была домовита. Соль порозовела. Неправда, будто соль впитывает пятна. Он чуть не сказал Лоле, что соль тут не поможет. Но тогда надо было бы заговорить, а Борис чувствовал, что не может говорить. Лола была рядом с ним, усталая и разгоряченная, а Борис не мог выдавить из себя ни словечка, голос его был мертв. «Вот такой бы я был, если б вдруг онемел». Состояние его было полно неги, голос зарождался в глубине горла, мягкий, как хлопок, но не мог достигнуть губ, он был мертв. Борис подумал: «Я очень люблю Деларю», — и возликовал. Он ликовал бы еще больше, если б не чувствовал всем своим левым боком, от виска до бедер, что Лола на него смотрит. Взгляд был, несомненно, страстный. Лола не могла смотреть на него иначе. Ему было немного тягостно, ибо страстные взгляды требовали в ответ любезных жестов или хотя бы улыбки. А Борис сейчас был на это неспособен. Он чувствовал себя парализованным. Ему не нужно было видеть взгляд Лолы: он его угадывал, но в конце концов это никого не касается. Он сидел так, что вполне можно было предположить, что она смотрит в зал, на посетителей. Борису не хотелось спать, он был скорее оживлен, так как знал в зале всех; он увидел розовый язык негра; Борис испытывал уважение к этому негру: однажды тот разулся, взял пальцами ноги спичечный коробок, извлек оттуда спичку, зажег ее, и все это ногами. «Потрясающий парень, — восхищенно подумал Борис. — Хорошо, если бы все умели пользоваться ногами, как руками». Его левый бок побаливал от того, что на него смотрели: он знал, что приближается момент, когда Лола спросит: «О чем ты думаешь?» Было совершенно невозможно отсрочить этот вопрос, от него это не зависело: Лола его задаст с фатальной неизбежностью. У Бориса было впечатление, что он наслаждается совсем крохотным отрезком времени, бесконечно драгоценным. В сущности, это было приятно: Борис видел скатерть, видел бокал Лолы (она никогда не ужинала перед выступлением). Лола выпила «Шато Грюо», она очень за собой следила и лишала себя множества маленьких удовольствий, потому что отчаянно боялась постареть. В стакане осталось немного вина, оно было похоже на запыленную кровь. Джаз заиграл «If the moon turns green», и Борис подумал: «Смог бы я напеть эту мелодию?» Хорошо было бы при свете луны прогуляться по улице Пигаль, насвистывая какой‑нибудь мотивчик. Деларю ему однажды сказал: «Вы свистите, как поросенок». Борис про себя рассмеялся и подумал: «Вот олух!» Его переполняла симпатия к Матье. Не поворачивая головы, он бросил короткий взгляд в сторону и столкнулся с тяжелым взглядом Лолы из‑под пышной рыжей челки. В сущности, ее взгляд вполне можно перенести. Достаточно привыкнуть к тому особому жару, который воспламеняет лицо, когда чувствуешь, что на тебя кто‑то страстно смотрит. Борис послушно отдавал взглядам Лолы свое тело, свой худой затылок, свой нетвердый профиль, который она так любила; только такой ценой он мог спрятаться в себя и основательно заниматься собственными приятными мыслишками.

— О чем ты думаешь? — спросила Лола.

— Ни о чем.

— Но ведь всегда думают о чем‑то.

— А я думал ни о чем.

— Даже не о том, что тебе нравится эта мелодия и ты хотел бы научиться чечетке?

— Да, что‑то в этом роде.

— Вот видишь. Почему же ты мне этого не сказал? Я же хочу знать все, о чем ты думаешь.

— Об этом не говорят. Это не имеет значения.

— Не имеет значения! Можно подумать, что язык тебе дан только для того, чтобы рассуждать о философии с твоим профессором.

Он посмотрел на нее и улыбнулся: «Я ее люблю потому, что она рыжая и немолодо выглядит»,

— Странный ты мальчик, — сказала Лола.

Борис моргнул и умоляюще взглянул на нее. Он не любил, когда с ним говорили о нем: ему было неловко, он терялся. Лола казалась рассерженной, но это потому, что она страстно его любила и терзалась из‑за него. Были минуты, когда это было сильнее ее, она без причины тревожилась, растерянно на него смотрела, не знала, как себя держать, и только руки ее двигались от волнения. Сначала Борис удивлялся, но со временем привык. Лола положила ладонь ему на голову.

— Я все думаю: что там внутри? — проговорила она. — Это меня пугает.

— Почему? Клянусь, мысли мои вполне безобидны, — смеясь, возразил Борис.

— Да, но... это приходит само собой, я ни при чем, каждая из твоих мыслей — это маленькое бегство от меня. Она взъерошила ему волосы.

— Не поднимай мне чуб, — сказал Борис, — не люблю, когда мне открывают лоб.

Он взял ее руку, слегка погладил и отпустил.

— Ты здесь, ты ласков, — сказала Лола, — кажется, что тебе хорошо со мной, а потом вдруг — никого, и я не пойму: куда ты подевался?

— Но я здесь.

Лола смотрела на него с близкого расстояния. На ее бледном лице было написано грустное великодушие, именно такой вид она принимала, когда пела шлягер «Люди с содранной кожей». Она выпячивала губы, огромные губы с опущенными уголками, которые он так поначалу любил. С тех пор, как он почувствовал их на своих губах, они поражали его влажной и лихорадочной обнаженностью на этой прекрасной гипсовой маске. Теперь он предпочитал ее кожу — такую белую, точно ненастоящую. Лола робко спросила:

— Ты... ты не скучаешь со мной?

— Я никогда не скучаю.

Лола вздохнула, и Борис с удовлетворением подумал: «Занятно, что у нее такой немолодой вид, она никогда не говорит, сколько ей лет, но наверняка около сорока». Ему нравилось, что люди, которые были привязаны к нему, выглядели немолодо, это внушало к ним доверие. Более того, это придавало им некоторую немного пугающую хрупкость, которая при первом приближении не подтверждалась, потому что кожа у них была дубленая, как выделанная. Ему захотелось поцеловать взволнованное лицо Лолы, он подумал, что она изнурена, что жизнь ее не удалась и что она одинока; быть может, еще более одинока с тех пор, как полюбила его: «Я ничего не могу для нее сделать», — безнадежно подумал он. В этот момент она казалась ему невероятно симпатичной.

— Мне стыдно, — сказала Лола. У нее был тяжелый, мрачноватый голос, наводивший на мысли о красном бархате.

— Почему?

— Потому что ты еще ребенок.

Он сказал:

— Обожаю, когда ты говоришь: ребенок. Ты так красиво выделяешь эту ударную гласную. В «Людях с содранной кожей» ты дважды произносишь это слово, и только поэтому я пришел бы тебя послушать. Сегодня много народу.

— Лавочники. Приходят неведомо откуда, без умолку чешут языки. Им так же хочется меня слушать, как повеситься. Сарриньян вынужден был попросить их вести себя потише; я была смущена, мне это показалось бестактным, ведь когда я вышла, они мне аплодировали»

— Просто так положено.

— Мне все это осточертело, — сказала Лола, — противно петь для этих кретинов. Они приперлись, чтобы ответить приглашением на приглашение другой семейной пары. Если б ты видел, как они расплываются в улыбках, как держат стул своей супруги, пока она садится. Естественно, ты им мешаешь, когда выходишь, и они смотрят на тебя пренебрежительно. Борис, — неожиданно сказала Лола, — я пою, чтобы существовать.

— Да, я знаю.

— Если бы я предвидела, что все кончится так, я никогда бы не начинала.

— Но ведь когда ты пела в мюзик‑холле, ты тоже жила своим пением.

— То было совсем другое.

Наступило молчание, потом Лола без всякой связи добавила:

— А с тем пареньком, который поет после меня, с новеньким, я говорила сегодня вечером. Он довольно мил, но он такой же русский, как я.

«Она считает, что наводит на меня скуку», — подумал Борис. Он решил при удобном случае еще раз сказать ей, что никогда не скучает. Но не сегодня, позже.

— Может, он выучил русский?

— Но ты‑то, — сказала Лола, — ты‑то можешь понять, хорошее у него произношение или нет.

— Мои родители уехали из России в семнадцатом году, мне было три месяца.

— Забавно, что ты не знаешь русского, — заключила Лола с мечтательным видом.

«Она чудная, — подумал Борис, — ей совестно любить меня, потому что она старше. А по‑моему, это естественно, все равно нужно, чтоб один был старше другого». К тому же это более нравственно: Борис не смог бы любить ровесницу. Если оба молоды, они не умеют себя вести и действуют суматошно, создается впечатление, что они играют в детский обед. Со зрелыми людьми все по‑другому. Они солидны, они управляют партнером, и их любовь весома. Связь с Лолой казалась Борису естественной и оправданной. Конечно, он предпочитал общество Матье, потому что Матье не был женщиной: мужчина всегда интересней. И потом Матье разобъяснял ему разные разности. Но Борис часто сомневался: а испытывает ли Матье к нему дружбу? Матье был безразличен и грубоват; конечно, мужчинам между собой не пристало нежничать, но есть тысяча других способов показать, что дорожишь кем‑то, и Борис считал, что Матье мог бы время от времени каким‑то словом или поступком обнаружить свою привязанность. С Ивиш Матье был совсем другим. Однажды Борис увидел лицо Матье, когда тот подавал пальто Ивиш, и почувствовал неприятный укол в сердце. Улыбка Матье, на его горестных губах, которые Борис так любил, была странной, стыдливой и нежной. Впрочем, вскоре голова Бориса наполнилась туманом, и он больше ни о чем не думал.

— Вот он и снова ушел, — сказала Лола. Она взволнованно посмотрела на него.

— О чем ты сейчас думал?

— О Деларю, — с сожалением сказал Борис.

Лола грустно улыбнулась.

— А ты не мог бы иногда думать и обо мне?

— О тебе не нужно думать, ведь ты рядом.

— Почему ты всегда думаешь о Деларю? Ты хотел бы быть с ним?

— Я рад, что сейчас здесь.

— Ты рад, что здесь или что со мной?

— Это одно и то же.

— Для тебя — одно и то же. Но не для меня. Когда я с тобой, мне плевать, здесь я или где‑то в другом месте. И все же я никогда не радуюсь, что я с тобой.

— Вот как? — спросил Борис удивленно.

— Радость моя неполная. И не нужно изображать непонимание, ты отлично все понимаешь: я видела тебя с Деларю, ты сам не свой, когда он рядом.

— Это не одно и то же.

Лола приблизила к нему красивое опустошенное лицо: вид у нее был умоляющий.

— Ну посмотри же на меня, рожица, почему ты так им дорожишь?

— Не знаю. Я не так уж им и дорожу. Он славный малый. Лола, мне неловко с тобой о нем разговаривать, ведь ты сказала, что не переносишь его.

Лола вымученно улыбнулась.

— Посмотрите, как изворачивается. Но послушай, моя куколка, я никогда тебе не говорила, что не переношу его. Просто я никогда не понимала, что ты в нем находишь. Объясни, я просто хочу понять.

Борис подумал: «Это неправда, я не скажу и трех слов, как она начнет задыхаться от ярости».

— Он кажется мне симпатичным, — сказал он осторожно.

— Ты всегда так говоришь. Я бы выбрала какое‑нибудь другое слово. Скажи, что он умен, образован, я соглашусь, но только не симпатичен. В конце концов я тебе говорю о своем впечатлении; для меня симпатичный человек — кто‑то вроде Мориса, кто‑то округлый, милый. А с этим не знаешь, как себя вести, потому что он ни рыба ни мясо. Он морочит голову окружающим. Да ты на руки его посмотри.

— А что его руки? Мне они нравятся.

— Большие, как у рабочего. Они постоянно подрагивают, как будто он только что занимался физической работой.

— Да, верно.

— А! Вот именно, но он не рабочий. Когда я вижу, как он с грубым самодовольством хватает своей большой лапой стакан с виски, я его вовсе не ненавижу, только посмотри потом, как он пьет, посмотри на его странные губы, губы протестантского пастора. Не могу объяснить, но, по‑моему, твой Матье слишком замкнут, и потом, взгляни в его глаза; да, он образован, но этот парень ничего не любит просто, ни пить, ни есть, ни спать с женщинами; ему необходимо над всем размышлять; и наконец, его голос, резкий голос господина, который никогда не ошибается, я знаю, что его профессия требует этого, когда он что‑то объясняет ученикам, у меня был учитель, который говорил, как он, но я уже не школьница, все во мне восстает; я понимаю так, должно быть что‑то одно — либо грубиян, либо человек изысканный, учитель, пастор, но ведь не то и другое сразу. Не знаю, есть ли женщины, которым это нравится. Наверное, есть, но скажу тебе откровенно, мне было бы противно, если б такой тип ко мне прикоснулся, я не хотела бы чувствовать на себе лапы забияки в сочетании с ледяным взглядом.

Лола перевела дыхание. «Что она ему приписывает?» — подумал Борис. Ее тирада его не слишком задела. Любящие его люди не были обязаны так же любить друг друга, и Борис считал вполне естественным, что каждый из них пытался отвратить его от другого.

— Я тебя очень хорошо понимаю, — примирительным тоном продолжала Лола, — ты не видишь его моими глазами, потому что он был твоим учителем и ты пристрастен; а я вижу массу штришков; вот ты, к примеру, очень требователен к тому, как люди одеваются, ты их постоянно осуждаешь за недостаток элегантности, а между тем он всегда одет скверно, ни дать ни взять пугало огородное, он носит галстуки, которые ни за что не надел бы слуга из моей гостиницы, а тебе это безразлично.

Бориса охватило какое‑то оцепенение, но он спокойно пояснил ей:

— Не важно, что ты плохо одет, если ты равнодушен к тряпкам. Противно, когда пытаются одеждой всех поразить и попадают впросак.

— Ты‑то уж не попадешь впросак, моя маленькая шлюшка, — сказала Лола.

— Просто я знаю, что мне идет, — скромно отпарировал Борис.

Он вспомнил, что на нем сейчас голубой свитер крупной вязки, и удовлетворенно подумал: отличный свитер. Лола взяла его руку и принялась подбрасывать меж своих рук. Борис посмотрел на свою руку, которая взлетала и снова падала, и подумал: она не моя, ее можно принять за блинчик. Он ее больше не чувствовал; это его забавляло, и он пошевелил пальцем, чтобы оживить ее. Палец дотронулся до большого пальца Лолы, и она благодарно взглянула на Бориса. «Вот что меня стесняет», — с раздражением подумал Борис. Он сказал себе, что ему, безусловно, было бы легче проявлять нежность, если б Лола не выглядела временами столь покорной и растроганной. То, что он позволял стареющей женщине на людях теребить себе руку, его совсем не смущало. Он давно уже понял, что создан для подобных штук: даже когда он был один, например, в метро, люди вызывающе поглядывали на него, а девчонки, выходя из мастерской, нахально фыркали ему в лицо.

Лола принялась за свое:

— И все же ты мне не сказал, что ты в нем находишь.

Такой уж она была, начав, она уже не могла вовремя остановиться. Борис был уверен: она причиняет себе боль, но чувствовалось, что в глубине души ей это нравится. Он посмотрел на Лолу: воздух вокруг нее был голубым, и ее лицо было голубовато‑белым. Но глаза оставались жесткими и лихорадочными.

— Ну скажи, что именно?

— Да все! О‑о! — простонал Борис. — Как ты мне надоела... Ну, хотя бы то, что он ничем не дорожит.

— А разве это хорошо — ничем не дорожить? Ты тоже ничем не дорожишь?

— Ничем.

— И все‑таки мной ты немножечко дорожишь?

— Ах да, тобой я дорожу.

У Лолы был разнесчастный вид, и Борис отвернулся. Все же он не любил видеть на ее лице такое выражение. Она терзала себя, он считал это глупым, но помешать этому не мог. Он делал все, что от него зависело. Он не изменял Лоле, часто звонил ей, три раза в неделю ходил встречать ее к «Суматре», и в эти вечера он спал с ней. Возможно, виноват был ее характер. Или возраст: старики — порядочные эгоисты, можно подумать, что на карту поставлена их жизнь. Однажды, когда Борис был ребенком, он уронил ложку, ему велели поднять ее, а он отказался, заупрямился. Тогда отец сказал ему незабываемо величавым тоном: «Пусть так, я подниму ее сам». Борис увидел лысую голову, огромное, неловко нагибающееся тело, услышал хруст суставов, то было нестерпимое святотатство: он разрыдался. С тех пор Борис считал взрослых полубогами, массивными и немощными. Если они наклонялись, создавалось впечатление, что они вот‑вот развалятся, если они спотыкались или падали, то душило желание расхохотаться и одновременно охватывал священный трепет. Если у них на глазах слезы, как сейчас у Лолы, то не знаешь, куда деваться. Слезы взрослых — это мистическая катастрофа, нечто вроде пеней, которые Бог изливает на порочное человечество. Но, с другой стороны, Борис одобрял страстность своей подруги. Матье ему объяснил, что нужно иметь страсти, да и Декарт утверждал то же самое.

— У Деларю есть страсти, — сказал Борис, продолжая свою мысль вслух, — но он все равно не привязан ни к чему. Он свободен.

— В этом смысле я тоже свободна, я привязана только к тебе.

Борис не ответил.

— А что, по‑твоему, я не свободна? — спросила Лола.

— Это не одно и то же.

Слишком трудно объяснить. При всей своей трогательности Лола была типичной жертвой, ей во всем не везло. К тому же она употребляла героин. В каком‑то смысле это было даже хорошо, в принципе совсем хорошо; Борис обсуждал это с Ивиш, и оба пришли к выводу, что это хорошо. Ведь есть разница, принимают ли наркотики от отчаяния, чтобы разрушить себя, или ради того, чтобы утвердить свою свободу, — тогда это заслуживает только похвалы. Но Лола употребляла их с самозабвением лакомки, это был ее способ разрядки. Однако она не бывала даже одурманена.

— Это просто смешно, — сухо сказала Лола. — Ты ставишь Деларю выше всех остальных из чистого принципа. На самом деле ты преотлично знаешь, кто больше свободен от себя, я или он: он живет в домашней обстановке, у него оклад, пенсия обеспечена, он живет, как мелкий чиновник. И сверх всего у него связь с этой женщиной, которая никогда не выходит из дому. Полный набор. У меня же только мое рубище, я одинока, живу в гостинице, даже не знаю, будет ли у меня ангажемент на лето.

— Это не одно и от же, — повторил Борис. Он злился. Лоле плевать на свободу. Сегодня вечером она закусила удила, желая одолеть Матье на его бесспорной территории.

— О, я б тебя убила, когда ты такой! Что, что не одно и то же?

— Ты свободна, не желая этого, — объяснил он, — просто так получилось, вот и все. В то время как Матье свободен сознательно.

— Все равно не понимаю, — сказала Лола, качая головой.

— Начнем с его квартиры, он плюет на нее, точно так же он бы жил в любом другом месте. Думаю, он плюет и на свою женщину. Он с ней, потому что надо же с кем‑то спать. Его свобода не наглядна, она внутри.

У Лолы был отсутствующий вид, Бориса охватило желание причинить ей боль, и, чтобы уязвить ее, он добавил:

— Ты слишком дорожишь мной; он никогда не попал бы в подобную западню.

— Вот как! — оскорбленно воскликнула Лола. — Я слишком дорожу тобой, свиненок! А ты не думаешь, что он слишком дорожит твоей сестрой? Стоило только посмотреть на него тем вечером в «Суматре»!

— Ивиш? — спросил Борис. — Ты нанесла мне удар в самое сердце.

Лола ухмыльнулась, туман вдруг наполнил голову Бориса. Через некоторое время он услышал, что джаз играет «St. James's Infirmary», и ему захотелось танцевать.

— Потанцуем.

Они пошли танцевать. Лола закрыла глаза, и он услышал ее прерывистое дыхание. Маленький гомосексуалист из‑за стола встал и направился приглашать танцовщицу из «Ла Явы». Борис подумал, что увидит его вблизи, и обрадовался. Лола погрузнела в его объятиях, она хорошо танцевала и приятно пахла, но была очень тяжелой. Борис отметил про себя, что больше любит танцевать с Ивиш. Ивиш танцевала потрясающе. Он подумал: «Ивиш должна научиться чечетке». Потом все мысли исчезли — его дурманил запах Лолы. Он прижал ее к себе и глубоко вдохнул. Лола открыла глаза и внимательно на него посмотрела.

— Ты меня любишь?

— Да, — сказал Борис, слегка поморщившись.

— Почему ты морщишься?

— Потому. Ты меня утомила.

— Почему? Разве ты меня не любишь?

— Люблю.

— Почему ты никогда не говоришь мне этого сам? Всегда приходится из тебя вытягивать.

— Потому что у меня нет такой потребности. Я считаю, что об этом вообще болтать не следует.

— Тебе не нравится, когда я тебе говорю, что люблю тебя?

— Нравится, можешь говорить, если тебе так хочется, но не спрашивай о моих чувствах.

— Я так редко тебя о чем‑то спрашиваю, мой мальчик. Обычно мне достаточно смотреть на тебя и ощущать твою любовь, но бывают минуты, когда мне хочется прикоснуться к твоей любви.

— Понимаю, — серьезно сказал Борис, — но ты должна ждать, когда и у меня возникнет такое желание. Если оно не приходит само собой, все это не имеет смысла.

— Но, мой глупыш, ты же сам сказал, что у тебя не возникает желания, пока тебя ни о чем не спрашивают. Борис засмеялся.

— Действительно, — сказал он, — ты меня поймала. Но, знаешь, можно питать нежные чувства к кому‑то и не иметь потребности об этом говорить.

Лола не ответила. Они остановились, зааплодировали, и музыка заиграла снова. Борис с удовлетворением заметил, что во время танца маленький гомосексуалист приблизился к ним. Но, разглядев его вблизи, Борис поразился: малому было под сорок. На лице у него сохранился глянец молодости, но с изнанки он постарел. У него были большие голубые кукольные глаза и по‑детски нежные губы, но под фаянсовыми глазами были мешки, вокруг рта складки, ноздри сжаты, как будто он вот‑вот испустит дух, к тому же волосы, издалека напоминавшие золотистую дымку, едва скрывали череп. Борис с ужасом посмотрел на этого старого безбородого ребенка: «А ведь когда‑то он был молодым», — подумал он. Есть тип людей, созданных выглядеть на тридцать пять, к примеру, Матье, у них не было молодости. Но, когда человек раньше был действительно молодым, он сохраняет черты молодости на всю жизнь. А вообще это сходит только до двадцати пяти. Потом же нет, и это ужасно. Он взглянул на Лолу и поспешно сказал ей:

— Посмотри на меня. Я люблю тебя. Глаза у Лолы покраснели, она наступила Борису на ногу и прошептала:

— Милый мой мальчик.

Ему захотелось крикнуть: «Обними же меня крепче, заставь меня почувствовать, что я люблю тебя!» Но Лола молчала, она, в свою очередь, погрузилась в себя, тоже нашла время! Туманно улыбаясь, она опустила веки, ее лицо сосредоточилось па собственном счастье. Лицо спокойное и пустынное. Борис почувствовал себя покинутым, и мысль, отвратительная мысль внезапно завладела им: не хочу, не хочу стареть. В прошлом году он был совсем спокоен, он никогда не думал о подобном, а теперь в этом было что‑то зловещее, он чувствовал, что молодость все время течет у него меж пальцев. «До двадцати пяти. У меня еще пять лет, — подумал Борис, — а потом я пушу себе пулю в лоб». Ему стало невыносимо слушать эту музыку, ощущать вокруг себя людей. Он сказал:

— Уйдем.

— Сейчас, мое маленькое чудо. Они вернулись к столику. Лола подозвала официанта, заплатила, набросила на плечи бархатную накидку.

— Пошли! — сказала она.

Они вышли. Борис больше не думал ни о чем серьезном, но был мрачен. На улице Бланш было полно людей, людей суровых и старых. Они встретили маэстро Пиранезе из «Кота в сапогах» и поздоровались с ним: его маленькие ножки подрыгивали под внушительным животом. «Может, и у меня будет такое брюхо». И тогда — избегать зеркал, ощущать свои ломкие и резкие движения, как будто члены сделаны из хвороста... Каждый уходящий миг, каждое малое мгновение исподволь изнашивали его молодость. «Если бы я как‑то смог себя экономить, жить потихоньку, жить не торопясь, может, я выиграл бы несколько лет. Но для этого не следует ежедневно ложиться в два часа ночи». Он с ненавистью посмотрел на Лолу: «Она меня убивает».

— Что с тобой? — спросила Лола.

— Ничего.

Лола жила в гостинице на улице Наворен. Она сняла ключ с гвоздя, и они молча поднялись. Комната была голой, в углу стоял чемодан, обклеенный этикетками, на стене — приколотая кнопками фотография Бориса. Увеличенная Лолой фотография на удостоверение личности. «Она останется прежней, — подумал Борис, — когда я превращусь в старую развалину, на ней я останусь молодым». Ему захотелось разорвать фотографию.

— Ты грустный, — сказала Лола, — что случилось?

— Подыхаю, — буркнул Борис, — башка трещит. Лола заволновалась.

— Ты не заболел, мой дорогой? Хочешь таблетку?

— Нет, пройдет и так, уже отпускает.

Лола взяла его за подбородок и приподняла ему голову.

— У тебя такой вид, будто ты на меня злишься. Ты на меня злишься? Да! Ты злишься! Что я сделала? Она была в смятении.

— Я не злюсь на тебя, ты с ума сошла, — вяло запротестовал Борис.

— Нет, ты злишься. Но что я сделала? Ты бы лучше мне сказал, чтоб я могла оправдаться. Это, конечно, недоразумение. Все можно исправить. Борис, умоляю, скажи, что случилось?

— Ничего.

Он обвил руками ее шею и поцеловал в губы. Лола вздрогнула. Борис вбирал ее душистое дыхание и чувствовал у своих губ влажную наготу. Он был взволнован. Лола покрыла поцелуями его лицо; она слегка задыхалась.

Борис почувствовал, что желает Лолу, и был этим удовлетворен: желание откачивало его мрачные, как, впрочем, и все другие мысли. В голове пронеслось нечто вроде водоворота, и она мигом опустошилась. Он положил руку на бедро Лолы и через шелк платья коснулся ее плоти. Он немного сжал пальцы, ткань скользнула под ними, как тонкая кожица, ласкающая и мертвая; под ней сопротивлялась настоящая кожа, эластичная, глянцевитая, как лайковая перчатка. Лола швырнула свою накидку на кровать, ее голые руки, взметнувшись, обвились вокруг его шеи; от Лолы хорошо пахло. Борис видел ее выбритые подмышки в крошечных жестких голубовато‑черных точечках: они были похожи на головки глубоких заноз. Борис и Лола стояли на том же месте, где их охватило желание, у них не было сил сдвинуться. Лола задрожала, и Борису показалось, что они сейчас медленно опустятся на ковер. Он прижал Лолу к себе и почувствовал нежную плотность ее грудей.

— Ax! — выдохнула Лола.

Она откинулась назад, и он был зачарован этим бледным лицом с припухшими губами, ее головой Медузы. Он подумал: «Это ее последние прекрасные дни». Борис прижал ее к себе сильнее. «В одно печальное утро она в одночасье разрушится». Он больше ее не ненавидел; прижавшись к ней, он ощущал себя крепким и худым, со стоящим из одних мышц, он обволакивал ее руками и защищал от старости. Затем наступила секунда помутнения и беспамятства: он посмотрел на руки Лолы, белые, как волосы старухи, и ему подумалось, что он в своих объятиях держит старость и что нужно сжимать ее изо всех сил, пока не задушишь.

— Как ты меня крепко обнимаешь, — счастливо простонала Лола, — мне больно. Я хочу тебя.

Борис высвободился; он был немного скандализован.

— Дай мне мою пижаму, я пойду разденусь. Он вошел в туалетную комнату и запер дверь на ключ: ему не нравилось, что Лола входила туда, когда он раздевался. Борис помыл лицо и ноги и развлекался, посыпая бедра и икры тальком. Он совсем успокоился и подумал: «Забавно». У него была мутная и тяжелая голова, он определенно больше не знал, о чем думать. «Нужно будет обсудить это с Деларю», — заключил он. По ту сторону двери его ждала Лола, она, несомненно, была уже голой. Но ему не хотелось торопиться. Голое тело, полное голых запахов, нечто волнующее, это то, чего Лоле не дано было понять. Сейчас ему предстоит погрузиться на дно тяжелой, пахучей чувственности. Когда он уже внутри, все идет хорошо, но перед этим никак не избежать легкого беспокойства. «Во всяком случае, — подумал он с раздражением, — я не хочу упасть в обморок, как в прошлый раз». Он старательно причесался над умывальником, чтобы проверить, не выпадают ли у него волосы. Но белый фаянс был чист: ни одной волосинки. Надев пижаму, он открыл дверь и вошел в комнату.

Обнаженная Лола лежала на постели. Это была другая Лола, ленивая и опасная, она следила за ним сквозь ресницы. Ее тело на голубом стеганом одеяле было серебристо‑белым, как брюшко рыбы, с рыжим треугольным пучком волос внизу живота. Борис подошел к кровати и стал рассматривать Лолу, испытывая одновременно волнение и отвращение; она протянула к нему руки.

— Подожди, — сказал Борис.

Он нажал на выключатель, и свет погас. Комната стала совсем красной: на доме напротив, на четвертом этаже, недавно установили светящуюся рекламу. Борис лег рядом с Лолой и начал ласкать ее плечи и грудь. У нее была такая нежная кожа, что казалось, будто она так и не сняла шелкового платья. Ее грудь была немного дряблой, но Борису это нравилось: грудь пожившей женщины. Напрасно он потушил свет, из‑за этой проклятой рекламы он все равно видел лицо Лолы, бледное в красном отсвете, ее черные губы: она казалась страдающей, глаза ее были суровыми. Борис почувствовал в себе зловещую тяжесть, совсем как тогда в Ниме, когда первый бык выпрыгнул на арену: что‑то должно было сейчас произойти, что‑то неизбежное, ужасное и пошлое, как кровавая гибель быка.

— Сними пижаму, — умоляюще прошептала Лола.

— Нет, — отрезал Борис.

Это был почти ритуал: каждый раз Лола просила его снять пижаму, а он отказывался. Руки Лолы скользнули под куртку и стали нежно ласкать его. Борис засмеялся.

— Ты меня щекочешь.

Они поцеловались. Вскоре Лола взяла руку Бориса и прижала ее к своему животу, к пучку рыжих волос: у нее всегда были странные запросы, и Борис иногда вынужден был сопротивляться. Несколько мгновений его рука покоилась на бедрах Лолы, потом он медленно поднял ее до ее плеч.

— Иди, — сказала Лола, притягивая его на себя, — я обожаю тебя, иди! Иди!

Она сразу застонала, и Борис подумал: «Сейчас мне станет дурно!» Мутная волна поднималась от ягодиц к затылку. «Я не хочу», — сказал себе Борис, стискивая зубы. Но вдруг ему показалось, будто его поднимают за загривок, как кролика, он опрокинулся на тело Лолы, и больше не было ничего, кроме багрового сладострастного кружения.

— Дорогой мой, — сказала Лола.

Она ласково отодвинула его в сторону и вылезла из постели. Борис лежал подавленный, уткнувшись в подушку. Он услышал, как Лола открывает дверь туалетной комнаты, и подумал: «Когда между нами все будет кончено, я буду хранить целомудрие. Не хочу больше неприятностей. Мне противна близость с женщиной. А если быть точным, мне не столько противно, сколько я боюсь впадать в беспамятство. Уже сам не знаешь, что делаешь, чувствуешь себя подчиненным, и потом, какой смысл выбирать себе любовницу, со всеми будет одно и то же. Это просто физиология». Он повторил с отвращением: «Физиология!» Лола мылась на ночь. Шум воды был приятным и невинным, Борис слушал его с удовольствием. Люди, галлюцинирующие в пустыне от жажды, слышат подобный шум, шум источника. Борис представил себе, что он галлюцинирует. Комната, красный свет, плеск — это галлюцинации, сейчас он очутится среди пустыни, лежа на песке, с пробковым шлемом на голове. Внезапно ему вспомнилось лицо Матье: «Занятно, — подумал он. — Мужчин я люблю больше, чем женщин. С женщиной я и на четверть не так счастлив, как с мужчиной. Однако ни за что на свете я не хотел бы спать с мужчиной». Он обрадованно решил: «Монахом — вот кем я буду, когда брошу Лолу!» Он почувствовал себя сухим и чистым. Лола прыгнула на кровать и обняла его.

— Маленький мой! — повторяла она. — Маленький мой! Она гладила его по волосам, наступило долгое молчание. Борис уже видел вращающиеся звезды, когда Лола заговорила. Ее голос звучал странно в этой алой ночи.

— Борис, у меня нет никого, кроме тебя, я одна на целом свете, люби меня, я могу думать только о тебе. Когда я думаю о своей жизни, мне хочется утопиться, мне нужно думать о тебе весь день. Не будь подлецом, любовь моя, не делай мне больно, ты все, что у меня осталось. Я в твоих руках, любовь моя, не делай мне больно, никогда не делай мне больно, я совсем одна!

Борис внезапно пробудился, теперь он все ясно осознавал.

— Если ты и одна, так это оттого, что тебе так нравится, — спокойно сказал он, — а все потому, что ты гордячка. А иначе ты полюбила бы мужчину старше себя. Я же слишком молод, я не могу помешать твоему одиночеству. Скорее всего потому‑то ты меня и выбрала.

— Не знаю, — сказала Лола, — я страстно люблю тебя, больше я ничего не знаю.

Она жадно обняла его. Борис еще слышал, как она говорит: «Я обожаю тебя», — но потом уснул окончательно.

III

Лето. Воздух густой и теплый; Матье идет по мостовой, под ясным небом, его руки загребают, как бы отстраняя тяжелые золотые драпировки. Лето. Лето других. Для него же начинается черный день, который будет, извиваясь, тянуться до вечера, сплошные похороны под солнцем. Адрес. Деньги. Ему предстоит обегать весь Париж. Адрес дает Сара. Деньги одолжит Даниель. Или Жак. Матье воображал, что он убийца, и отблеск этой фантазии оставался в глубине его глаз, ошалевших под ослепительным напором света. Улица Деламбр, 16 — это здесь. Сара жила на седьмом этаже, и лифт, естественно, не работал. Матье поднялся пешком. За закрытыми дверями женщины занимались домашней работой, в фартуках, с полотенцами, обвязанными вокруг головы; для них тоже начинался день. Каким он будет? Матье немного запыхался, поднимаясь; перед тем, как позвонить, он подумал: «Нужно бы делать зарядку». А потом: «Я это говорю себе каждый раз, когда поднимаюсь по лестнице». Он услышал мелкие шажки; лысый светлоглазый человечек, улыбаясь, открыл ему дверь. Матье сразу узнал его: это был немец, эмигрант; он часто видел в кафе на Домской набережной, как тот смакует кофе со сливками или сидит, склонившись над шахматной доской; не сводя глаз с фигур, облизывая толстые губы.

— Я хотел бы видеть Сару, — сказал Матье. Человечек стал серьезным, поклонился, щелкнул каблуками; уши у него были фиолетовые.

— Веймюллер, — с готовностью представился он.

— Деларю, — равнодушно отозвался Матье. Человечек снова приветливо улыбнулся.

— Заходите, заходите, — сказал он. — Сара внизу, в мастерской, она будет так рада.

Он впустил его в прихожую и, семеня, исчез. Матье толкнул застекленную дверь и вошел в мастерскую Гомеса. На площадке внутренней лестницы он остановился, ослепленный светом, прорывающимся сквозь большие пыльные витражи. Матье заморгал, заболела голова.

— Кто там? — донесся голос Сары.

Матье склонился через перила. Сара сидела на диване в желтом кимоно, Матье видел кожу головы сквозь редкие прямые волосы. Напротив нее как бы пылал факел: рыжая голова брахицефала... «Это Брюне», — подумал Матье с досадой. Он не видел его уже полгода, но не испытывал ни малейшего желания встретить его у Сары: это было неудобно, им нужно было многое друг другу сказать, их связывала старинная затухающая дружба. И потом, Брюне приносил с собой слишком много воздуха извне, целый мир, привыкший к физическому труду, непрерывным усилиям, строгой дисциплине и все же склонный к насилию и бунту: ему вовсе не следовало слышать постыдный альковный секретик, которым Матье намеревался поделиться с Сарой. Сара подняла голову и улыбнулась.

— Здравствуйте, здравствуйте, — сказала она. Матье ответил на ее улыбку: он видел сверху ее плоское и непривлекательное лицо, источенное добротой, а под ним, из‑под кимоно, огромную дряблую грудь. Он поспешил спуститься.

— Какими судьбами? — спросила Сара.

— Мне нужно у вас кое‑что спросить, — сказал Матье. Лицо Сары порозовело от удовольствия.

— Все, что хотите, — мгновенно отозвалась она. И добавила, радуясь удовольствию, которое она рассчитывала ему доставить:

— Вы знаете, кто у меня?

Матье повернулся к Брюне и пожал ему руку.

Сара обволакивала их растроганным взглядом.

— Привет, старый социал‑предатель, — сказал Брюне. Несмотря ни на что, Матье был рад услышать этот голос. Брюне был огромный, крепкий детина с медлительным крестьянским лицом. Вид у него был не особенно любезный.

— Привет, — сказал Матье. — А я уж думал, что ты умер.

Брюне засмеялся, не отвечая.

— Садитесь рядом со мной, — с жадностью сказала Сара. Она собиралась оказать ему услугу и знала это; он стал ее собственностью. Матье сел. Малыш Пабло играл под столом в кубики.

— А где Гомес? — спросил Матье.

— Всегда одно и то же. Он в Барселоне, — сказала Сара.

— Вы получили от него какие‑нибудь вести?

— На прошлой неделе. Расписывает свои подвиги, — с иронией ответила Сара. Глаза Брюне блеснули:

— Знаешь, он уже полковник.

Полковник. Матье подумал о вчерашнем человеке и сердце у него сжалось. Вот и Гомес уехал. Однажды он узнал из «Парисуар» о падении Ируна и долго прохаживался по мастерской, запустив пальцы в черную шевелюру. Потом вышел с непокрытой головой, в одном пиджаке купить сигарет в кафе «Дом». И не вернулся. Комната осталась в том же состоянии, в каком он ее покинул: на мольберте — незаконченное полотно, на столе, посреди пузырьков с кислотой, — медная дощечка с незаконченной гравировкой. Картина и гравюра изображали миссис Стимпсон. На картине она была обнаженной. Матье мысленно увидел ее, пьяную и великолепную, хрипло поющую в объятиях Гомеса. Он подумал: «А все‑таки по отношению к Саре он был подлецом».

— Вам открыл министр? — весело спросила Сара. Она не хотела говорить о Гомесе. Она ему простила все: его измены, его отлучки, его жестокость. Но только не это. Не его отъезд в Испанию: он отправился убивать людей, сейчас он убивал людей. Для Сары человеческая жизнь была священна.

— Какой министр? — удивился Матье.

— Мышонок с красными ушками — это министр, — сказала Сара с наивной гордостью. — Он был членом социалистического правительства в Мюнхене в двадцать втором году. А теперь подыхает с голоду.

— И вы, естественно, его приютили?

Сара засмеялась.

— Он пришел ко мне с чемоданом. Нет, серьезно, — сказала она, — ему некуда было идти. Его выгнали из гостиницы, так как ему нечем было платить.

Матье посчитал на пальцах.

— С Аней, Лопесом и Санти у вас получается четыре пансионера, — сказал он.

— Аня скоро уйдет, — виновато сказала Сара. — Она нашла работу.

— Это безумие, — вмешался Брюне.

Матье вздрогнул и повернулся к нему. Негодование Брюне было тяжелым и спокойным, с самым что ни на есть крестьянским гневом он глянул на Сару и повторил:

— Это безумие.

— Что? Что безумие?

— Ax! — воскликнула Сара, кладя ладонь на руку Матье. — Придите мне на помощь, мой дорогой Матье.

— Но о чем речь?

— Матье это неинтересно, — сказал Саре с недовольным видом Брюне.

Но она его больше не слушала.

— Он хочет, чтобы я выставила моего министра за дверь, — сказала она жалобно.

— Выставила?

— Он говорит, что я совершаю преступление, оставляя его у себя.

— Сара преувеличивает, — примирительно сказал Брюне.

Он повернулся к Матье и с неохотой объяснил:

— Дело в том, что у нас скверные сведения об этом малом. Кажется, полгода назад он бродил по коридорам германского посольства. Не нужно быть большим хитрецом, чтобы догадаться, что может там проворачивать еврейский эмигрант.

— У вас нет доказательств! — сказала Сара.

— Это верно. У нас нет доказательств. Имей мы их, его бы здесь уже не было. Но даже если есть всего лишь сомнения, со стороны Сары глупо и опасно давать ему приют.

— Но почему? Почему? — страстно вскричала Сара.

— Сара, — ласково сказал Брюне, — вы взорвали бы весь Париж, чтоб избавить от неприятностей своих протеже.

Сара слабо улыбнулась.

— Ну, не весь Париж, но я, конечно, не стану жертвовать Веймюллером ради ваших партийных счетов. Партия — это слишком абстрактно.

— Именно это я и говорил, — сказал Брюне. Сара энергично затрясла головой. Она покраснела, ее большие зеленые глаза увлажнились.

— Мой маленький министр, — возмущенно сказала она. — Вы его видели, Матье. Да он и мухи не обидит.

Спокойствие Брюне было безмерным. Это было спокойствие моря. В нем было одновременно что‑то успокаивающее и раздражающее. Он никогда не был особью, он жил жизнью толпы: медленной, молчаливой, шумной. Брюне пояснил:

— Гомес нам иногда присылает курьеров. Они приезжают сюда, и мы встречаемся с ними у Сары; ты, конечно, догадываешься, что сообщения у них секретные. Разве здесь место этому типу, который прослыл шпиком?

Матье не ответил. Брюне употребил вопросительную форму, но это был ораторский прием: он не спрашивал его мнения; Брюне давно уже перестал интересоваться мнением Матье о чем бы то ни было.

— Матье, я вас призываю нас рассудить: если я выгоню Веймюллера, он бросится в Сену. Разве можно, — добавила она с отчаянием, — толкать человека на самоубийство из‑за одного только подозрения?

Сара выпрямилась, безобразная и сияющая. Она заставила Матье испытать смутное ощущение соучастия, которое испытывают к пострадавшим от несчастного случая, к задавленным, к беднягам, покрытым язвами и нарывами.

— Это серьезно? — спросил он. — Он бросится в Сену?

— Да нет, — возразил Брюне. — Он пойдет в немецкое посольство и окончательно запродастся.

— Это одно и то же, — сказал Матье. — Как бы там ни было, он пропал..

Брюне пожал плечами.

— Согласен, — сказал он равнодушно.

— Вы слышите, Матье? — воскликнула Сара, с волнением глядя на него. — Итак? Кто прав? Скажите же что‑нибудь.

Матье было нечего сказать. Брюне не спрашивал его мнения, ему не нужно было мнение буржуа, задрипанного интеллигентка, сторожевого пса капитализма. «Он меня выслушает с ледяной вежливостью, но поколеблется не больше, чем скала, он будет судить обо мне по тому, что я скажу, вот и все». Матье не хотел, чтобы Брюне как бы то ни было судил о нем. Уже давно ни один из них из принципа не судил другого. «Дружба не для того, чтобы осуждать, — говорил тогда Брюне. — Она для того, чтобы доверять». Может, он говорит это и сейчас, но теперь уже он думает о своих товарищах по партии.

— Матье! — воззвала Сара.

Брюне наклонился к ней и притронулся к ее колену.

— Послушайте, Сара, — мягко сказал он. — Я люблю Матье и очень ценю его ум. Если бы речь шла о каком‑нибудь непонятном отрывке из Спинозы или Канта, я, безусловно, проконсультировался бы у него. Но на сей раз я не нуждаюсь в арбитре, будь он хоть преподавателем философии. Мое мнение определено.

«Конечно, — подумал Матье. — Конечно». Его сердце сжалось, но он не обиделся на Брюне. «Кто я такой, чтобы давать советы? И во что я превратил свою жизнь?»

Брюне встал.

— Мне пора, — сказал он. — Разумеется, Сара, вы поступите, как пожелаете. Вы не состоите в партии, и то, что вы делаете для нас, уже существенно. Но если вы его оставите, то я просто попрошу вас прийти ко мне, когда Гомес пришлет вам известия о себе.

— Договорились, — сказала Сара.

Ее глаза блестели, казалось, она успокоилась.

— И не оставляйте улик. Сжигайте все, — сказал Брюне.

— Обещаю.

Брюне обернулся к Матье.

— До свидания, старый собрат.

Руки он ему не подал, а внимательно, сурово и с беспощадным удивлением посмотрел на него вчерашним взглядом Марсель. Матье был обнажен под этими взглядами: высокий голый парень, хлебный мякиш. Растяпа. «Кто я такой, чтобы давать советы?» Он сощурился: Брюне казался уверенным и узловатым. «А на моем лице написано поражение». Брюне заговорил; у него был совсем не тот тон, какого Матье ожидал.

— У тебя удрученный вид, — мягко сказал он. — Что‑то случилось?

Матье тоже встал.

— Я... у меня неприятности. Но это пустяки. Брюне положил руку ему на плечо. Взгляд его потерял уверенность.

— Какое идиотство. Все время мотаешься взад‑вперед, и уже нет времени для старых друзей. Если ты загнешься, я узнаю об этом через месяц, да и то случайно.

— Ну, я так скоро не загнусь, — рассмеялся Матье. Он чувствовал хватку Брюне на своем плече, подумал: «Он меня не осуждает», — и проникся к нему смиренной благодарностью.

Брюне остался серьезным.

— Конечно, — сказал он. — Не так скоро. Но...

Наконец он, казалось, решился.

— Ты свободен около двух? У меня есть немного времени, и я мог бы ненадолго заскочить к тебе: сможем малость поболтать, как в прежние времена.

— Как в прежние времена. Я абсолютно свободен, буду ждать тебя, — сказал Матье.

Брюне дружески ему улыбнулся. Он сохранил свою простодушную веселую улыбку. Затем повернулся и направился к лестнице.

— Я провожу вас, — сказала Сара.

Матье взглядом проследил за ними: Брюне поднимался по ступенькам с поразительной гибкостью. «Не все потеряно», — сказал себе Матье. И что‑то шевельнулось в его груди, что‑то теплое и тихое, похожее на надежду. Он прошелся по мастерской. Над его головой хлопнула дверь. Малыш Пабло серьезно смотрел на него. Матье подошел к столу и взял резец. Сидевшая на медной пластине муха улетела. Пабло продолжал на него смотреть. Матье чувствовал себя смущенным, не зная почему Казалось, что глаза ребенка его поглощают. «Дети, — подумал он, — маленькие обжоры, все их чувства сосредоточены в прожорливых ртах». Взгляд Пабло не был еще вполне человеческим, однако это уже была жизнь: недавно это дитя вышло из чрева, а уже кое‑что собой представляло; оно было здесь, неуверенное, совсем махонькое, еще хранящее нездоровую бархатистость чего‑то извергнутого; но за мутной влагой, заполняющей его глаза, засело маленькое жадное сознание. Матье играл с резцом. «Тепло», — подумал он. Вокруг него жужжала муха, а в розовой комнате в глубине другого чрева продолжал набухать пузырь.

— Знаешь, какой я видел сон? — спросил Пабло.

— Ну расскажи.

— Я видел сон, как будто я был пушинкой.

«Ведь оно думает!» — сказал себе Матье.

Он спросил:

— И что ты делал, когда был пушинкой?

— Ничего. Я спал.

Матье резко бросил резец на стол: испуганная муха за кружилась, потом села на медную пластину между двумя бороздками, изображавшими женскую руку. Нужно действовать быстро, так как пузырь все это время надувался, он делал потаенные усилия оторваться, вырваться из мрака и стать подобным этому, маленькой бледной присоской, всасывающей окружающий мир.

Матье сделал несколько шагов к лестнице. Он слышал голос Сары. «Вот она открыла входную дверь, стоит на пороге и улыбается Брюне. Почему она медлит и не спускается?» Он повернул назад, посмотрел на ребенка, посмотрел на муху. «Ребенок. Мыслящая плоть, которая кричит и кровоточит, когда ее убивают. Муху убить легче, чем ребенка». Он пожал плечами: «Я никого не собираюсь убивать. Я только хочу помешать ребенку родиться». Пабло снова принялся играть в кубики, о Матье он уже забыл. Матье протянул руку, коснулся пальцем стола и удивленно повторил про себя: «Помешать родиться...» Как будто где‑то был готовый ребенок, ждущий своего часа, чтобы выпрыгнуть по другую сторону декораций в эту пьесу жизни, под солнце, а Матье загораживает ему проход. И, действительно, почти так и было: существовал совсем маленький человечек, задумчивый и тщедушный, капризный и болезненный, с белой кожей, с большими ушами, с родинками, с горсточкой отличительных примет, какие заносят в паспорт, человечек, который никогда не будет бегать по улицам — одной ногой по тротуару, а другой в сточной канавке; у него были глаза, пара зеленых глаз, как у Матье, или черных, как у Марсель, и они никогда не увидят ни сине‑зеленых зимних небес, ни моря, ни единого лица; у него были руки, которые никогда не коснутся ни снега, ни женской плоти, ни коры дерева; был образ мира, кровавый, светлый, угрюмый, полный увлечений, мрачный, полный надежд, образ, населенный садами и домами, ласковыми девушками и ужасными насекомыми, образ, который разрушат проколом спицы, точно воздушный шарик в Луврском парке.

— Вот и я, — сказала Сара, — простите, что заставила вас ждать.

Матье поднял голову и почувствовал облегчение: она склонилась над перилами, тяжелая и уродливая; то была зрелая женщина, со старой плотью, которая, казалось, вышла из солености и никогда не была рождена. Сара ему улыбнулась и быстро спустилась по лестнице, кимоно развевалось вокруг коротеньких ног.

— Ну что? Что случилось? — жадно спросила она. Большие тусклые глаза настойчиво рассматривали его. Он отвернулся и сухо сказал:

— Марсель беременна.

— Вот как!

Вид у Сары был скорее обрадованный. Она застенчиво начала:

— Итак... вы скоро...

— Нет, нет, — живо перебил ее Матье, — мы не хотим детей.

— А! Да, — сказала она, — понимаю. Она опустила голову и умолкла. Матье не смог вынести эту печаль, которая не была даже упреком.

— Помнится, и с вами такое когда‑то случалось. Гомес мне говорил, — грубовато возразил он ее мыслям.

— Да. Когда‑то...

И вдруг она подняла глаза и порывисто добавила:

— Знаете, это пустяк, если не упустишь время.

Она запрещала себе осуждать его, она отбросила осуждение и упреки, у нее было только одно желание — утешить.

— Это пустяк...

Он попытался улыбнуться, посмотреть в будущее с надеждой. Теперь по этой крошечной и тайной смерти будет носить траур только она.

— Послушайте, Сара, — сказал Матье раздраженно, — попытайтесь меня понять. Я не хочу жениться. И это не из эгоизма: по‑моему, брак...

Он остановился: Сара была замужем, она вышла за Гомеса пять лет назад. Немного погодя он добавил:

— К тому же Марсель тоже не хочет ребенка.

— Она что, не любит детей?

— Они ее не интересуют.

Сара казалась озадаченной.

— Да, — проговорила она, — да... Тогда действительно... Она взяла его за руки.

— Мой бедный Матье, как вы должны быть огорчены! Я хотела бы вам помочь.

— Именно об этом и речь, — сказал Матье. — Когда у вас были... эти затруднения, вы к кому‑то обращались, кажется, к какому‑то русскому.

— Да, — сказала Сара и переменилась в лице. — Это было ужасно.

— Да? — спросил Матье дрогнувшим голосом. — А что... это очень больно?

— Нет, не очень, но... — жалобно сказала она. — Я думала о маленьком. Знаете, так хотел Гомес. А в то время, когда он чего‑то хотел... Но это был ужас, я никогда... Сейчас он мог бы умолять меня на коленях, но я бы этого снова не сделала.

Она растерянно посмотрела на Матье.

— После операции мне дали пакетик и сказали: «Бросьте в сточную канаву». В сточную канаву! Точно дохлую крысу! Матье, — сказала она, сильно сжимая ему руку, — вы даже не знаете, что собираетесь сделать!

— А когда производят на свет ребенка, разве больше знают? — с гневом спросил Матье.

Ребенок — одним сознанием больше, маленький бессмысленный отсвет, который будет летать по кругу, ударяться о стены и уже не сможет убежать.

— Нет, но я хочу сказать: вы не знаете, чего требуете от Марсель. Боюсь, как бы она вас позже не возненавидела.

Матье снова представил себе глаза Марсель, большие, скорбные, обведенные кругами.

— Разве вы ненавидите Гомеса? — сухо спросил он. Сара сделала жалкий и беспомощный жест: она никого не могла ненавидеть, а Гомеса меньше, чем кого бы то ни было.

— Во всяком случае, — сказала она, замкнувшись, — я не могу направить вас к этому русскому, он все еще оперирует, но он спился, я ему больше не доверяю. Два года назад он влип в грязную историю.

— А другого вы никого не знаете?

— Никого, — медленно сказала Сара. Но вдруг доброта озарила ее лицо, и она воскликнула: — Да нет же, я придумала, как же я раньше не догадалась. Я все улажу. Вальдман. Вы его не видели у меня? Еврей, гинеколог. Это в некотором роде специалист по абортам, с ним вы будете спокойны. В Берлине у него была огромная врачебная практика. Когда нацисты пришли к власти, он поселился в Вене. Затем произошел аншлюс, и он приехал в Париж с маленьким чемоданчиком. Но задолго до того он переправил все свои деньги в Цюрих.

— Вы думаете, получится?

— Естественно. Сегодня же пойду к нему. — Я рад, — сказал Матье, — я страшно рад. Он не очень дорого берет?

— Раньше он брал до двух тысяч марок.

Матье побледнел: «Это же десять тысяч франков!»

Она живо добавила:

— Это был грабеж, он заставлял платить за свою репутацию. Здесь его никто не знает, и он будет разумней: я предложу ему три тысячи франков.

— Хорошо, — сказал Матье, стиснув зубы. В мозгу стучало: «Где я возьму такие деньги?»

— Послушайте, — решилась Сара, — а почему бы мне не пойти к нему сейчас же? Он живет на улице Блез‑Де‑гофф, это совсем рядом. Я одеваюсь и выхожу. Вы меня подождете?

— Нет, я... У меня назначена встреча на половину одиннадцатого. Сара, вы сокровище, — сказал Матье.

Он взял ее за плечи и, улыбаясь, встряхнул. Она поступилась ради него своим сильнейшим отвращением, из великодушия стала соучастницей в деле, которое внушало ей ужас: она светилась от удовольствия.

— Где вы будете в одиннадцать? — спросила она, — Я могла бы вам позвонить.

— Я буду в «Дюпон Латен» на бульваре Сен‑Мишель. Я там дождусь вашего звонка, хорошо?

— В «Дюпон Латен», договорились.

Пеньюар Сары широко распахнулся на ее огромной груди. Матье прижал ее к себе из нежности и чтобы не видеть ее тела.

— До свиданья, — сказала Сара, — до свиданья, мой дорогой Матье.

Она подняла к нему ласковое безобразное лицо. В нем была трогательная и почти чувственная покорность, которая подстрекала скрытое желание сделать ей больно, вызвать у нее стыд. «Когда я ее вижу, — говорил Даниель, — я понимаю садистов». Матье расцеловал ее в обе щеки.

«Лето!» Небо неотступно преследовало улицу, это было какое‑то природное наваждение; люди плавали в небе, лица их пламенели. Матье вдыхал зеленый, живой запах, свежую пыль; он сощурил глаза и улыбнулся. «Лето!» Он сделал несколько шагов; черный расплавленный асфальт, усыпанный белой крошкой, прилипал к его подошвам: Марсель была беременна, и это было другое лето.

Она спала, ее тело купалось в густой тени и потело во сне. Ее красивая смугло‑фиолетовая грудь осела, капельки просачивались наружу, белые и солоноватые, как цветы. Она спит. Она всегда спит до полудня. Но пузырь в ее чреве не спит, ему некогда спать: он питается и раздувается. Время текло непреклонными и непоправимыми толчками. Пузырь раздувался, а время текло. «Деньги нужно найти в ближайшие двое суток».

Люксембургский сад, прогретый и белый: статуи, голуби, дети. Дети бегают, голуби взлетают. Сплошной световой поток, ускользающие белые вспышки. Матье сел на железную скамью: «Где найти деньги? Даниель не даст, но я все же у него спрошу... На худой конец всегда можно обратиться к Жаку». Газон курчавился у самых ног, статуя выгнула к нему молодой каменный зад, голуби ворковали и тоже казались каменными: «В конце концов мне не хватает каких‑то двух недель, еврей подождет до конца месяца, а двадцать девятого зарплата».

Матье вдруг опомнился — он словно увидел то, о чем думает, и ужаснулся самому себе: «Сейчас Брюне идет по улицам, наслаждается светом, ему легко, потому что он в ожидании, он идет через хрупкий город, который вскоре разрушит, он чувствует себя сильным, он вышагивает немного вразвалку, осторожно, потому что еще не пробил час разрушения, он ждет его, он надеется. А я! А я! Марсель беременна. Уговорит ли Сара еврея? Где найти деньги? Вот о чем я размышляю!» Внезапно он снова увидел близко посаженные глаза под густыми черными бровями: «Из Мадрида. Клянусь тебе, я хотел туда поехать. Да не удалось». В голове пронеслось: «Я старик».

«Я старик. Вот я развалился на скамье, по уши увяз в своей жизни, ни во что не верю. Однако я тоже хотел отправиться в какую‑нибудь Испанию. А потом не вышло. Разве эти Испании еще существуют? Я здесь, я себя смакую, я чувствую во рту застарелый вкус железистой воды и крови, мой вкус, я — это мой собственный вкус, я существую. Существовать — это пить себя, не испытывая жажды. Тридцать четыре года. Тридцать четыре года, как я себя смакую. И я старик. Я работал, ждал, имел что желал: Марсель, Париж, независимость; теперь все кончено. Больше я ничего не жду!» Он смотрел на этот обычный сад, всегда новый, всегда одинаковый, как море, целое столетие одно и то же, с одинаковыми легкими цветными волнами и тем же гулом. Те же дети, резвящиеся, как и столетие назад, то же солнце на гипсовых богинях с отбитыми пальцами, те же деревья; но была и Сара в желтом кимоно, была беременная Марсель, были деньги. И все это было так естественно, так обиходно, так монотонно самодостаточно, что могло заполнить жизнь, это и была жизнь. А остальное — все эти Испании, все эти воздушные замки — может, все это... «Что? Только тепловатая мирская религия для собственного употребления? Сдержанный небесный аккомпанемент всей моей подлинной жизни? Алиби? Именно таким они меня видят. Даниель, Марсель, Брюне, Жак: человек, который хочет быть свободным. Он ест, пьет, как все остальные, он государственный служащий, он не занимается политикой, он читает поддерживающие Народный фронт «Эвр» и «Попюлер», у него трудности с деньгами. Но он хочет быть свободным, как филателисты хотят приобрести коллекцию марок. Свобода — тайный сад. Его маленький сговор с самим собой. Человек ленивый и холодный, немного химерический, но в основе очень благоразумный, человек, который скрытно смастерил себе банальное, но прочное счастье и изредка оправдывает себя возвышенными соображениями. Разве я не таков?»

Ему семь лет, он в Питивье, у дяди Жюля, зубного врача, один, в приемной, он играет в игру, которая помешала бы ему существовать: нужно попытаться не проглотить себя, как будто во рту у тебя очень холодная жидкость, и ты задерживаешь маленькое глотательное движение, которое отправит ее в глотку. Ему удалось полностью опустошить свою голову. Но эта пустота еще имела вкус. Это был день глупостей. Он погряз в летнем пекле далекой провинции, пропахшем мухами, и, действительно, он только что поймал муху и оборвал ей крылышки. Он установил, что голова ее похожа на серную головку кухонной спички, нашел в кухне серку и потер об нее мушиную головку, ожидая, что головка загорится. Но действовал он небрежно: то была всего лишь маленькая праздная комедия, ему по‑настоящему не удавалось ею увлечься, он хорошо знал, что муха не загорится; на столе были разорванные иллюстрированные журналы и прекрасная серо‑зеленая китайская ваза с ручками, похожими на когти попугая; дядя Жюль говорил, что ей три тысячи лет. Матье подошел к вазе, заложив руки за спину, и посмотрел на нее, нетерпеливо переступая ногами: ужасно быть маленьким шариком из хлебного мякиша в этом древнем многослойном мире, рядом с этой бесстрастной трехтысячелетней вазой. Он повернулся к ней спиной и принялся озираться и шмыгать носом перед зеркалом, но ему не удавалось развлечься, потом он вдруг вернулся к столу, поднял вазу, которая оказалась очень тяжелой, и бросил ее на паркет: это пришло ему в голову внезапно, и сразу же после этого он почувствовал себя легким, как паутинка. Он восхищенно смотрел на черепки фарфора: что‑то только что случилось с этой трех тысячелетней вазой среди пятидесятилетних стен, под вечным светом лета, что‑то очень дерзкое, походившее на рассвет. Он подумал: «Это сделал я!» — и почувствовал себя гордым, свободным от мира, без привязанностей, без семьи, без корней, махоньким упрямым ростком, прободавшим земную твердь.

Ему было шестнадцать, он, маленький задира, лежал на песке в Аркашоне и смотрел на длинные плоские океанские волны. Он только что поколотил молодого бордосца, который бросал в него камни, и заставил того есть песок. Он сидел в тени сосен, запыхавшийся, ноздри его были наполнены запахом смолы, и ему казалось, что он зависший в воздухе маленький взрыв, круглый, крутой и необъяснимый. Он сказал себе: «Я буду свободным». Впрочем, он скорее ничего себе не сказал, но именно это ему хотелось сказать: он как бы зарекся, что вся его жизнь будет похожа на этот внезапный взрыв. Ему шел двадцать второй год, он читал в своей комнате Спинозу, был последний день карнавала накануне поста, по улице проезжали большие разноцветные повозки, нагруженные картонными манекенами: он поднял глаза и снова повторил свой зарок с философской выспренностью, которая с недавних пор была свойственна Брюне и ему; он сказал себе: «Я спасу себя сам». Десятки, сотни раз твердил он свой завет. Слова менялись с возрастом, с новым интеллектуальным уровнем, но это была его единственная и неизменная клятва; и в собственных глазах Матье не был ни высоким, тяжеловатым мужчиной, преподававшим философию в мужском лицее, ни братом Жака Деларю, адвоката, ни любовником Марсель, ни другом Даниеля и Брюне; он был не чем иным, как своим зароком.

Какой зарок? Он провел рукой по уставшим от света глазам, он больше не был ни в чем уверен, все чаще и чаще он ощущал себя в некоем самоизгнании. Чтобы понять свой зарок, следовало быть в ладу с самим собой.

— Подайте мячик, пожалуйста!

Теннисный мячик подкатился к его ногам, мальчик бежал к нему с ракеткой в руке. Матье поднял мячик и кинул мальчугану. Определенно, он был не в ладу с самим собой: он закис в этом вязком зное и ощущал давнее монотонное чувство обыденности — напрасно он повторял фразы, которые когда‑то его вдохновляли: «Быть свободным. Быть самодостаточным, способным себе сказать: я существую, потому что этого хочу, быть своим собственным истоком». Пустые, высокопарные слова, докучная болтовня интеллектуала.

Он встал. Встал всего лишь служащий, обремененный денежными затруднениями и направлявшийся к сестре своего бывшего ученика. Он подумал: «Разве уже все ставки сделаны? Разве я всего лишь служащий?» Он так долго ждал, его последние годы были только вооруженным бодрствованием. Он ждал сквозь тысячи мелких, повседневных забот; конечно, он попутно приударял за женщинами, путешествовал, наконец зарабатывал на жизнь. Но меж тем его единственной заботой было оставаться наготове. Наготове для поступка. Поступка свободного и обдуманного, который определит его дальнейшую жизнь и станет ее началом. Он никогда не мог полностью отдаться любви, удовольствию, он никогда не был по‑настоящему несчастлив, ему всегда казалось, что он где‑то в другом месте, что он еще не полностью родился. Он ждал. А за это время тихо, исподтишка подкрались годы и схватили его за шиворот. Теперь ему тридцать четыре. «Начинать следовало в двадцать пять. Как Брюне. Да, но тогда начинаешь с неполным пониманием сути. И в результате оказываешся одурачен... А я не хотел быть одураченным». Он мечтал поехать в Россию, бросить учебу, научиться какому‑нибудь ремеслу. Но каждый раз за полшага до резких поворотов его удерживало отсутствие достаточных оснований. А без них все рушилось. И он продолжал ждать...

Парусные лодочки кружили в водоеме Люксембургского сада, орошаемые время от времени фонтанами. Он подумал: «Я больше не жду. Она права, я себя опустошил, сделал бесплодным, чтобы превратиться в вечное ожидание. Да, теперь я пуст. Но зато я больше ничего не жду».

Там, около фонтана, одна из лодок зачерпнула бортом воду. Все смеялись, глядя на нее; какой‑то мальчишка пытался зацепить ее багром.

IV

Матье посмотрел на часы: «Без двадцати одиннадцать, она опаздывает». Он не любил, когда она опаздывала, он всегда боялся, как бы она не довела себя до гибели. Она забывала все, она спасалась забвением, спасалась ежеминутно, забывая есть, забывая спать. Однажды она забудет дышать, и наступит конец. Два молодых человека остановились рядом с ним: они высокомерно разглядывали столик.

— Sit down, — произнес один.

— Я sit down, — ответил другой.

Они засмеялись и сели; у них были ухоженные руки, холодное выражение лиц, нежная кожа. «Здесь только молокососы», — раздраженно подумал Матье. Лицеисты или студенты, молодые самцы, окруженные бесцветными самками, имели вид сверкающих настырных насекомых. «Молодость занятна, — подумал Матье, — извне блестит, а внутри ничего не чувствуешь». Ивиш чувствовала свою молодость. Борис тоже, но они исключения. Мученики молодости. «Все мы просто не знали, что были молоды, — ни я, ни Брюне, ни Даниель. Мы поняли это только потом».

Он без особого удовольствия думал о том, что поведет Ивиш на выставку Гогена. Матье любил показывать ей красивые картины, красивые фильмы, красивые предметы, потому что сам он красив не был, это был его способ извиняться. Ивиш его не извиняла: сегодня утром, как и раньше, она будет смотреть на картины с маниакальным нелюдимым видом; Матье будет стоять рядом с ней, некрасивый, навязчивый, забытый. Но, однако, он и не хотел бы быть красивым. Никогда Ивиш не была более одинока, как перед лицом красоты. Матье сказал себе: «Сам не знаю, чего я от нее хочу». И тут он увидел Ивиш; она шла по бульвару рядом с завитым высоким парнем в очках, она подняла к нему лицо и дарила ему лучезарную улыбку, они оживленно болтали. Когда она увидела Матье, ее глаза мгновенно погасли, она быстро попрощалась со своим спутником и рассеянно пересекла улицу Эколь. Матье встал.

— Привет, Ивиш!

— Здравствуйте, — сказала она.

Она сильно постаралась прикрыть лицо: начесала светлые кудри на щеки, челку спустила до глаз. Зимой ветер трепал ее волосы, обнажая полные бледные щеки и низкий лоб, который она называла «калмыцким»; тогда обнажалось ее лицо, широкое, бледное, детское и чувственное, похожее на луну средь облаков. Но сегодня Матье видел ее настоящее узкое и чистое лицо, напоминающее трагическую треугольную маску. Молодые соседи Матье повернулись к ней, по их лицам видно было, что они считают ее красивой. Матье с нежностью смотрел на нее, он был единственным среди всех этих людей, кто знал, что она некрасива. Ивиш села, спокойная и угрюмая. Она не была нарумянена, так как румяна портят кожу.

— Что будет мадам? — спросил официант. Ивиш улыбнулась ему, ей нравилось, что ее назвали «мадам»; потом она неуверенно обернулась к Матье.

— Закажите настойку из перечной мяты, — посоветовал он, — ведь вы ее любите.

— Я ее люблю? — удивилась Ивиш. — Тогда согласна. А что это такое? — спросила она, когда официант ушел.

— Зеленая мята.

— Это такое густое зеленое пойло, которое я пила в прошлый раз? Нет‑нет, не хочу, от него вяжет во рту. Я всегда соглашаюсь, но мне не надо бы вас слушать. У нас разные вкусы.

— Вы сказали, что вам понравилось, — расстроенно возразил Матье.

— Да, но потом я вспомнила ее вкус. — Она вздрогнула. — Ни за что не буду ее пить.

— Официант! — крикнул Матье.

— Нет, нет, оставьте, сейчас он ее принесет, на вид это красиво. Но я к ней не притронусь, вот и все. Я не хочу пить.

Она умолкла. Матье не знал, что ей сказать: мало что интересовало Ивиш, да и ему не хотелось говорить. Марсель присутствовала и здесь; он ее не видел, не называл, но она была здесь. Ивиш он видел, мог назвать ее по имени или коснуться ее плеча, но вся она, и ее хрупкая талия, и красивая упругая грудь, была вне досягаемости; она казалась нарисованной и покрытой лаком, как недоступная таитянка на картинах Гогена. Скоро позвонит Сара. Посыльный позовет: «Месье Деларю!»; Матье услышит на другом конце провода мрачный голос: «Он хочет десять тысяч франков и ни су меньше». Больница, хирургия, запах эфира, денежные вопросы. Матье сделал усилие и повернулся к Ивиш, она закрыла глаза и легко водила пальцем по векам. Затем открыла глаза.

— У меня впечатление, что они сами по себе остаются открытыми. Время от времени я их закрываю, чтобы дать им отдохнуть. Они красные?

— Нет.

— Это от солнца, летом у меня всегда болят глаза. В такие дни нужно бы выходить только с наступлением ночи; иначе не знаешь, куда деться, — солнце преследует повсюду. И потом у людей влажные руки.

Матье под столом коснулся пальцем своей ладони: сухая. Это у другого, у высокого завитого парня, были влажные ладони. Он без волнения смотрел на Ивиш; он чувствовал себя виноватым и освобожденным, потому что все меньше придавал ей значения.

— Вам досадно, что я заставил вас выйти сегодня утром?

— Как бы то ни было, оставаться в моей комнате было невозможно.

— Но почему? — удивился Матье.

— Вы не знаете, что такое женское студенческое общежитие. Девушек постоянно опекают, особенно во время сессии. Кроме того, одна женщина воспылала ко мне страстью, она все время под разными предлогами заходит в мою комнату, гладит по волосам; ненавижу, когда ко мне прикасаются.

Матье едва слушал ее: он знал, что она не думает о том, что говорит. Ивиш раздраженно мотнула головой.

— Эта толстуха из общежития любит меня, потому что я блондинка. И всегда одно и то же, через три месяца она меня возненавидит, скажет, что я притворщица.

— Вы действительно притворщица, — заметил Матье.

— Да‑а... — протянула она монотонным голосом, который заставил вспомнить о ее бледных щеках.

— Что вы хотите, люди в конце концов все же обратят внимание на то, что вы прячете от них щеки и опускаете перед ними глаза, точно недотрога.

— А вам разве понравится, когда узнают, кто вы? — Она добавила с легким презрением: — Действительно, к подобному вы не чувствительны. А вот смотреть людям в глаза, — продолжала она, — я не могу, у меня сразу в глазах щиплет.

— Сначала вы меня часто смущали, — сказал Матье. — И при этом смотрели на меня чуть выше лба. А я ужасно боюсь облысеть... Мне казалось, что вы заметили просвет в волосах и не можете отвести от него взгляда.

— Я на всех так смотрю.

— Да, или исподтишка: вот так...

Он бросил на нее быстрый и потаенный взгляд. Она засмеялась, одновременно развеселившись и разозлившись.

— Прекратите! Не хочу, чтобы меня передразнивали.

— Но я не со зла.

— Конечно, но мне всегда страшно, когда вы подражаете моей мимике.

— Понимаю, — сказал, улыбаясь, Матье.

— Это не то, что вы, вероятно, думаете: будь вы хоть самым красивым мужчиной на свете, для меня это было бы то же самое.

Она добавила изменившимся голосом:

— Как бы я хотела, чтоб у меня не болели глаза.

— Послушайте, — сказал Матье, — я сейчас пойду в аптеку и спрошу для вас капли. Но я жду звонка. Если мне позвонят, будьте так любезны, скажите посыльному, что я скоро вернусь, пусть перезвонят.

— Нет, не уходите, — холодно сказала она, — благодарю, но мне ничто не поможет, это от солнца.

Они замолчали. «Мне скучно», — подумал Матье со странным удовольствием. Ивиш разглаживала юбку ладонями, немного приподнимая пальцы, как будто собиралась нажать на клавиши пианино. Ее кисти были всегда красноваты; видно, из‑за скверного кровообращения; она их обычно приподымала вверх и трясла ими, чтоб они побледнели. Они ей вовсе не служили, чтобы брать, это были два маленьких примитивных идола на конце рук; они слегка касались предметов незаконченными, мелкими движениями, скорее чтобы эти предметы моделировать, чем схватить. Матье поглядел на ногти Ивиш, длинные и заостренные, ярко накрашенные, почти китайские: достаточно было посмотреть на это хрупкое и неудобное украшение, чтобы понять — Ивиш ничего не могла делать этими десятью пальцами. Как‑то один из ногтей сломался, она хранила его в крошечном гробике и время от времени созерцала со смесью ужаса и удовольствия. Матье однажды его видел: на нем сохранился лак, и он был похож на дохлого скарабея. «Не понимаю, что ее волнует; она никогда не была такой взвинченной. Скорее всего из‑за экзамена. Или же ей смертельно скучно со мной: все‑таки я взрослый».

— Наверняка вот так начинают слепнуть, — вдруг сказала Ивиш безразличным тоном.

— Наверняка не так, — улыбаясь, ответил Матье. — Вам ведь сказал доктор в Лаоне: у вас небольшой конъюнктивит.

Он говорил ласково, он улыбался ласково, он чувствовал себя отравленным ласковостью: с Ивиш нужно было всегда улыбаться, делать ласковые и медленные движения. «Как Даниель со своими кошками».

— У меня болят глаза, — сказала Ивиш, — достаточно пустяка... — Она заколебалась. — Я... мне больно в глубине глаз. В самой глубине. Разве это не начало того безумия, о котором вы мне говорили?

— А, эта давняя история? — спросил Матье. — Послушайте, Ивиш, в прошлый раз у вас болело сердце, и вы боялись сердечного приступа. Какое странное существо вы из себя воображаете, можно подумать, что вам необходимо мучить себя; а бывало, вы заявляли, будто здоровье у вас отменное; нужно выбрать что‑то одно.

Голос оставлял в глубине его рта сладкий привкус.

Ивиш с замкнутым видом смотрела на свои ноги.

— Со мной должно что‑то случиться.

— Знаю, — сказал Матье, — у вас на ладони линия жизни ломаная. Но вы мне сказали, что серьезно в это не верите.

— Да, я этому действительно не верю... И все же не могу представить себе свое будущее. Оно перегорожено.

Она замолчала. Матье молча смотрел на нее. Без будущего... Вдруг он почувствовал горечь во рту и ощутил, что страшно дорожит Ивиш. И это правда, у нее не было будущего: Ивиш в тридцать лет, Ивиш в сорок лет — это не имеет ни малейшего смысла. Он подумал: она нежизнеспособна. Когда Матье был один или когда он говорил с Даниелем, с Марсель, его жизнь простиралась перед ним, ясная и монотонная: какие‑то женщины, какие‑то путешествия, какие‑то книги. Длинный склон, по которому он медленно‑медленно спускается, нередко он даже считал, что все идет недостаточно быстро. Но, когда он видел Ивиш, жизнь казалась ему катастрофой. Ивиш была маленьким, полным неги и драматизма страданием, не имеющим исхода: либо она уедет, либо потеряет рассудок, либо умрет от сердечного приступа, либо родители запрут ее в Лаоне. Но Матье не представлял себе жизни без нее. Он сделал робкое движение: ему хотелось взять руку Ивиш выше локтя и сжать изо всех сил. «Ненавижу, когда ко мне прикасаются». Рука Матье упала. Он поспешно сказал:

— У вас очень красивая блузка, Ивиш.

Это была оплошность: Ивиш напряженно наклонила голову и смущенно ощупала блузку. Комплименты она воспринимала как оскорбления, словно кто‑то топором кромсал ее образ, грубоватый и чарующий, которого она побаивалась. Она в одиночестве примеривала его к себе, думала о нем беззвучно, ласково и почти уверенно. Матье покорно смотрел на хрупкие плечи Ивиш, на ее высокую округлую шею. Она часто говорила: «Ненавижу людей, которые не чувствуют своего тела». Матье чувствовал свое тело, но скорее как большой, стесняющий его пакет.

— Вы все еще хотите посмотреть картины Гогена?

— Какого Гогена? А! Выставку, о которой вы говорили? Ну что ж, это можно.

— У вас такой вид, будто вы не хотите.

— Нет, хочу.

— Если не хотите, Ивиш, скажите прямо.

— Но вы же хотите.

— Вы знаете, что я там уже был. Я хочу показать ее вам, если вам это доставит удовольствие, но, если вам не хочется, эта выставка меня больше не интересует.

— Раз так, я предпочитаю пойти в другой день.

— Но выставка завтра закрывается, — разочарованно проговорил Матье.

— Ну что ж, тем хуже, когда‑нибудь потом ее повторят, — вяло отозвалась Ивиш. И живо добавила: — Их ведь повторяют, правда?

— Ивиш, — сказал Матье мягко, но раздраженно, — в этом вы вся. Скажите лучше, что вам не хочется, вы же хорошо знаете, что такое не скоро повторится.

— Ну что ж, — мило сказала она, — я не хочу туда идти, потому что я нервничаю из‑за экзамена. Это ужасно — заставлять так долго ждать результата.

— Разве он будет не завтра?

— Вот именно. — Она добавила, дотронувшись кончиками пальцев до рукава Матье: — Не нужно обращать на меня внимания, сегодня я сама не своя. Я завишу от других, это унизительно, у меня все время перед глазами маячит белый лист, прикрепленный к серой стене. Не могу думать ни о чем другом. Уже проснувшись утром, я поняла, что нынешний день — вычеркнутый. У меня его украли, а их у меня не так уж много.

Она добавила тихо и быстро:

— Я провалилась на практическом по ботанике.

— Понимаю, — сказал Матье.

Он попытался обрести в своих воспоминаниях волнение, которое позволило бы ему понять тревогу Ивиш. Может быть, накануне конкурса на должность преподавателя лицея... Нет, как бы то ни было, это не одно и то же. Он прожил без риска, безмятежно. Теперь он почувствовал себя беззащитным среди угрожающего мира, но это возникло только благодаря Ивиш.

— Если меня допустят к экзаменам, — сказала она, — я немножко выпью перед тем, как идти на устный.

Матье не ответил.

— Совсем немножко, — повторила Ивиш.

— Вы это говорили перед конкурсным экзаменом в феврале, а потом хороши же вы были, когда выпили четыре стаканчика рома и были в стельку пьяны.

— Все равно меня не допустят, — неискренне сказала она.

— Это понятно, но если вас все‑таки допустят?

— Ладно, не буду пить.

Матье не настаивал: он был уверен, что она придет на устный экзамен навеселе. «Я бы такого не сделал, я всегда был слишком осторожен». Он разозлился на Ивиш и был противен себе самому. Официант принес рюмку и до половины налил ее зеленой мятной настойкой.

— Сейчас я вам принесу ведерко со льдом.

— Большое спасибо, — ответила Ивиш. Она смотрела на рюмку, а Матье — на нее. Сильное и неопределенное желание охватило его: стать на мгновение этим рассеянным существом, переполненным собственным запахом, почувствовать изнутри эти длинные тонкие руки, ощутить, как на сгибе руки складки кожи предплечья склеиваются, как губы, перевоплотиться в это тело и познать все те укромные поцелуйчики, которыми оно себя непрерывно осыпает. Стать Ивиш, оставаясь при этом самим собой. Ивиш взяла ведерко из рук официанта, положила себе в рюмку кубик льда.

— Не для того, чтобы пить, — сказала она, — но так красивее.

Она немного сощурила глаза и по‑детски улыбнулась.

— Красиво.

Матье с раздражением смотрел на рюмку, он пытался наблюдать плотное и неуклюжее движение жидкости за смутной белизной льда. Напрасно. Для Ивиш это маленькое вязкое и зеленое наслаждение, которое охватывало ее вплоть до кончиков пальцев; для него это ничто. Меньше, чем ничто: рюмка с мятной настойкой. Он мог вообразить, что почувствовала Ивиш, но сам никогда ничего не чувствовал: для нее вещи были живыми соучастниками, их постоянные эманации проникали в нее до самого нутра, Матье же всегда видел предметы только издалека. Он поглядел на нее и вздохнул: как всегда, опоздал; Ивиш больше не смотрела на рюмку, она погрустнела и принялась нервно теребить локоны.

— Хочется курить.

Матье достал из кармана пачку «Голд флейк» и протянул ей.

— Сейчас дам вам огня.

— Спасибо, предпочитаю зажечь сама.

Она раскурила сигарету, сделала несколько затяжек. Приблизила руку ко рту и с маниакальным видом забавлялась, направляя дым вдоль ладони. Она объяснила самой себе:

— Мне хочется, чтобы дым выпускала как бы моя рука. Было бы забавно — рука, выпускающая туман.

— Так не бывает, дым очень быстро улетучивается.

— Я знаю, это меня раздражает, но не могу остановиться. Я чувствую свое дыхание, которое щекочет мне руку, оно проходит как раз посередине, как будто ладонь разделена надвое какой‑то преградой.

Ивиш издала короткий смешок и замолкла, она по‑прежнему дула на руку, упрямая и недовольная. Затем бросила сигарету и тряхнула головой: запах ее волос достиг обоняния Матье: запах пирога и ванильного сахара, так как она мыла голову яичным желтком; и в этом аромате кондитерской было что‑то плотское.

Матье подумал о Саре.

— О чем вы думаете, Ивиш? — спросил он.

Она на секунду замерла с открытым ртом, растерянная, затем обрела прежний созерцательный вид, и лицо ее стало непроницаемым. Матье почувствовал, что устал смотреть на нее, у него защипало в уголках глаз.

— О чем вы думаете? — повторил он.

— Я... — Ивиш встряхнулась. — Вы все время спрашиваете об этом. Да ни о чем определенном. Толком и не определишь.

— И все же?

— Ну что ж, я смотрела, к примеру, на этого человечка. Чего вы от меня ждете? Чтобы я вам сказала: он толстый, он вытирает губы платком, на нем галстук?.. Странно, что вы меня заставляете говорить о таких пустяках, — сказала она, внезапно устыдившись и разозлившись, — это совершенно не важно.

— Нет, для меня важно. Как бы я хотел, чтобы вы думали вслух.

Ивиш невольно улыбнулась.

— Но речь дана не для такой ерунды, — ответила Ивиш.

— Забавно, но к речи вы испытываете уважение туземца, похоже, вы считаете, что она дана нам только для того, чтобы объявлять о смертях, браках или служить мессу. Тем не менее вы смотрели не на людей, Ивиш, я видел, вы смотрели на свою руку, а потом на ногу. И вообще я знаю, о чем вы думали.

— Зачем же вы тогда спрашиваете? Не нужно особой проницательности, чтобы догадаться: я думала об экзамене.

— Вы боитесь провалиться, так?

— Естественно, боюсь провалиться. Скорее нет, не боюсь. Я и так знаю, что провалилась.

Матье снова почувствовал во рту привкус непоправимого: если она провалится, я ее больше не увижу. А ведь она определенно провалится, это яснее ясного.

— Не хочу возвращаться в Лаон, — с отчаяньем сказала Ивиш. — Если я провалю экзамен и придется вернуться, мне оттуда больше не вырваться, меня предупредили, что это мой последний шанс.

Она снова принялась теребить волосы.

— Если б я набралась смелости... — неуверенно сказала она.

— То что бы вы сделали? — с беспокойством спросил Матье.

— Все равно что. Все, что угодно, но только бы не возвращаться в Лаон, я не хочу там влачить свои дни, не хочу!

— Но вы мне говорили, что ваш отец, возможно, через год‑два продаст лесопильный завод и семья переедет в Париж. Так что можно и потерпеть.

— Терпеть! Все вы такие, — выкрикнула Ивиш, направив на него сверкающий от гнева взгляд. — Посмотрела бы я на вас там! Два года в этом подземелье, терпеть два года! Вы что, не можете уразуметь, что значат эти два года, которые у меня отнимут? У меня только одна жизнь, — выкрикнула она в бешенстве. — Послушать вас, можно подумать, что вы бессмертны. По‑вашему, потерянный год возмещается! — На глазах у нее выступили слезы. — Неправда, моя молодость будет уходить капля за каплей. Я хочу жить сейчас, а я еще не начала, у меня нет времени ждать, я уже старая, мне двадцать один год!

— Ивиш, прошу вас, — сказал Матье, — вы меня пугаете. Попытайтесь по крайней мере один раз четко сказать мне, что у вас с практическими работами. То у вас довольный вид, то вы в отчаянии.

— Я все завалила, — мрачно сказала Ивиш.

— Я думал, что вы успешно сдали физику.

— Как же! — насмешливо отозвалась Ивиш. — Химия тоже была никудышной, я не могла вбить себе в голову дозировки, это все такая чушь.

— Но почему вы выбрали именно это?

— Что «это»?

— Естественные науки.

— Нужно же было вырваться из Лаона, — свирепо ответила она.

Матье бессильно махнул рукой; они замолчали. Из кафе вышла женщина и медленно прошла мимо них; она была красива, маленький носик на гладком лице; казалось, она кого‑то искала. Сначала Ивиш услышала ее духи и медленно подняла хмурое лицо — оно мгновенно преобразилось.

— Дивное создание, — произнесла она тихим, глубоким голосом. Матье испугался этого голоса.

Женщина остановилась, сощурившись от солнца, ей могло быть лет тридцать пять, через легкий креп платья видны были ее длинные ноги, но Матье не хотелось на них смотреть, он смотрел на Ивиш. Ивиш сделалась почти безобразной, она сильно сжимала ладони. Однажды она сказала Матье: «Маленькие носики вызывают у меня желание укусить их». Матье немного наклонился и увидел ее в три четверти; у нее был сонный и жестокий вид, и он подумал, что сейчас у нее возникло желание кусаться.

— Ивиш, — нежно позвал Матье.

Она не ответила; Матье знал, что она не может ответить: он для нее больше не существовал, она была совсем одна.

— Ивиш!

Именно в такие мгновения он больше всего дорожил ею, когда ее маленькое очаровательное и почти жеманное тело населяла мучительная сила, жгучая и мутная, обездоленная любовь к красоте. Он подумал: «Я некрасив», — и почувствовал себя, в свою очередь, одиноким.

Женщина ушла. Ивиш проследила за ней взглядом и яростно прошептала:

— Иногда хочется быть мужчиной. Она издала короткий смешок, и Матье грустно посмотрел на нее.

— Месье Деларю просят к телефону! — прокричал посыльный.

— Иду! — откликнулся Матье.

Он встал.

— Извините, это Сара Гомес.

Ивиш холодно улыбнулась; он вошел в кафе и спустился по лестнице.

— Вы месье Деларю? Пожалуйста, в первую кабину.

Матье взял трубку, дверь кабины не закрывалась.

— Алло, это Сара?

— Еще раз здравствуйте, — послышался гнусавый голос Сары. — Ну вот, все улажено.

— Я рад.

— Только нужно поторопиться: в воскресенье он уезжает в Штаты. Он хотел бы сделать это не позднее чем послезавтра, чтобы иметь возможность первые дни понаблюдать за ней.

— Хорошо... Сегодня же предупрежу Марсель, только это застало меня немного врасплох и мне нужно найти деньга. Сколько он хочет?

— Ах! Я очень сожалею, — сказала Сара, — но он хочет четыре тысячи наличными; клянусь, я настаивала, сказала, что вы стеснены в средствах, но он не захотел ничего слышать. Подлый еврей, — добавила она, смеясь.

Сару переполняло неиспользованное сострадание, но, когда она бралась оказать услугу, она становилась прямолинейной и деловой, как сестра милосердия. Матье немного отстранил трубку, он подумал: «Четыре тысячи франков», — а между тем смех Сары потрескивал в маленькой черной мембране, это был какой‑то кошмар.

— Через два дня? Ладно, я... Я постараюсь. Спасибо, Сара, вы сокровище, вы будете дома сегодня до ужина?

— Весь день.

— Хорошо. Я заскочу, нужно еще кое‑что уладить.

— До вечера.

Матье вышел из кабины.

— Мне нужен жетон, мадемуазель. Ах, нет, Не стоит. Он бросил двадцать су на блюдце и медленно поднялся по лестнице. Не стоило звонить Марсель, пока не улажено с деньгами. «В полдень пойду к Даниелю». Он снова сел рядом с Ивиш и холодно посмотрел на нее.

— У меня больше не болит голова, — мило сказала она.

— Я рад.

На душе у него было муторно.

Ивиш глядела в сторону сквозь длинные ресницы. У нее была смущенная кокетливая улыбка.

— Мы могли бы... Мы могли бы все же пойти посмотреть Гогена.

— Если угодно, — без удивления сказал Матье.

Они встали, Матье заметил, что рюмка Ивиш пуста.

— Такси! — крикнул он.

— Не это, — заупрямилась Ивиш, — оно с открытым верхом, ветер будет дуть в лицо.

— Нет, нет, — сказал Матье шоферу, — поезжайте, это не вам.

— Остановите вот это, — потребовала Ивиш, — красивое, как карета на празднике Святого Причастия, к тому же закрытое.

Такси остановилось, Ивиш села в него. Матье подумал: «Попрошу у Даниеля на тысячу франков больше, чтобы дотянуть до конца месяца».

— Галерея изящных искусств, Фобур Сент‑Оноре. Он молча сел рядом с Ивиш. Оба были смущены. Матье увидел у своих ног три наполовину выкуренных сигареты с позолоченными фильтрами.

— В этом такси кто‑то нервничал.

— Почему?

Матье показал на окурки.

— Женщина, — решила Ивиш, — есть следы помады. Они улыбнулись и замолчали. Матье вспомнил:

— Однажды я нашел в такси сто франков.

— Должно быть, вы обрадовались.

— Нет! Я отдал их шоферу.

— Вот как! А я бы оставила себе. Почему вы их отдали?

— Не знаю.

Такси пересекло площадь Сен‑Мишель, Матье чуть не сказал: «Посмотрите, какая Сена зеленая», — но промолчал. Внезапно Ивиш проговорила:

— Борис рассчитывает, что мы втроем пойдем сегодня вечером в «Суматру», я бы не отказалась...

Она повернула голову и смотрела на волосы Матье с нежностью, приближая губы. Ивиш не была в полном смысле слова кокетлива, но время от времени напускала на себя нежный вид из удовольствия ощутить свое лицо тяжелым и сладким, как сочный плод. Матье счел это раздражающим и неуместным.

— Рад повидать Бориса и побыть с вами, — сказал он. — Что меня немного смущает, так это Лола; вы ведь знаете, она меня не выносит.

— Ну и что из того?

Наступило молчание. Как будто они вдруг одновременно представили себя влюбленной парочкой, сидящей в такси. «Этого не должно быть», — с раздражением подумал Матье; Ивиш продолжала:

— Не думаю, что стоит обращать внимание на Лолу. Она красива, хорошо поет, вот и все.

— Я считаю ее симпатичной.

— Естественно. Это ваш принцип: вы всегда хотите быть совершенным. Когда люди вас ненавидят, вы изо всех сил стараетесь найти в них хорошие качества. Я же не считаю ее симпатичной, — добавила она.

— С вами она мила.

— Она не может иначе; но я ее не люблю, она вечно ломает комедию.

— Комедию? — переспросил Матье, поднимая брови. — Вот уж в этом я упрекнул бы ее в последнюю очередь.

— Странно, что вы этого не заметили: она испускает многочисленные вздохи, чтоб ее сочли впавшей в отчаяние, и тут же заказывает себе лучшие блюда.

Она добавила со скрытой злостью:

— Думаю, что отчаявшиеся люди плюют на смерть: я всегда удивляюсь, когда вижу, как она до последнего су рассчитывает свои расходы и копит денежки.

— Это не мешает ей быть в отчаянии. Так поступают стареющие люди: когда они испытывают отвращение к себе и к своей жизни, то думают о деньгах и тем ублажают себя.

— Значит, нельзя стареть, — сухо заметила Ивиш.

Он смущенно посмотрел на нее и поторопился добавить:

— Вы правы, старым быть некрасиво.

— Ну уж вы‑то человек без возраста, — сказала Ивиш, — мне кажется, что вы всегда были таким, как сейчас, у вас вечная молодость. Иногда я пытаюсь представить себе, каким вы были в детстве, но не могу.

— У меня были кудряшки, — сказал Матье.

— А я представляю себе, что вы были таким, как сейчас, только поменьше.

На этот раз Ивиш не подозревала, что ее слова прозвучали нежно. Матье хотел заговорить, но у него странно запершило в горле, и он потерял самообладание. Он оставил позади Сару, Марсель и бесконечные коридоры больницы, где мысленно бродил все утро, он был нигде, он чувствовал себя свободным; этот летний день слегка касался его своей плотной и теплой массой, ему хотелось упасть в нее всем телом. Еще секунду ему казалось, что он завис в пустоте с невыносимым ощущением свободы, потом он вдруг протянул руку, обнял Ивиш за плечи и привлек к себе. Ивиш напряженно подчинилась, как бы теряя равновесие. Она ничего не сказала; вид у нее был безразличный.

Такси выехало на улицу Риволи, аркады Лувра тяжело пролетали вдоль стекол, как большие голуби. Было жарко. Матье чувствовал у своего бока теплое тело; через ветровое стекло он видел деревья и трехцветный флаг на оконечности мачты. Он вспомнил одного человека, которого однажды увидел на улице Муффтар: довольно хорошо одетый мужчина с совершенно серым лицом. Он подошел к киоску и долго смотрел на кусок холодного мяса, лежавшего на витрине, затем протянул руку и взял мясо; казалось, ему это было совсем просто, он тоже должен был чувствовать себя свободным. Хозяин закричал, полицейский увел этого человека, который как будто и сам удивлялся. Ивиш все еще молчала.

«Она меня осуждает», — раздраженно подумал Матье.

Он наклонился; чтобы наказать ее, он слегка поцеловал ее холодные сжатые губы. Подняв голову, он увидел ее глаза, и его злорадное торжество мгновенно улетучилось. Он подумал: «Женатый мужчина лапает девушку в такси», — и его рука упала, помертвевшая и ватная; тело Ивиш выпрямилось с механическим колебанием, как маятник, отведенный в сторону из положения равновесия. «Все, — сказал себе Матье, — это непоправимо». Он сгорбился, ему хотелось бы растаять. Полицейский поднял жезл, такси остановилось. Матье смотрел прямо перед собой, но не видел деревьев; он взирал на свою любовь.

Да. Это любовь. Теперь это была любовь. Матье подумал: «Что я сделал?» Пять минут назад эта любовь не существовала; между ними было редкое и драгоценное чувство, не имевшее названия, оно не могло выражаться поступками. А он совершил поступок, единственный, которого не следовало делать, и это не нарочно, все пришло само собой. Этот жест и эта любовь предстали перед Матье, как нечто большое, назойливое, теперь уже порядком вульгарное. Отныне Ивиш будет думать, что он ее любит; она решит: он — как все остальные; отныне Матье будет любить Ивиш, как других женщин, которых любил до этого. «О чем она думает?» Она сидела рядом с ним, напряженная, молчаливая, и между ними был этот поступок, «ненавижу, когда ко мне прикасаются», это неловкое и нежное движение, которое имело теперь клеймо бесповоротности происшедшего события. «Она злится, она меня презирает, она думает, что я — как все. А я хотел от нее другого», — подумал он с отчаянием. Но он уже был не в состоянии вспомнить, чего же он хотел до этого. Любовь была здесь, округлая, простая, с элементарными желаниями и банальными повадками, сам Матье заставил ее зародиться в недрах своей полной свободы. «Это неправда, — сказал он себе энергично, — я не желаю ее, я никогда ее не желал». Но он уже знал, что будет ее желать. «Всегда кончается этим, я буду смотреть на ее ноги и грудь, а потом, в один прекрасный день...» Внезапно он увидел Марсель, как она лежит на кровати, совершенно голая, с закрытыми глазами; он ненавидел Марсель.

Такси остановилось; Ивиш открыла дверцу и вышла на мостовую. Матье не сразу вышел за ней; он созерцал, округлив глаза, эту новую и уже старую любовь, любовь женатого, постыдную и тайную, унизительную для нее, униженную заранее; теперь он принимал ее как неизбежность. Наконец он вышел, расплатился и подошел к Ивиш, которая ждала его у ворот. «Если бы только она могла забыть». Он взглянул на нее украдкой и отметил, что вид у нее суровый. «Так или иначе, а между нами что‑то кончилось», — подумал он. Но ему не хотелось мешать самому себе любить ее. Они направились на выставку, не обменявшись ни словом.

V

«Архангел!» Марсель зевнула и, привстав, тряхнула головой, это была ее первая мысль: «Сегодня вечером придет Архангел». Она любила эти таинственные посещения, но сегодня она подумала об этом без удовольствия. В воздухе вокруг нее тяжело повис ужас, полуденный ужас. Отпустившая жара теперь наполняла комнату, она уже отслужила свое на улице, а здесь оставила свое сияние в складках шторы и застоялась там, инертная и зловещая, как судьба. Марсель снова подумала об Архангеле. «Если бы он узнал, он, такой чистый, я стала бы ему противна». Она села на край кровати, как накануне, когда Матье сидел напротив нее голый, и с угрюмым отвращением смотрела на большие пальцы своих ног; вчерашний вечер был еще здесь, неумолимый, со своим мертвым и розовым светом, как остывший запах. «Я не смогла.. Я не смогла ему признаться» Он бы сказал: «Хорошо! Все уладится», — с тем лихим и бесшабашным видом, с которым поглощают снадобье. Она знала, что не смогла бы вынести этого лица; слова застряли у нее в горле. Она подумала: «Полдень!» Потолок был серым, как раннее утро, но уже был полуденный жар. Марсель засыпала поздно и перестала различать времена суток, ей иногда казалось, что жизнь ее остановилась однажды в полдень, что жизнь вообще была вечным полднем, обрушившимся на предметы полднем, дождливым, безнадежным и таким бесполезным. Снаружи был день, разгар дня, светлые наряды. Матье шагал где‑то там, снаружи, без нее, в живом и веселом облаке пыли начавшегося дня, уже имеющего некое прошлое. «Он думает обо мне, он суетится», — не дружелюбно подумала Марсель. Она была раздражена, так как представляла это тяжелое сострадание под ярким полуденным солнцем, это неловкое и деятельное сострадание здорового человека. Она чувствовала себя медлительной и влажной, еще тронутой сном; на ее голове была как бы стальная каска, привкус хмеля во рту, ощущение вялости в боках, а под мышкой, на кончиках черных волосков, кристаллики прохлады. Ее подташнивало, но она сдерживалась: ее день еще не начался, он был здесь, рядом с Марсель, в неустойчивом равновесии, малейшее неосторожное движение, малейший жест — и он рухнет лавиной. Она хмуро усмехнулась: «Вот она, свобода!» Когда просыпаешься утром со сжавшимся сердцем и нужно убить пятнадцать часов перед тем, как снова лечь, какое имеет значение, что ты свободна? «Свобода не помогает жить». Как будто тонкие маленькие перышки, смазанные алоэ, ласкали изнутри ее горло, а потом отвращение ко всему, изогнувшийся язык оттягивал губы назад. «Мне повезло, кажется, есть такие, кто уже на втором месяце блюет целыми днями, а меня тошнит только по утрам, после полудня я устаю, но держусь; мама знала женщин, которые не переносили запаха табака, этого еще не хватало». Она вскочила и подбежала к умывальнику; ее рвало пенистой мутной жидкостью, похожей на слегка взбитый белок. Марсель уцепилась за край фаянсовой раковины и смотрела на пенистую жидкость: скорее она походила на сперму. Марсель криво улыбнулась и прошептала: «Любовный сувенир». Затем в голове ее наступила гулкая металлическая тишина, и день начался. Она ни о чем больше не думала, только провела рукой по волосам и погрузилась в ожидание: «По утрам меня всегда рвет два раза». Потом она внезапно вспомнила лицо Матье, его наивный и в то же время уверенный вид в ту минуту, когда он сказал: «Мы от него избавимся, разве не так?» Ее пронзила вспышка ненависти.

Подступило. Сначала Марсель подумала о сливочном масле и почувствовала к нему отвращение, ей показалось, будто она жует кусок желтого прогорклого масла, она тут же ощутила в глубине глотки что‑то вроде приступа хохота и нагнулась над раковиной. На губах висела тонкая нить. Марсель закашляла, чтобы освободиться от нее. Это не вызывало в ней отвращения. Но она часто становилась себе противной: прошлой зимой, когда у нее был понос, она не хотела, чтобы Матье дотрагивался до нее, ей постоянно казалось, что от нее скверно пахнет. Она смотрела на слизь, которая медленно скользила к отверстию раковины, оставляя блестящие, липкие следы. Она вполголоса прошептала: «Ну и дела!» Эти выделения у нее не вызывали брезгливости: все же это жизнь, подобная клейкому зарождению весны, все это не более отталкивает, чем пахучий рыжий клей, покрывающий почки. «Не это отвратительно». Она плеснула немного воды, чтобы вымыть раковину, вялыми движениями сняла рубашку. Она подумала: «Будь я животным, меня оставили бы в покое». Она смогла бы предаться этой живительной истоме, купаться в ней, как в лоне огромной счастливой усталости. Но она не животное. «Мы от него избавимся, разве не так?» Со вчерашнего вечера она чувствовала себя затравленной.

Зеркало отражало ее лицо, обрамленное свинцовыми тенями. Марсель подошла ближе к зеркалу. Она не глядела ни на свои плечи, ни на грудь: она не любила своего тела. Она смотрела на свой живот, на широкий плодоносный таз. Семь лет назад, утром — Матье тогда впервые провел с ней ночь — она подошла к зеркалу с тем же неуверенным удивлением, тогда она думала: «Значит, правда, меня можно любить?» — она созерцала свою гладкую шелковистую кожу, похожую на ткань; тело ее было только поверхностью, ничем, кроме поверхности, созданной, чтобы отражать чистую игру света и морщиниться под ласками, точно море под ветром. Сегодня это уже не та плоть: она посмотрела на свой живот и вновь испытала перед спокойным изобилием тучных плодородных лугов то же ощущение, которое испытывала, когда была маленькой, при виде женщин, кормящих грудью детей в Люксембургском саду: еще оттуда шел ее страх, ее отвращение и что‑то вроде надежды. Она подумала: «Это здесь». В этом чреве маленькая кровавая земляника с невинной поспешностью торопилась жить, маленькая кровавая земляничина, совсем бессмысленная, которая даже не стала еще животным и которую скоро выскребут кончиком ножа. «В этот час многие другие тоже смотрят на свой живот и думают так же: «Это здесь». Но они‑то гордятся». Она пожала плечами: это бездумно созревшее тело было создано для материнства, но мужчина распорядился им иначе. Она пойдет к той бабке: надо просто представить себе, что это фиброма. «Сейчас это действительно всего‑навсего фиброма». Она пойдет к бабке, раздвинет ноги, и та будет скрести глубоко между ее бедер каким‑то приспособлением. А потом об этом не будет и речи, останется лишь постыдное воспоминание, подумаешь, со всеми такое случается. Она вернется в свою розовую комнату, будет продолжать читать, мучиться желудком, и Матье будет приходить к ней четыре ночи в неделю, какое‑то время будет обращаться с ней с ласковой деликатностью, как с молодой матерью, а в постели удвоит предосторожности, и Даниель, Архангел Даниель, время от времени будет приходить тоже... Загубленная возможность! Марсель застала врасплох свой взгляд в зеркале и быстро отвернулась: нет, она не хотела ненавидеть Матье. Она подумала: «Пора все же привести себя в порядок».

У нее не было на это сил. Марсель снова села на кровать, осторожно положила руку на живот, как раз над черными волосками, немного нажала и подумала с какой‑то нежностью: «Это здесь». Но ненависть не складывала оружия. Марсель попыталась себе втолковать: «Нет, не хочу его ненавидеть. Он по‑своему прав... Мы всегда говорили, что в случае чего... Он не мог знать, это моя вина, я никогда ничего ему не говорила». Она на мгновение поверила, что может расслабиться, ей вовсе не хотелось иметь повод его презирать. Но тут же она вздрогнула: «А как я могла ему сказать? Он никогда ничего у меня не спрашивает». Конечно, они раз и навсегда договорились, что будут рассказывать друг другу все, но это было удобно, главным образом, для него. Он любил демонстрировать причуды своего сознания, свою нравственную тонкость: Марсель он вполне доверял — скорее всего из лени. Он не терзался из‑за нее, он просто думал: «Если у нее что‑то есть, она мне скажет». Но она не могла говорить, у нее это просто не получалось. «Однако он должен был бы знать, что я не могу говорить о себе, для этого я недостаточно себя люблю». С Даниелем было иначе, он умел заинтересовать ее самой собою, когда так дружелюбно расспрашивал ее и смотрел на нее ласкающими глазами, и потом у них была общая тайна. Даниель был такой загадочный, он навещал ее тайком, и Матье не знал об их близкой дружбе, впрочем, они ничего предосудительного не делали, так, милый фарс, но это сообщничество создавало между ними очаровательно‑легкую близость; к тому же Марсель хотела иметь малую толику личной жизни, которая принадлежала бы только ей и оставалась бы ее маленьким секретом. «Ему нужно только поступать, как Даниель, почему он не Даниель? — подумала она. — Почему один только Даниель умеет меня разговорить? Если бы он мне немного помог...» Весь вчерашний день у нее сжимало горло, ей хотелось крикнуть: «А что если я оставлю ребенка?» Ах! Помешкай он хоть секунду, я бы так ему и сказала. Но он изобразил наивность: «Мы избавимся от него, разве не так?» И она не смогла выдавить из себя этих слов. «Он был обеспокоен, когда уходил: он не хочет, чтоб эта бабка меня изуродовала. Это — да, он пойдет за адресами, это его как‑то займет, теперь, когда у него нет уроков, все лучше, чем канителиться с малышкой. Конечно, он был раздосадован, но как человек, разбивший китайскую вазу. А в глубине души совесть его абсолютно спокойна... Должно быть, он пообещал себе, что щедро одарит меня любовью». Она усмехнулась: «Да. Но ему следует торопиться: скоро я перешагну возраст любви».

Марсель судорожно сжала руки на простыне, она ужаснулась: «Если я начну его ненавидеть, с чем же я останусь?» В конце концов она сама не знала, хочет ли она ребенка. Марсель видела издалека в зеркале темную, слегка осевшую массу: это ее тело, тело бесплодной султанши. «А выжил бы он? Ведь я вся прогнила». Нет, она пойдет к этой бабке, пойдет ночью, ото всех прячась. И бабка проведет рукой по ее волосам, как она это сделала с Андре, и с видом гнусного сообщничества назовет ее «мой котеночек» и скажет: «Когда девка не замужем, ходить с пузом — все равно что с гонореей, такая же мерзость»; «У меня венерическая болезнь», — вот что нужно себе говорить».

Но она не удержалась и нежно провела рукой по животу. Она подумала: «Это там». Там. Нечто живое и неудачливое, как она сама. Еще одна нелепая и никчемная жизнь... Внезапно она страстно подумала: «Он был бы мой. Даже идиот, даже калека — мой». Но этот тайный порыв, это невнятное заклинание были такими скрытыми, такими непристойными, их нужно было скрывать от стольких людей, что она вдруг почувствовала себя виноватой и ужаснулась сама себе.

VI

Над входной дверью был прикреплен герб Французской республики, по бокам его свисали трехцветные флаги: это сразу задавало тон. Потом шли просторные пустынные залы; через матовый витраж падал сноп золотистого света, но тут же истаивал и обесцвечивался. Светлые стены, обивка из бежевого бархата. Матье подумал: «Это во французском духе». Французский дух был повсюду, на волосах Ивиш, на руках Матье: блеклое солнце и строгая тишина художественных салонов; Матье чувствовал, как на него давит бремя гражданских обязанностей: здесь подобало говорить тихо, не дотрагиваться до выставленных предметов, демонстрировать твердость и взвешенность суждений и никогда не забывать о самой французской из добродетелей — уместности. Кроме всего этого, естественно, на стенах были пятна — картины, но у Матье пропало всякое желание на них смотреть. Тем не менее он увлек за собой Ивиш, не говоря ни слова, показал ей бретонский пейзаж с придорожным распятием, Христа на кресте, букет, двух таитянок на песке и дозор всадников из племени маори. Ивиш молчала, и Матье терялся в догадках: о чем она могла думать? Он пытался изредка смотреть на картины, но это ничего не давало. «Картины не захватывают, — подумал он раздраженно, — они предлагают себя, а существуют они или нет, зависит только от меня, я свободен перед ними». Слишком свободен: это создавало в нем дополнительную ответственность, и он почувствовал себя виноватым.

— А вот еще Гоген, — сказал он.

Это было маленькое квадратное полотно с табличкой «Автопортрет художника». Гоген, бледный, гладкие волосы и огромный подбородок, на лице его написаны живой ум и печальная надменность ребенка. Ивиш не отвечала, и Матье украдкой посмотрел на нее: он увидел только ее волосы, но без обычной их позолотцы, они лишились золотистости из‑за мутноватого дневного света. На прошлой неделе, глядя на этот портрет впервые, Матье нашел его прекрасным. Но теперь он остался равнодушен. Впрочем, Матье и не видел картины: он был перенасыщен реальностью, пронизан духом Третьей республики; он видел все, что было реальным; он видел только то, что освещал этот академический свет: стены, полотна в рамках, покрытые цветовой коркой. Но не сами картины; картины угасли, и казалось чудовищным, что в этом торжестве Уместности нашлись люди, которые рисовали, изображали на полотнах несуществующие предметы.

Вошли господин и дама. Господин — высокий и розовощекий, глаза, как пуговки на ботинках, мягкие седые волосы; дама напоминала серну, ей могло быть лет сорок. Едва войдя, они сразу вписались в обстановку — вероятно, это была привычка, а также неоспоримая связь между их моложавым видом и качеством освещения; вероятно, именно освещение национальных выставок так хорошо законсервировало эту пару. Матье показал Ивиш на большую темную цвель на задней стене.

— Это тоже он.

Гоген, обнаженный до пояса, под грозовым небом, пристально смотрел на них суровым и обманчивым взглядом провидца. Одиночество и гордыня истребили его лицо; тело стало тучным и мягким тропическим плодом с полостями, заполненными влагой. Он потерял Достоинство — Достоинство, которое еще сохранил Матье, не зная, что с ним делать, — но зато он сберег гордость. За ним были темные тела, целый шабаш черных форм. В первый раз, когда Матье увидел эту непристойную и зловещую плоть, он был взволнован; но тогда он был один. Сегодня же рядом с ним было это маленькое злопамятное тело, и Матье устыдился самого себя. Он был лишним: огромные нечистоты у основания стены.

Господин и дама подошли и бесцеремонно стали перед картиной. Ивиш вынуждена была сделать шаг в сторону, потому что они мешали ей смотреть. Господин отклонился назад и всматривался в картину с печальной суровостью. Это был знаток: в петлице у него виднелась орденская ленточка.

— Ну и ну! — произнес он, качая головой. — Мне это не очень‑то по душе. Ей‑же‑ей, он принимает себя за Христа. И еще этот черный ангел там, за ним, нет, это несерьезно.

Дама засмеялась.

— В самом деде! А ведь правда, — тоненьким голоском сказала она, — этот ангел слишком литературен, да и все тут такое же.

— Не люблю Гогена, когда он думает, — глубокомысленно изрек господин. — Настоящий Гоген — это Гоген, который украшает.

Стоя напротив этого большого обнаженного тела, он смотрел на Гогена кукольными глазами, сухой и тонкий, в отменном костюме из серой фланели. Матье услышал странное кудахтанье и обернулся: Ивиш давилась от смеха и глядела на него отчаянным взглядом, кусая губы. «Она больше не злится на меня», — обрадованно подумал Матье. Он взял Ивиш за руку и довел ее, согнутую пополам, до кожаного кресла, стоявшего посередине зала. Ивиш, смеясь, рухнула в него; волосы ее свесились на лицо.

— Потрясающе! — сказала она громко. — Как это он сказал? «Не люблю Гогена, когда он думает?» А женщина! Лучшей ему и не подыскать.

Пара держалась очень прямо: казалось, они спрашивали друг друга взглядом, какое решение принять.

— В соседнем зале есть другие картины, — робко сказал Матье.

Ивиш перестала смеяться.

— Нет, — угрюмо сказала она, — все изменилось: здесь люди...

— Вы хотите уйти?

— Да, пожалуй, все эти картины снова вызвали у меня головную боль. Хочется немного пройтись, на воздух.

Она встала. Матье последовал за ней, с сожалением бросив взгляд на большую картину на левой стене — ему хотелось бы показать ее Ивиш: две женщины топтали розовую траву босыми ногами. На одной из них был капюшон — это была колдунья. Другая вытянула руку с пророческим спокойствием. Они были не совсем живыми. Казалось, будто их застали в процессе превращения в неодушевленные предметы.

Снаружи пылала улица. У Матье было чувство, будто он пересекает пылающий костер.

— Ивиш, — невольно сказал он.

Ивиш сделала гримаску и поднесла руки к глазам.

— Как будто мне их выкалывают булавкой. Как же я ненавижу лето! — яростно воскликнула она.

Они прошли несколько шагов. Ивиш передвигалась нетвердой походкой, все еще прижимая ладони к глазам.

— Осторожно, — сказал Матье, — тротуар кончается.

Ивиш быстро опустила руки, и Матье увидел ее бледные выпученные глаза. Мостовую они перешли молча.

— Нельзя делать их публичными, — вдруг произнесла Ивиш.

— Вы имеете в виду выставки? — удивленно спросил Матье.

— Да.

— Если бы они не были публичными, — он попытался снова обрести интонацию веселой фамильярности, к которой они привыкли, — спрашивается, как бы мы могли туда пойти?

— Ну что ж, мы бы и не пошли, — сухо сказала Ивиш. Они замолчали. Матье подумал: «Она продолжает на меня дуться». И вдруг его пронзила невыносимая уверенность: «Сейчас она уйдет. Она думает только об этом. Наверняка она ищет сейчас предлог для вежливого прощания, и как только она его найдет, то тут же выпалит. Не хочу, чтоб Ивиш уходила», — с тревогой подумал он.

— У вас какие‑нибудь планы на сегодня? — спросил он.

— На какое время?

— На сейчас.

— Нет, никаких.

— Раз вы хотите прогуляться, я подумал... Вас не затруднит проводить меня к Даниелю на улицу Монмартр? Мы могли бы расстаться у его парадного, и, если позволите, я оплачу вам такси до общежития.

— Как хотите, но я не собираюсь в общежитие. Я пойду к Борису.

«Она остается». Но это не значит, что она его простила. Ивиш боялась покидать места и людей, даже если она их ненавидела, потому что будущее ее пугало. Она отдавалась с недовольным безразличием самым досадным ситуациям и в конце концов обретала в них нечто вроде передышки. И все‑таки Матье был доволен: пока она с ним, он помешает ей думать. Если он будет без умолку говорить, навяжет себя, то, наверно, сможет хоть немного отсрочить всплеск раздраженных и презрительных мыслей, которые уже зарождались в ее голове. Нужно говорить, говорить незамедлительно, не важно о чем. Но Матье не находил темы для разговора. Наконец он неловко спросил:

— Вам все же понравились картины?

Ивиш пожала плечами.

— Естественно.

Матье захотелось вытереть лоб, но он не осмелился. «Через час, когда Ивиш будет свободна, она меня, несомненно, осудит, а я уже не смогу себя защитить. Нельзя отпускать ее вот так, — решил он. — Необходимо с ней объясниться».

Он повернулся к ней, но увидел слегка растерянные глаза, и слова застряли у него в горле.

— Вы думаете, он был сумасшедшим? — вдруг спросила Ивиш.

— Гоген? Не знаю. Вы имеете в виду автопортрет?

— Ну да, его глаза. И еще эти темные очертания за ним, похожие на шепот.

Она добавила с каким‑то сожалением:

— Он был красив.

— Вот как, — удивился Матье, — никогда бы не подумал.

Ивиш говорила о знаменитых покойниках в такой манере, которая его немного шокировала: у нее не проглядывало никакой связи между великими художниками и их творениями; картины были предметами, прекрасными чувственными предметами, которыми ей хотелось обладать; ей казалось, что они существовали всегда; художники же были просто людьми, такими же, как все остальные: она не ставила им в заслугу их произведений и не уважала их. Она спрашивала, были ли они веселыми, привлекательными, имели ли любовниц; однажды Матье поинтересовался, нравятся ли ей полотна Тулуз‑Лотрека, и она ответила: «Какой ужас, он был таким уродом!» Матье воспринял это как личное оскорбление.

— Да. Он был красив, — убеждённо повторила Ивиш.

Матье пожал плечами. Студентов Сорбонны, ничтожных и свеженьких, как девицы, Ивиш могла пожирать глазами сколько хотела. Матье даже счел ее однажды очаровательной, когда она долго рассматривала молодого воспитанника сиротского приюта, сопровождаемого двумя монахинями, а затем сказала с немного озабоченной серьезностью: «Мне кажется, я склонна к гомосексуализму». Женщины ей тоже могли казаться красивыми. Но не Гоген. Не этот пожилой человек, создавший для нее картины, которые она любила.

— Правда, — сказал он, — но я не считаю его симпатичным.

Ивиш состроила презрительную гримаску и замолчала.

— Что с вами, Ивиш, — вскинулся Матье, — вам не нравится, что я не считаю его симпатичным?

— Нет, но мне любопытно, почему вы это сказали.

— Просто так. Потому что таково мое впечатление: из‑за заносчивого вида у него глаза вареной рыбы.

Ивиш снова принялась теребить локон, вид у нее был упрямый и глуповатый.

— У него благородная внешность, — безразлично сказала она.

— Да, — в том же тоне откликнулся Матье, — в нем есть некая спесь, если вы это имеете в виду.

— Естественно, — усмехнулась Ивиш.

— Почему вы говорите «естественно»?

— Потому что я была уверена, что вы это назовете спесью.

Матье мягко сказал:

— Но я не хотел сказать о нем ничего плохого. Вы знаете, я люблю высокомерных людей.

Наступило продолжительное молчание. Потом Ивиш процедила с видом вздорным и замкнутым:

— Французы не любят все, что благородно. Ивиш охотно и всегда с этим глупым видом говорила о французском характере, когда злилась. Она добавила уже добродушнее:

— А я это свойство понимаю. Пусть извне оно и кажется ненатуральным.

Матье не ответил: отец Ивиш был дворянином. Не будь 1917 года, Ивиш воспитывалась бы в московском пансионе благородных девиц; она была бы представлена ко двору, вышла бы замуж за какого‑нибудь рослого и красивого кавалергарда с узким лбом и безжизненным взглядом. Месье Сергин теперь владел механической лесопилкой в Лаоне. А Ивиш жила в Париже и гуляла по городу с Матье, французским буржуа, который не жаловал дворянства.

— Это он... уехал? — вдруг спросила Ивиш.

— Да, — с готовностью ответил Матье, — хотите, расскажу вам его историю?

— Думаю, что я ее знаю: у него была жена, дети, так ведь?

— Да, он работал в банке. По воскресеньям отправлялся в пригород с мольбертом и красками. Таких у нас называют воскресными художниками.

— Воскресными художниками?

— Да; сначала он был как раз таким, то есть любителем, малюющим картины, как другие ловят удочкой рыбу. Это он делал отчасти ради здоровья, потому что пейзажи рисуют на природе и дышат при этом свежим воздухом.

Ивиш засмеялась, но совсем не так, как ожидал Матье.

— Вас забавляет, что он начинал воскресным художником? — с беспокойством спросил Матье.

— Я думала о другом.

— О чем же?

— Я подумала: а существуют ли воскресные писатели? Воскресные писатели, обыватели, которые каждый год пишут по новелле или по пять‑шесть стихотворений, дабы внести немного романтики в свою жизнь. Здоровья ради. Матье вздрогнул.

— Вы хотите сказать, что я один из них? — шутливо спросил он. — Но видите, к чему это приводит? В один прекрасный день, может, и я махну куда‑нибудь на Таити.

Ивиш повернулась и посмотрела ему прямо в лицо. Она выглядела сконфуженной: должно быть, она сама поразилась собственной дерзости.

— Меня бы это удивило, — проронила она почти беззвучно.

— А почему бы и нет? — сказал Матье. — Ну, если не на Таити, то хотя бы в Нью‑Йорк. Я не прочь съездить в Америку.

Ивиш с ожесточением теребила локоны.

— Да, — сказала она, — разве что в командировку...вместе с другими преподавателями.

Матье молча смотрел на нее, она продолжала:

— Может, я и ошибаюсь... Но я могу вас представить читающим лекцию американским студентам в одном из университетов, а не на палубе парохода среди других эмигрантов. Наверно, потому, что вы француз.

— Вы считаете, что мне нужна каюта «люкс»? — спросил он, краснея.

— Нет, — коротко ответила Ивиш, — второго класса. Он с некоторым усилием проглотил слюну... «Хотел бы я на нее посмотреть на палубе парохода среди эмигрантов, она бы там в два счета подохла».

— Право же, — заключил он, — по‑моему, странно, что вы решили, будто я не смогу уехать. Но вы ошибаетесь, когда‑то я частенько об этом подумывал. Потом прошло, уж слишком глупо. Все это тем более комично, что пришло вам на ум в связи с Гогеном, который до сорока лет оставался канцелярской крысой.

Ивиш разразилась ироническим смехом.

— Разве не правда? — спросил Матье.

— Раз вы так говорите, то правда. Но достаточно посмотреть на его картины...

— Ну и что?

— Полагаю, что таких канцелярских крыс немного. У него такой... потерянный вид.

Матье представил себе тяжелое лицо с огромным подбородком. Гоген потерял человеческое достоинство, он смирился с его потерей.

— Вы правы, — сказал Матье. — Вы имеете в виду — на том большом полотне в глубине зала? Он в это время был тяжко болен.

Ивиш презрительно усмехнулась.

— Нет, я говорю о маленьком автопортрете, на котором он еще молод: у него вид человека, способного на все что угодно.

Она смотрела в пустоту со слегка растерянным видом, и Матье во второй раз почувствовал укол ревности.

— Если я вас правильно понял, меня вы не считаете потерянным человеком?

— Да нет же!

— Не вижу, однако, почему это достойное качество, — сказал он, — или я не вполне вас понимаю.

— Ладно, не будем об этом.

— Хорошо, не будем. Но вы любите завуалированно упрекать меня, а потом отказываетесь объяснить, в чем суть ваших упреков, — вы хорошо устроились.

— Я никого не упрекаю, — равнодушно сказала она. Матье остановился и поглядел на нее. Ивиш недовольно остановилась. Она переступала с ноги на ногу и избегала его глаз.

— Ивиш! Вы мне сейчас же скажете, что вы имели в виду.

— О чем вы?

— О «потерянном человеке».

— Мы, кажется, закрыли эту тему?

— Пусть это глупо, — настаивал Матье, — но я хочу знать, что вы под этим подразумеваете.

Ивиш затеребила волосы: это приводило ее в отчаяние.

— Но я не подразумевала ничего особенного, просто это слово пришло мне на ум.

Она остановилась и как будто призадумалась. Время от времени она открывала рот, и Матье думал, что она сейчас заговорит, но она молчала. Потом все же проговорила:

— Мне безразлично, такой человек или какой‑то другой.

Ивиш обернула локон вокруг пальца и дернула, как бы желая вырвать его с корнем. И вдруг быстро добавила, уставившись на носки своих туфель:

— Вы недурно устроены и ничем не поступитесь даже за все золото мира.

— Вот оно что! — воскликнул Матье. — А что вы об этом знаете?

— Таково мое впечатление: ваша жизнь определилась, и ваши идеи тоже. Вы протягиваете руку к вещам, если считаете, что они в пределах вашей досягаемости, но с места не сдвинетесь, чтобы взять их.

— Что вы об этом знаете? — повторил Матье. Он не находил ничего другого: он считал, что она права.

— По‑моему, — устало сказала Ивиш, — вы не хотите ничем рисковать, вы для этого слишком умны. — Она фальшиво добавила: — Но раз вы полагаете, что вы другой...

Матье внезапно подумал о Марсель, и ему стало стыдно.

— Нет, — сказал он тихо, — я такой, как вы думаете.

— Ага! — победно вскричала Ивиш.

— Вы... вы находите это достойным презрения?

— Наоборот, — снисходительно уронила Ивиш. — Я считаю, что так лучше. С Гогеном жизнь была бы невозможной.

Она добавила без малейшей иронии:

— С вами чувствуешь себя в безопасности, никогда не боишься непредвиденного.

— Действительно, — сухо сказал Матье. — Если вы хотите сказать, что я не позволю себе никаких фокусов... Знаете, я способен на них не меньше других, но считаю это отвратительным.

— Знаю, все, что вы делаете, всегда так... методично...

Матье почувствовал, что бледнеет.

— Что вы имеете в виду?

— Все, — неопределенно сказала Ивиш.

— Нет, вы имеете в виду что‑то конкретное. Она пробормотала, не глядя на него:

— Раз в неделю вы являетесь с выпуском «Смен а Пари» и составляете недельный план...

— Ивиш, — возмутился Матье, — это же для вас!

— Знаю, — вежливо отпарировала Ивиш, — я вам очень признательна.

Матье был больше удивлен, чем обижен.

— Не понимаю, Ивиш. Разве вы не любите слушать концерты, ходить на выставки?

— Люблю.

— Как вяло вы это говорите.

— Нет, правда, люблю... Но я терпеть не могу, — до бавила она с внезапной страстью, — когда мою любовь превращают в обязанность.

— Вот оно что!.. Значит, на самом деле ничего вы не любите, — взорвался Матье.

Ивиш подняла голову, откинула волосы назад, ее широкое бледное лицо открылось, глаза заблестели. Матье был ошеломлен: он смотрел на тонкие и безвольные губы Ивиш и не мог понять, как он смог их поцеловать.

— Будь вы со мной откровенны, — жалобно заключил он, — я бы вас никогда не принуждал.

Он водил ее на концерты, выставки, рассказывал о картинах, а в это время она его ненавидела.

— Что мне до этих картин, — сказала она, не слушая его, — если я не могу их взять себе. Каждый раз я лопаюсь от бешенства и желания их унести, но к ним нельзя даже притронуться. А рядом вы, такой спокойный и почтительный, как будто пришли на мессу.

Они замолчали. Ивиш хмурилась. У Матье внезапно сжалось сердце.

— Ивиш, прошу вас, простите меня за то, что случилось утром.

— Утром? — удивилась Ивиш. — Но я об этом и не вспоминала. Я думала о Гогене.

— Это больше не повторится, — сказал Матье, — сам не знаю, как это произошло.

Он говорил для очистки совести: он понимал, что дело его проиграно. Ивиш не отвечала, и Матье с усилием продолжал:

— А еще эти музеи и концерты... Если бы вы знали, как я сожалею! Я поневоле заблуждался... Но вы никогда ничего не говорили.

Он никак не мог остановиться. Что‑то внутри двигало его языком, заставляло его говорить, говорить. Говорил он с отвращением к себе, с легкими спазмами.

— Я постараюсь измениться.

«Как я отвратителен», — подумал он. Ярость воспламенила его щеки. Ивиш покачала головой.

— Изменить себя нельзя, — сказала она. Ее слова звучали рассудительно. В эту минуту Матье искренне ее ненавидел. Они шли молча, бок о бок, они были залиты светом и ненавидели друг друга. Но в то же время Матье видел себя глазами Ивиш и ужасался самому себе. Она поднесла руки ко лбу, сжала виски пальцами.

— Еще далеко?

— Четверть часа. Вы устали?

— Еще как. Извините, это из‑за картин. — Она топнула ножкой и потерянно посмотрела на Матье. — Полотна уже ускользают от меня, расплываются, перемешиваются. Каждый раз одно и то же.

— Вы хотите вернуться домой? — спросил Матье с чувством, близким к облегчению.

— Думаю, что так будет лучше.

Матье подозвал такси. Теперь он торопился остаться один.

— До свиданья, — сказала Ивиш, не глядя на него.

Матье подумал: «А «Суматра»? Идти мне туда потом или нет?»

Но ему больше не хотелось видеть ее.

Такси отъехало, несколько мгновений Матье с волнением провожал его глазами. Затем в нем опустился какой‑то шлюз, и он стал думать о Марсель.

VII

Голый по пояс Даниель брился перед зеркальным шкафом. «Сегодня к полудню все будет кончено». Это был непростой план: событие было уже здесь, в электрическом свете, в легком скрежетание бритвы; его нельзя было ни отсрочить, ни приблизить, ни сделать так, чтобы все побыстрее закончилось, все это нужно просто прожить. Едва пробило десять часов, но полдень уже присутствовал в комнате, круглый и пристальный, как глаз. Следом за ним было всего лишь расплывчатое послеполуденное время, извивающееся, словно червяк. Глаза у Даниеля болели, так как он не выспался, под губой у него был прыщ, совсем маленькое покраснение с белой головкой: теперь так случалось каждый раз после того, как он напивался. Даниель прислушался: нет, это шум на улице. Он посмотрел на прыщ, красный и воспаленный, вокруг глаз были голубоватые полукружья, и подумал: «Я себя разрушаю». Он старался осторожно водить бритвой вокруг прыща, чтобы не задеть его; останется маленький пучок щетины, ну и пусть: Даниель страшно боялся порезов. Время от времени он прислушивался; дверь комнаты была приоткрыта, чтоб он мог лучше слышать, он говорил себе: «Теперь‑то я ее не прозеваю».

Почуяв еле слышный, почти неуловимый шорох, Даниель подскочил к порогу с бритвой в руке и резко открыл входную дверь. Но было уже поздно, девчонка его опередила: она удрала и, видимо, затаилась с колотящимся сердцем, сдерживая дыхание, где‑нибудь в углу лестничной площадки. Даниель увидел на соломенном коврике подле ног букетик гвоздик. «Поганая сучка», — громко сказал он. Это дочь консьержки, он был в этом уверен. Достаточно посмотреть на ее глаза жареной рыбы, когда она с ним здоровалась. Это безобразие длилось уже две недели; каждый день, возвращаясь из школы, она клала цветы у двери Даниеля. Пинком он отшвырнул цветы в лестничный пролет. «Нужно быть начеку, в прихожей, только так я ее поймаю». Он появится голый по пояс и испепелит ее суровым взглядом. Он подумал: «Она любит мое лицо. Мое лицо и плечи, видимо, я подхожу под ее идеал. Для нее будет ударом, когда она увидит мою волосатую грудь». Он вернулся в комнату и возобновил бритье. В зеркале он видел мрачное и благородное лицо с голубоватыми щеками; он подумал с некоторой досадой: «Именно это их возбуждает». Лицо архангела; Марсель называла его своим бесценным архангелом, а теперь приходится терпеть еще и взгляды этой маленькой потаскушки, распираемой гормонами. «Шлюхи!» — с раздражением подумал он. Даниель слегка нагнулся и ловким движением бритвы срезал прыщ. Неплохая шутка — изуродовать лицо, которое они так любят. «Но куда там! Лицо со шрамом остается тем же лицом, оно всегда что‑то означает: от этого я еще быстрее устану». Он приблизился к зеркалу и недовольно посмотрелся в него; он сказал себе: «И все‑таки мне нравится быть красивым». Вид у него был утомленный. Он ущипнул себя за бедра: «Нужно бы сбросить килограммчик». Семь порций виски выпиты вчера вечером в одиночестве в «Джонни». До трех часов ночи он никак не мог вернуться домой, потому что ему было страшно положить голову на подушку и почувствовать, как проваливаешься в темноту с мыслью, что наступит завтра. Даниель подумал о собаках из Константинополя: за ними гонялись по улицам и бросали в мешки, засовывали в корзины, а потом свозили на пустынный остров, где они друг друга пожирали; ветер в открытом море доносил иногда их завыванье до моряков: «Не собак бы нужно было там оставлять». Даниель не любил собак. Он надел кремовую рубашку и серые фланелевые брюки, тщательно выбрал галстук: сегодня это будет зеленый в полоску, поскольку у него был скверный цвет лица. Затем он открыл окно, и утро вошло в комнату, тяжелое, удушливое и предопределенное. Секунду Даниель помедлил в стоячей жаре, потом осмотрелся: он любил свою комнату, потому что она была безликой и не выдавала его, она казалась гостиничным номером. Четыре голых стены, два кресла, стул, шкаф, кровать. У Даниеля не было памятных вещиц. Он увидел большую ивовую корзинку, стоявшую открытой посреди комнаты, и отвернулся: она приготовлена для сегодняшнего дня.

Часы Даниеля показывали двадцать пять минут одиннадцатого. Он приоткрыл дверь кухни и свистнул. Сципион появился первым: белый с рыжими подпалинами и куцей бородкой. Он строго посмотрел на Даниеля и кровожадно зевнул, выгнув спину дугой. Даниель тихо стал на колени и начал ласково гладить его мордочку. Кот, полузакрыв глаза, легко бил его лапкой по рукаву. Немного погодя Даниель взял его за загривок и посадил в корзину; Сципион остался там, не двигаясь, расплющенный и безмятежный. Затем пришла Малявина; Даниель любил ее меньше двух других, поскольку она была раболепной притворщицей. Когда она была уверена, что он ее видит, то издалека начинала мурлыкать и умилительно изгибаться: она терлась головой о створку двери. Даниель коснулся пальцем ее толстой шеи, и она перевернулась на спину, вытянув лапки; он щекотал ее соски под черной шерсткой. «Ха, ха, — произнес он певуче и размеренно, — ха, ха!», а она переворачивалась с боку на бок, грациозно поводя головой. «Подожди немного, — подумал он, — подожди только до полудня». Он поймал ее за лапы и положил рядом со Сципионом. У Мальвины был немного удивленный вид, но она свернулась в клубок и, поразмыслив, принялась мурлыкать.

— Поппея! — позвал Даниель. — Поппея, Поппея!

Поппея почти никогда не откликалась на зов; Даниель вынужден был пойти за ней на кухню. Едва она его увидела, как с яростным рычанием прыгнула на газовую плитку. Поппея была полудикой кошкой с большим шрамом, пересекавшим левый бок. Даниель нашел ее зимним вечером в Люксембургском саду незадолго до его закрытия и унес к себе. Она была злая, властная и часто кусала Мальвину: Даниель любил ее. Он взял ее на руки, она откинула голову назад, прижав уши и вздыбив загривок: вид у нее был возмущенный. Он погладил ее по мордочке, и она стала покусывать кончик его пальца, злясь и забавляясь; тогда он ущипнул ее за шею, и она подняла упрямую голову. Она не мурлыкала — Поппея никогда не мурлыкала, — но смотрела ему прямо в лицо, и Даниель по привычке подумал: «Редко, чтобы кошка смотрела прямо в глаза». В то же самое время он почувствовал, как невыносимая тревога охватила его, и ему пришлось отвести взгляд. «Сюда, сюда, — сказал он, — сюда, моя королева!» — и улыбнулся, не глядя на нее. Двое других лежали бок о бок ошалелые и мурлыкающие, можно было подумать, что это пение цикад. Даниель смотрел на них со злорадным облегчением: «Фрикассе из кролика». Он думал о розовых сосцах Мальвины. Но засунуть Поппею в корзину было не так‑то просто: он вынужден был заталкивать ее за задние лапы, она обернулась и, зашипев, царапнула его. «Ах, так!» — сказал Даниель. Он схватил ее за шкирку и за крестец и насильно согнул, ивовые прутья заскрипели под когтями Поппеи. Кошка на мгновение оцепенела, и Даниель воспользовался этим: он быстро захлопнул крышку и запер ее на два висячих замка. «Уф!» — произнес он. Руку немного жгла сухая слабая боль, почти щекотанье. Он встал и с ироническим удовлетворением посмотрел на корзину. «Попались!» На тыльной стороне ладони было три царапины, а внутри его самого — тоже какое‑то щекотанье; странное щекотанье, которое могло плохо кончиться. Даниель взял на столе моток шпагата и положил его в карман брюк.

Он замешкался. «Предстоит длинный путь; мне будет жарко». Ему хотелось надеть фланелевый пиджак, но он не привык легко уступать своим желаниям, и потом было бы комично идти на солнцепеке красному и потному, с этой ношей в руках. Комично и немного курьезно: у него это вызвало улыбку, и он выбрал ярко‑фиолетовую твидовую куртку, которую после конца мая терпеть не мог. Он поднял корзину за ручку и подумал: «Какие тяжелые, чертовы бестии». Он представлял их униженные нелепые позы, их дикий ужас. «Так вот кого я любил!» Достаточно было закрыть этих трех идолов в ивовой клетке, и они превратились в кошек, просто кошек, маленьких млекопитающих, туповатых и суетливых, подыхающих со страха и уж совсем не священных. «Кошки — это всего‑навсего кошки». Он засмеялся: ему казалось, что он с кем‑то валяет дурака. Когда Даниель дошел до входной двери, подступила тошнота, но это продолжалось недолго: на лестнице он почувствовал себя суровым и полным решимости, ощущая странный привкус — как у пресного сырого мяса. Консьержка стояла у порога своей двери; она улыбнулась ему. Ей нравился Даниель, такой галантный и церемонный.

— Вы ранняя пташка, месье Серено.

— А я уж боялся, что вы захворали, дорогая мадам Дюпюи, — вежливо молвил Даниель. — Вчера я вернулся поздно и заметил свет у вас под дверью.

— Представляете себе, — смеясь, сказала консьержка, — я так устала, что уснула, не погасив света. Вдруг я услышала ваш звонок. «Ага, — сказала я, — вот пришел месье Серено» (дома не было только вас). Потом я сразу потушила свет. Было, наверное, около трех?

— Около...

— Я смотрю, — сказала она, — у вас большая корзина.

— Там мои кошки.

— Они больны, бедненькие зверушки?

— Нет, я увижу из к сестре в Медон. Ветеринар сказал, что им нужен свежий воздух. Он серьезно добавил:

— Вы знаете, что кошки могут болеть туберкулезом?

— Туберкулезом? — удивилась консьержка. — Тогда заботьтесь о них хорошенько. И все‑таки, — добавила она, — у вас без них опустеет. Я привыкла видеть этих милашек, когда прибираюсь у вас. Вы, наверное, огорчены.

— Да, очень огорчен, мадам Дюпюи, — сказал Даниель.

Он многозначительно улыбнулся ей и пустился в путь. «Старая каракатица, она себя выдала. Должно быть, она теребила их, когда меня не было, хотя я и запретил ей их трогать; лучше бы следила за своей дочерью». Он вышел из подъезда, и его ослепил свет, свет обжигающий и резкий. От него у Даниеля заболели глаза, он это предвидел: когда накануне напьешься, нет ничего лучше туманного утра. Он больше ничего не видел, он плыл в море света с железным обручем вокруг головы. Вдруг он заметил свою тень, приземистую и причудливую, а рядом с нею — тень корзинки, раскачивавшейся у него в руке. Даниель улыбнулся: он был очень высок. Он выпрямился во весь рост, но тень осталась куцей и бесформенной, похожей на шимпанзе. «Доктор Джекил и мистер Хайд. Нет, не на такси, — сказал себе он, — у меня еще есть время. Я прогуляю мистера Хайда до остановки семьдесят второго». Семьдесят второй довезет его до Шарантона. В километре оттуда Даниель знал маленький уединенный уголок на берегу Сены. «Надеюсь, — сказал он себе, — я не брякнусь в обморок, этого еще не хватало». Вода Сены была особенно темной и грязной в этом месте, с лиловыми маслянистыми пятнами от заводов Витри. Даниель взирал на себя с отвращением: он чувствовал себя таким мягким изнутри, что сам удивлялся. «Се человек», — с неким удовольствием подумал он. Он отвердел, ощетинился, но в глубине будто какой‑то приговоренный жалобно взывает о пощаде. «Забавно, когда ненавидишь себя, будто бы это не ты». Напрасно он тщился быть одним неразлагаемым Даниелем. Когда он презирал себя, ему казалось, что, отделившись от самого себя, он парит, как бесстрастный судья, над каким‑то порочным кишением, а потом вдруг его всасывает снизу, и он попадает в водоворот, в собственную ловушку. «Проклятье, — подумал он, — мне необходимо выпить». Нужно только сделать небольшой крюк, он пойдет к Шампьоне по улице Тайдус. Когда он толкнул дверь, бар был пуст. Официант вытирал столы из рыжего дерева, сделанные в форме бочек. Полумрак был благотворен для глаз Даниеля. «Чертовски болит голова», — подумал он. Поставив корзину на пол, он сел на табурет возле стойки.

— Крепкого виски, разумеется, — утвердительно сказал бармен.

— Нет, — сухо ответил Даниель.

«Пошли бы они к черту со своей манией каталогизировать людей, будто это зонтики или швейные машины. Ведь я ничто... и все всегда — ничто. А на тебя мигом навешивают ярлык. Этот хорошо дает на чай, у того всегда наготове острота, а мне нужен только крепкий виски».

— Джин‑фиц, — заказал Даниель.

Бармен налил без комментариев: должно быть, он был задет. «Тем лучше. Ноги моей больше тут не будет, уж слишком этот тип фамильярен».

Однако джин‑фиц имел вкус слабительного лимонада. Он распылялся кисловатой пылью по языку и имел металлический привкус.

«Это на меня не действует», — подумал Даниель.

— Дайте порцию перечной водки.

Он выпил водку и мечтательно задумался, во рту горело. Он подумал: «Неужели это никогда не кончится?» Но эти мысли были тщетными, как неоплаченный чек. «А что никогда не кончится? Что никогда не кончится?» Послышалось отрывистое мяуканье и царапанье. Бармен вздрогнул.

— Это кошки, — коротко сказал Даниель. Он сошел с табурета, бросил на стол двадцать франков и взял корзину. Подняв ее, он обнаружил на полу красную капельку: кровь. «Что они там вытворяют?» — с тревогой подумал Даниель, но не стал поднимать крышку. В корзине затаился тяжелый и невнятный ужас: если он ее откроет, ужас мгновенно превратится в кошек, а этого Даниель не смог бы вынести. «А, ты не смог бы этого вынести? А если я все же подниму эту крышку?» Но Даниель был уже на улице, ему сразу же залепило глаза чем‑то ярким и влажным: глаза чесались, казалось, что смотришь на огонь, а потом вдруг понимаешь, что уже с минуту видишь дома, дома в ста шагах от тебя, белесые и легкие, как дым: в конце улицы высилась голубая стена. «Как страшно все это видеть», — подумал Даниель. Таким он представлял себе ад: взгляд, пронзающий насквозь, видишь все до края пространства, видишь себя самого до последних глубин. Корзина зашевелилась: внутри что‑то царапалось. Он ощущал так близко этот ужас, он чувствовал его рядом со своими пальцами. Даниель не знал точно, доставляет ли ему это отвращение или удовольствие: скорее всего и то и другое. «И все‑таки что‑то их успокаивает. Вероятно, они чувствуют мой запах». Даниель подумал: «Действительно, сейчас я для них только запах». Но терпение: скоро у него не будет этого привычного запаха, он будет прогуливаться без запаха, один среди людей, не имеющих достаточно тонкого обоняния, чтобы обнаружить человека по запаху. Быть без запаха и без тени, без прошлого, быть всего лишь порывом от себя самого, невидимым порывом к будущему. Даниель заметил, что тень его движется впереди, в нескольких шагах от его тела. Там, на уровне газового рожка, немного прихрамывающая от ноши, неестественная, взмыленная — он видел, как он идет, он был лишь собственным взглядом. Но стекло красильни отразило его образ, и иллюзия рассеялась. Даниель как бы наполнился илистой и пресной водой; вода Сены, илистая и пресная, заполнит корзину, и они будут раздирать друг друга когтями. Его охватило отвращение, он подумал: «Это беспричинный поступок». Он остановился, поставил корзину на землю: «Скучать, причинять зло другим. Никогда нельзя добраться до себя впрямую». Он снова подумал о Константинополе: неверных жен зашивали в мешок вместе со взбесившимися кошками и бросали в Босфор. Бочки, кожаные мешки, ивовые клетки — тюрьмы. «Бывает и похуже». Даниель пожал плечами: еще один неоплаченный чек. Он не хотел трагических жестов, когда‑то этого у него было вдосталь. Если совершаешь нечто трагическое, значит, воспринимаешь себя всерьез. Никогда, никогда больше Даниель не будет воспринимать себя всерьез. Вдруг появился автобус. Даниель подал знак водителю и вошел в первый класс.

— Сколько до конечной?

— Шесть талонов, — ответил кондуктор. От воды Сены они взбесятся. Вода цвета кофе с молоком с фиолетовыми отблесками. Напротив него села бесстрастная чопорная женщина с маленькой девочкой. Девочка с любопытством посмотрела на корзину. «Чертова соплюшка», — подумал Даниель. Корзина замяукала, и Даниель вздрогнул, как будто его застали на месте преступления.

— Что это? — спросила девочка ясным голосом.

— Тc, — шикнула мать, — оставь дядю в покое.

— Это кошки, — признался Даниель.

— Они ваши? — спросила девочка.

— Да.

— Почему вы везете их в корзине?

Потому что они больны, — ласково ответил Даниель.

— А можно на них посмотреть?

— Жаннина, — сказала мать, — это уж слишком.

— Я не могу их тебе показать, из‑за болезни они стали злыми.

Девочка залепетала с прелестной рассудительностью:

— Нет, со мной кошечки не будут злыми.

— Ты думаешь? Послушай, милая деточка, — быстро и тихо сказал Даниель, — я собираюсь их утопить, вот что я собираюсь сделать, и знаешь почему? Потому что не далее, как сегодня утром, они разодрали все лицо одной красивой маленькой девочке, похожей на тебя, которая приносила мне цветы. Ей придется вставить стеклянный глаз.

— Ах! — вскричала изумленно девочка. Она с ужасом посмотрела на корзину и уткнулась в материнские юбки.

— Вот видишь, — сказала мать, возмущенно обернувшись к Даниелю, — вот видишь, нужно быть смирной и не болтать без разбора. Ничего, моя лапочка, дядя просто пошутил.

Даниель ответил ей спокойным взглядом. «Она меня ненавидит», — удовлетворенно подумал он. Он видел, как за стеклами проплывают серые дома, он знал, что женщина смотрит на него. «Возмущенная мать! Она ищет, что можно было бы во мне возненавидеть. Но только не лицо». Лицо Даниеля никогда не ненавидели. «И не одежду, она новая и элегантная. Может быть, руки». Руки его были короткопалые и сильные, немного пухлые, с черными волосками на фалангах. Он положил их на колени: «Смотри на них! Ну смотри же!» Но женщина спасовала, она тупо смотрела прямо перед собой, она дремала. Даниель рассматривал ее с некоторой жадностью: дремлющие в транспорте люди, как у них это выходит? Она всем телом обмякла где‑то в себе и там расслаблялась. В ее голове не было ничего, что походило бы на беспорядочное бегство впереди себя, ни любопытства, ни ненависти, никакого движения, даже легкого колыхания: ничего, кроме толстого сонного теста. Внезапно она очнулась; на лице ее появились признаки оживления.

— Приехали! Приехали! — воскликнула она. — Идем! Какая же ты противная, вечно ты копаешься!

Она взяла девочку за руку и потянула за собой. Перед тем как выйти, девочка обернулась и бросила на корзину полный ужаса взгляд. Автобус тронулся, но вскоре снова остановился: мимо Даниеля, смеясь, прошли пассажиры.

— Конечная! — крикнул ему кондуктор. Даниель вздрогнул: автобус был пуст. Он встал и вышел. Это была оживленная площадь с несколькими кафе; рабочие и женщины стояли вокруг ручной тележки. Женщины удивленно посмотрели на него. Даниель ускорил шаг и свернул в грязный переулок, спускавшийся к Сене. По обеим сторонам громоздились бочки и склады. Корзина безостановочно мяукала, и Даниель почти бежал: он как бы нес дырявое ведро, из которого капля по капле вытекала вода. Каждое мяуканье, как капля воды. Ноша была тяжелой. Даниель перебросил корзину на левую руку, а правой вытер пот. Не нужно думать о кошках. «Ах, ты не хочешь думать о кошках? Так вот, именно о них ты и должен думать, иначе тебе было бы слишком легко!» Даниель вновь увидел золотые глаза Поппеи и сразу стал думать о другом, о бирже, где он позавчера заработал десять тысяч франков, о Марсель, которую сегодня вечером увидит, это был его день: «Архангел!» Даниель усмехнулся: он глубоко презирал Марсель. «У них не хватает смелости признаться, что они разлюбили друг друга. Если бы Матье видел все в истинном свете, то давно бы принял решение. Но он не хочет. Он не хочет потерять себя. Он‑то нормальный», — с иронией подумал Даниель. Кошки мяукали, как ошпаренные, и Даниель почувствовал, что теряет голову. Он поставил корзину на землю и два раза сильно ударил по ней ногой. Внутри возникла сумасшедшая возня, но вскоре кошки затихли. Даниель с минуту постоял неподвижно, со странным ознобом за ушами. Из склада вышли рабочие, и Даниель снова двинулся в путь. Он спустился по каменной лестнице на берег Сены и сел на землю около железного кольца между котлом с гудроном и грудой камней для мощения. Сена под голубым небом была желтой. Черные шаланды, нагруженные бочками, были пришвартованы у противоположного причала. Даниель сидел на солнце, в висках у него ломило. Он смотрел на воду, волнистую и вздутую, с опаловыми отсветами. Потом вынул из кармана клубок и перочинным ножичком отрезал длинный кусок шпагата; затем, не вставая, левой рукой нашарил камень. Он привязал конец шпагата к ручке корзины, обвязал шпагатом камень, сделал несколько узлов и положил камень на землю: выглядело это приспособление странно. Даниель подумал, что нужно будет нести корзину в правой руке, а камень в левой: он их бросит в воду одновременно. Корзина останется на плаву, вероятно, десятую долю секунды, потом грубая тяжесть камня потянет ее в глубину, и она быстро потонет. Даниелю было жарко, он проклинал свою плотную куртку, но не хотел снимать ее. Что‑то в Даниеле трепетало, просило пощады, и он услышал собственный стон: «Когда у тебя нет мужества убить себя целиком, нужно делать это по частям». Он подойдет к воде и скажет: «Прощай то, что я любил больше всего...» Он немного приподнялся на руках и осмотрелся: справа берег был пустынный, слева, вдалеке, он увидел на огненном фоне черную фигуру рыбака. Движения в корзине под водой достигнут поплавка его удочки: «Он подумает, что клюет». Даниель засмеялся и вынул платок, чтобы вытереть вспотевший лоб. Стрелки его часов показывали одиннадцать двадцать пять. «В половине двенадцатого!» Нужно продлить этот чрезвычайный момент: Даниель был раздвоен; он чувствовал себя затерянным в алом облаке под этим свинцовым небом, он вспомнил с некой гордостью Матье. «Нет, это я свободен», — сказал он себе. Но то была безликая гордость, так как Даниель не был больше никем. В одиннадцать двадцать девять он встал и почувствовал такую слабость, что вынужден был опереться на котел. На твидовой куртке появилось пятно от гудрона, и он посмотрел на него. Он видел черное пятно на ярко‑фиолетовой ткани и вдруг почувствовал, что снова стал чем‑то целым, одним. Один. Трус. Субъект, любящий своих кошек и не желающий бросить их в воду. Он взял перочинный ножик, нагнулся и перерезал шпагат. Он это сделал молча: даже внутри него самого была тишина, ему было слишком стыдно, он не мог разговаривать с собой. Он взял корзину и поднялся по лестнице: так он проходил бы, отвернувшись, мимо кого‑то, кто смотрел бы на него с презрением. И все это время в нем царила тишина. Когда он был наверху лестницы, он осмелился обратиться к себе впервые: «Что это за капля крови?» Но не посмел открыть корзину: прихрамывая, он направился дальше. Это я. Это я. Это я. Подонок. Но в глубине души у него мелькнула улыбка: всетаки Поппею он спас.

— Такси! — крикнул он.

Такси остановилось.

— Улица Монмартр, 22, — сказал Даниель. — Поставьте, пожалуйста, эту корзину рядом с собой.

Движение такси его убаюкивало. Ему даже больше не удавалось презирать себя. Потом его опять охватил стыд, и он снова начал видеть себя со стороны: это было невыносимо. «Ни целиком, ни частями», — горько подумал он. Когда он взял бумажник, чтобы заплатить шоферу, то с радостью отметил, что кошелек раздут от банкнот. «Добывать деньги, да. Это я умею».

— Вот вы и вернулись, месье Серено, — сказала консьержка, — только что кто‑то к вам поднялся. Один из ваших друзей, высокий, вот с такими плечами. Я ему сказала, что вас нет, а он мне: «Что ж, я ему суну под дверь записку».

Она посмотрела на корзинку и вскрикнула:

— Но вы принесли назад своих милашек!

— Увы, мадам Дюпюи, — сказал Даниель, — может, это и глупо, но я не смог с ними расстаться.

«Это Матье, — подумал он, поднимаясь по лестнице, — ничего не скажешь, вовремя свалился». Он был рад возможности ненавидеть другого.

Матье он встретил на площадке четвертого этажа.

— Привет, — сказал тот, — я не надеялся тебя увидеть.

— Я ходил гулять с кошками, — пояснил Даниель. Он, к собственному удивлению, ощутил в себе некую теплоту.

— Зайдешь? — поспешно спросил он.

— Да. Хочу попросить тебя об одной услуге. Даниель бросил на него быстрый взгляд и заметил, что у Матье землистое лицо. «У него чертовски озабоченный вид», — подумал он. Ему захотелось помочь Матье. Они поднялись. Даниель вставил ключ в замочную скважину и толкнул дверь.

— Проходи, — сказал он. Он слегка коснулся плеча Матье и сразу же отдернул руку. Тот вошел в комнату и сел в кресло.

— Я ничего не понял из того, что говорила консьержка, — сказал он. — Она утверждала, что ты повез своих кошек к сестре. Ты что, помирился с сестрой?

Внезапно в Даниеле что‑то заледенело.

«Какую он скроил бы физиономию, если б узнал, откуда я пришел?» Без всякой симпатии он смотрел в рассудительные и пронизывающие глаза своего друга: «Да, это правда, он совершенно нормальный». Даниель почувствовал, что отделен от него пропастью. Он засмеялся.

— Ах, да! К сестре... это было невинное вранье, — сказал он. Он знал, что Матье не будет настаивать: у того была досадная привычка считать Даниеля фантазером, и он никогда не старался выяснить, что толкнуло его на очередную ложь. И действительно, Матье покосился на корзину с недоуменным видом и замолчал.

— Ты позволишь? — спросил Даниель.

Он почувствовал себя удивительно сухим. У него было только одно желание — как можно скорее открыть корзину: «Что это за капля крови?» Он стал на колени, думая:

«Сейчас они вцепятся мне в лицо», — и он наклонил лицо над крышкой так, чтобы оно было в пределах их досягаемости. Он думал, отпирая замок: «Маленькое неприятное происшествие ему не повредит. На время оно заставит его потерять благодушие и степенный вид». Поппея рыча выскочила из корзины и скрылась в кухне. Вышел, в свою очередь, Сципион: он сохранил достоинство, но не был спокоен. Он прошел размеренным шагом до шкафа, украдкой огляделся, потянулся и проскользнул под кровать. Мальвина не шевелилась. «Она ранена», — подумал Даниель. Она лежала на дне корзины распластанная. Даниель поднял пальцем ее за подбородок и насильно приподнял голову: она получила хороший удар когтями по носу, левый глаз был закрыт, но крови не было. На мордочке чернела корочка, а вокруг нее шерсть была жесткой и клейкой.

— Что случилось? — спросил Матье. Он привстал и вежливо посмотрел на кошку. «Он считает меня смешным, потому что я вожусь с кошкой. Ему бы показалось совершенно естественным, если бы я возился с ребенком».

— Мальвину сильно поранили, — объяснил Даниель. — Наверняка ее исцарапала Поппея, она невыносима. Извини, мой дорогой, подожди минутку, пока я окажу ей помощь.

Он подошел к шкафу, взял оттуда пузырек арники и пакет ваты. Матье следил за ним глазами, не говоря ни слова, затем стариковским жестом провел рукой по лбу. Даниель начал промывать Мальвине нос. Кошка слабо отбивалась.

— Будь хорошей, — промолвил Даниель, — будь умницей. Ну же! Ну!

Он считал, что всячески раздражает Матье, и это ему придавало усердия. Но когда он поднял голову, то увидел, что Матье мрачно смотрит в пустоту.

— Извини, дорогой, — сказал Даниель самым проникновенным голосом, — еще минутку. Необходимо вымыть животное, знаешь, они мгновенно подхватывают инфекцию. Ты не сердишься? — добавил он, искренне улыбаясь ему. Матье вздрогнул и засмеялся.

— Продолжай, продолжай, — сказал он, — только отведи свои бархатные глаза.

«Мои бархатные глаза!» Превосходство Матье было отвратительным: «Он думает, что знает меня, он говорит о моих фантазиях, о моих бархатных глазах. Он меня совсем не знает, но его забавляет вешать на меня ярлыки, как будто я неодушевленный предмет».

Даниель сердечно рассмеялся и заботливо вытер голову Мальвине. Она закрыла глаза, вид ее выражал экстаз, но Даниель знал, что она страдает. Он легонько шлепнул ее по заду.

— Ну вот, — сказал он, поднимаясь, — завтра все пройдет. Но, знаешь, Поппея хорошо царапнула ее когтями.

— Поппея? Вот злюка, — сказал Матье с отсутствующим видом.

Внезапно он сказал:

— Марсель беременна.

— Беременна!

Удивление Даниеля длилось недолго, он боролся с неудержимым желанием рассмеяться. «Вот оно что! Вот оно что! Мало того, что это существо ежемесячно писает кровью, оно еще и плодовито, как скат». Он с отвращением подумал, что сегодня вечером увидит ее. «Интересно, хватит ли у меня выдержки коснуться ее руки».

— Я чертовски озабочен, — с рассудительным видом сказал Матье.

Даниель посмотрел на него и сдержанно проговорил:

— Я тебя понимаю.

Потом поспешно повернулся к нему спиной под предлогом, что ему надо поставить пузырек с арникой в шкаф. Даниель боялся расхохотаться ему в лицо. Он начал думать о смерти матери, в подобных ситуациях это всегда успокаивало. Он отделался двумя‑тремя конвульсивными подергиваниями. За его спиной Матье продолжал рассуждать:

— Главное, это ее унижает, — сказал он. — Ты нечасто ее видел, ты не можешь себе представить, какая это Валькирия. Валькирия в спальне, — без злости сказал он. — Для нее это ужасное падение.

— Да, — сказал участливо Даниель, — но для тебя тоже немногим лучше: как бы ты ни старался, теперь она должна вызывать у тебя отвращение. Я знаю, у меня это убило бы любовь.

— У меня больше нет любви к ней, — сказал Матье.

— Нет?

Даниель был сильно удивлен, он навострил уши: «Сегодня вечером будет драка». Он спросил:

— Ты ей об этом сказал?

— Конечно, нет.

— Почему «конечно»? Нужно, чтоб она об этом знала. Ты ее...

— Нет. Я не хочу ее бросать, если ты это имеешь в виду.

— Но тогда как?

Даниель сильно развеселился. Теперь он спешил увидеть Марсель.

— А никак, — ответил Матье. — Тем хуже для меня. Не ее вина, что я ее больше не люблю.

— А что, разве твоя?

— Да, — коротко сказал Матье.

— Ты будешь тайно приходить к ней и...

— Ну, разумеется.

— Так вот, — сказал Даниель; — если ты надолго затянешь эту игру, ты ее в конце концов возненавидишь. У Матье был угрюмый и упрямый вид.

— Я не хочу причинять ей страданий.

— Ну, раз ты предпочитаешь принести себя в жертву... — равнодушно сказал Даниель. Когда Матье начинал корчить из себя квакера, Даниель его ненавидел.

— А что я теряю? Я буду ходить в лицей, по‑прежнему встречаться с Марсель. Буду писать по новелле каждые два года. Именно так я поступал до сих пор. — Он добавил с горечью, которой Даниель у него дотоле не замечал: — Я воскресный писатель. Однако, — продолжал он, — я привязан к ней, меня крайне огорчило бы, если бы я не смог видеть ее. Для меня это почти семейные узы.

Наступило молчание. Даниель сел в кресло напротив Матье.

— Мне необходима твоя помощь, — сказал Матье. — У меня есть адрес, но нет денег. Одолжи мне пять тысяч.

— Пять тысяч... — неуверенно повторил Даниель. Его набитый бумажник был спрятан во внутреннем кармане, бумажник свиноторговца, достаточно было открыть его и взять пять купюр. Матье раньше часто помогал ему.

— К концу месяца я верну тебе половину, — сказал Матье, — а потом, четырнадцатого июля, — вторую, тогда я получу жалованье сразу за август и сентябрь.

Даниель посмотрел на землистое лицо Матье и подумал: «Этот фрукт ужасно расстроен». Потом он подумал о кошках и почувствовал себя безжалостным.

— Пять тысяч франков! — проговорил он виновато. — Но у меня их нет, старик, очень сожалею.

— Но ты же мне на днях сказал, что скоро провернешь одно дельце.

— Увы, старичок, — сказал Даниель, — дельце оказалось липой; ты ведь знаешь, что такое биржа. К тому же все просто: у меня полно долгов.

В голос он не вложил слишком много искренности, потому что вовсе не желал убедить Матье. Но, когда увидел, что тот ему не верит, разъярился: «Пусть он катится к чертовой матери! Он считает себя таким проницательным, он воображает, будто видит меня насквозь, спрашивается, почему я должен ему помогать: пусть стреляет деньги у себе подобных». Что было невыносимо, так это его нормальный глубокомысленный вид, который Матье не терял даже в скорби.

— Ладно! — с горячностью сказал Матье. — Ты правда не можешь?

Даниель подумал: «Как он настаивает, должно быть, серьезно нуждается в деньгах».

— Конечно, правда. Очень сожалею, старик.

Сконфуженность Матье его стесняла, но это было не так уж неприятно: впечатление такое, будто вывернул ноготь. Даниель очень любил двусмысленные ситуации.

— Тебе срочно нужно? — спросил он участливо. — Ты не можешь обратиться к кому‑нибудь другому?

— Знаешь, мне не особенно хотелось бы беспокоить Жака.

— А ведь правда, — немного разочарованно сказал Даниель, — есть еще твой брат. Тогда можешь быть уверен, что деньги у тебя будут.

Матье выглядел обескураженным.

— Сомневаюсь. Он вбил себе в голову, что одолжить мне хотя бы су — значит оказать дурную услугу. «В твоем возрасте, — говорит он мне, — пора быть независимым».

— Ну, тогда он тебе точно одолжит, — со всей прямотой заявил Даниель. Он медленно высунул кончик языка и с удовлетворением стал облизывать верхнюю губу: с самого начала он сумел найти тон напускного и лихого оптимизма, который приводил собеседника в ярость.

Матье покраснел.

— Вот‑вот. Я не хочу ему говорить, для чего мне понадобились эти деньги.

— И правильно, — одобрил Даниель. На мгновенье он задумался. — Но ведь есть еще эти кассы, ты знаешь, о чем я говорю, ну которые дают служащим взаймы. Должен сказать, часто попадают к ростовщикам, но тебе можно плевать на проценты, как только ты получишь деньги.

Матье заинтересовался, и Даниель с досадой решил, что немного его успокоил.

— Что это за люди? Деньги сразу дают?

— Нет, — живо отозвался Даниель, — тянут дней десять: им сначала нужно навести справки.

Матье замолчал, казалось, он размышлял; Даниель вдруг почувствовал легкий толчок: Мальвина прыгнула ему на колени и, мурлыча, устроилась там. «Вот кто не таит обид», — подумал Даниель с отвращением. Он начал легко и небрежно ее поглаживать. Животным и людям не удавалось ненавидеть его по причине их инертного добродушия, а может, из‑за его лица. Матье углубился в ничтожно мелкие расчеты: он тоже не таил обиды. Даниель склонился над Мальвиной и стал чесать ей загривок: рука его подрагивала.

— В глубине души, — сказал он, не глядя на Матье, — я почти рад, что у меня нет денег. Ведь ты всегда стремился к свободе, вот тебе и представился случай совершить поистине свободный поступок.

— Свободный поступок?

У Матье был непонимающий вид. Даниель поднял голову.

— Да, — сказал он, — тебе остается только жениться на Марсель.

Матье посмотрел на него нахмурившись: должно быть, он подумал, не смеется ли над ним Даниель. Тот выдержал его взгляд со скромной серьезностью.

— Ты что, спятил? — спросил Матье.

— Почему? Скажешь всего одно слово — и разом изменишь всю свою жизнь, такое случается не каждый день.

Матье расхохотался. «Он решил над этим посмеяться», — раздосадовано подумал Даниель.

— Тебе не удастся ввести меня в искушение, — сказал Матье, — и особенно в этот момент.

— Да, но... именно это, — продолжал Даниель тем же легкомысленным тоном, — будет самым занятным. Сделать прямо противоположное тому, что хочешь. И почувствовать, что становишься совсем другим человеком.

— Каким другим? — воскликнул Матье. — Может, мне еще сделать троих ребятишек ради удовольствия почувствовать себя совсем другим, когда я их буду прогуливать по Люксембургскому саду? Тогда я и в самом деле изменюсь: стану окончательно пропащим человеком.

«Не настолько, — подумал Даниель, — не настолько, как ты считаешь».

— По правде говоря, — сказал он, — не так уж плохо быть пропащим человеком. Пропащим до мозга костей, погребенным. Женатый субъект с тремя малышками, как ты говоришь. Такое должно умиротворять!

— Действительно, — ответил Матье. — Подобных типов я встречаю каждый день. К примеру, отцы моих учеников, которые ко мне приходят. Имеют по четверо детей, все сплошь рогоносцы, члены родительского совета. У них обычно степенный вид. Я бы даже сказал — благодушный.

— У них тоже есть нечто вроде веселости, — заговорил Даниель. — Хоть меня от них и мутит. А тебя действительно это не соблазняет? Я вижу тебя удачно женатым, — продолжал он, — ты будешь, как они, толстым, ухоженным балагуром с целлулоидными глазами. Не так уж плохо.

— Да, но это на твой вкус, — спокойно сказал Матье. — Уж лучше я попрошу пять тысяч у брата.

Он встал. Даниель спустил Мальвину на пол и тоже встал. «Он знает, что у меня есть деньги, и тем не менее он меня не ненавидит: как же ему подобных еще пронять?»

Бумажник был рядом, Даниелю стоило только опустить руку в карман, он скажет: «Вот, старик, я только хотел малость тебя разыграть». Но он побоялся, что будет себя презирать.

— Сожалею, — нерешительно начал он, — если появится возможность, я тебе напишу...

Даниель проводил Матье до входной двери.

— Не расстраивайся, — весело ответил Матье, — я выкручусь.

Он закрыл дверь. Когда Даниель услышал на лестнице его легкие шаги, он подумал: «Это непоправимо», — и у него перехватило дыхание. Но это скоро кончилось. «Ни на одно мгновение, — сказал он себе, — Матье не переставал быть уравновешенным, бодрым, в совершенном согласии с самим собой. Конечно, он расстроен, но это только внешне. Изнутри он чувствует себя в норме». Он подошел к зеркалу посмотреть на свое красивое мрачное лицо и подумал: «Однако если б ему пришлось жениться на Марсель, это стоило б и тысячи».

VIII

Теперь она давно уже проснулась и наверняка терзается. Нужно ее успокоить, надо сказать ей, что она ни в коем случае не пойдет к бабке. Матье с нежностью представил ее несчастное, изможденное лицо накануне, и она вдруг показалась ему невероятно беззащитной. «Нужно ей позвонить». Но сначала он должен пойти к Жаку: «Тогда, возможно, я смогу сообщить ей хорошую новость». Он с раздражением думал о том, с каким видом примет его Жак. Он будет, как всегда, весел и благоразумен, по ту сторону как порицания, так и снисходительности; голову склонит набок и, полузакрыв глаза, спросит: «Как? Опять деньги?» Матье покрылся мурашками. Он пересек мостовую и подумал о Даниеле: он не сердился на него. Он такой: на него нельзя сердиться. Но он заранее сердился на Жака. Матье остановился перед приземистым домом на улице Реомюр и, как всегда, с раздражением прочел: «Жак Деларю, адвокат, третий этаж». Адвокат! Он вошел в лифт «Надеюсь, Одетты не будет дома», — подумал он.

Увы, она была дома, Матье увидел ее через застекленную дверь гостиной: она сидела на диване, элегантная, длинная и чистенькая до стерильности; она читала. Жак охотно говорил: «Одетта одна из немногих парижанок, которые находят время читать».

— Месье Матье хочет видеть мадам? — спросила Роза.

— Да, я зайду к ней поздороваться, но предупредите, пожалуйста, месье, что я пришел к нему.

Он толкнул дверь. Одетта подняла чем‑то неприятное нарумяненное лицо.

— Здравствуйте, Тье, — сказала она с довольным видом. — Вы пришли нанести визит мне?

— Вам? — переспросил Матье.

Он смотрел со смущенной симпатией на высокий спокойный лоб и зеленые глаза. Вне всякого сомнения, она была красива, но той красотой, которая как бы ускользала, когда на нее смотришь. Привыкший к таким лицам, как у Лолы, смысл которых грубо открывался с первого взгляда, Матье сто раз пытался воссоединить эти ускользающие черты, но они выскальзывали, их совокупность ежесекундно разрушалась; лицо Одетты таило обманчивую буржуазную тайну.

— Очень хотел бы, чтобы мой визит относился к вам, — проговорил он, — но мне необходимо повидать Жака, хочу попросить его об одной услуге.

— Можете не торопиться, — сказала Одетта, — Жак никуда не денется. Присядьте здесь.

Она освободила ему место рядом с собой.

— Осторожно, — улыбаясь, сказала она, — однажды я рассержусь. Вы мною пренебрегаете. Я заслужила личный визит, вы мне его обещали.

— А на самом деле вы мне пообещали как‑нибудь принять меня.

— Как вы вежливы, — смеясь сказала она, — тем не менее у вас явно неспокойная совесть.

Матье сел. Ему нравилась Одетта, только он никогда не знал, что ей сказать.

— Как поживаете, Одетта?

Он придал голосу теплоту, чтобы скрыть неуклюжесть вопроса.

— Очень хорошо, — сказала она. — Знаете, где я была сегодня утром? Я выезжала на машине в Сен‑Жермен, чтобы повидать Франсуазу, это меня развеяло.

— А Жак?

— У Жака в эти дни много дел, я его почти не вижу. Но он, как всегда, пренебрегает здоровьем.

Матье вдруг ощутил острую досаду. «Она принадлежит Жаку», — подумал он. Он с тяжелым чувством посмотрел на длинную смуглую руку, выглядывавшую из рукава очень простого платья с красным поясом, платья почти как у девочки. Рука, платье и тело под платьем принадлежали Жаку, как и кресло, как и секретер из красного дерева, как диван. Эта сдержанная благонравная женщина носила на себе печать чужого обладания. Наступила пауза, затем Матье произнес теплым и слегка гнусавым голосом, который он приберегал для Одетты:

— У вас очень красивое платье.

— Да ну вас! — воскликнула с возмущенным смехом Одетта. — Оставьте мое платье в покое; всякий раз, когда вы меня видите, вы мне говорите о моих платьях. Лучше скажите, что вы делали на этой неделе.

Матье тоже засмеялся: он почувствовал, что отмякает.

— Нет, я кое‑что хочу сказать именно об этом платье.

— Боже! — вскричала Одетта. — Что бы это могло быть?

— Так вот, когда оно на вас, не следует ли вам надевать серьги?

— Серьги?

Одетта посмотрела на него с интересом.

— Вы считаете, что это вульгарно? — спросил Матье.

— Вовсе нет. Но это делает лицо нескромным. — И продолжила, рассмеявшись: — Так вам, конечно же, будет со мной привычней.

— Нет, почему же... — неопределенно пробормотал Матье.

Он был удивлен и подумал: «А она решительно неглупа». В уме Одетты, как и в ее красоте, было что‑то неуловимое.

Наступило молчание. Матье не знал, что сказать. Тем не менее ему не хотелось уходить, он наслаждался какой‑то душевной тишиной. Одетта мило сказала ему:

— Я виновата, что задерживаю вас, идите скорее к Жаку, вы чем‑то озабочены.

Матье встал. Он вспомнил, что идет просить у Жака денег, и почувствовал, как закололо кончики пальцев.

— До свидания, Одетта, — произнес он нежно. — Нет, нет, не беспокойтесь, я еще зайду попрощаться с вами.

«До какой степени она жертва? — задавался он вопросом, стуча в дверь к Жаку. — С таким типом женщин ничего в точности не известно».

— Входи, — сказал Жак.

Он встал, оживленный, очень прямой, и пошел навстречу Матье.

— Привет, старина, — тепло сказал он. — Все в норме?

Он казался гораздо моложе Матье, хотя и был старше. Матье полагал, что он нагулял жиру на бедрах. К тому же он вынужден был носить корсет.

— Здравствуй, — ответил Матье с дружелюбной улыбкой.

Он почувствовал себя виноватым: уже двадцать лет он это чувствовал всякий раз, когда думал о брате или видел его.

— Итак, — продолжал Жак, — что тебя привело?

Матье уныло махнул рукой.

— Плохи дела? — спросил Жак. — Послушай, сядь в кресло. Хочешь виски?

— Пожалуй, — коротко ответил Матье. Он сел, у него перехватило горло. «Пью виски и, ничего не сказав, сматываюсь». Но было слишком поздно. Жак прекрасно знал, чего ожидать: «Он просто подумает, что я не осмелился попросить денег». Жак взял бутылку виски и наполнил два стакана.

— Это последняя бутылка, — пояснил он, — но до осени я не стану пополнять запасы. Хотя говорят, что во время жары хорош шипучий джин, виски все‑таки лучше. А как по‑твоему?

Матье не ответил, он хмуро смотрел на розовое свежее лицо совсем молодого человека, на коротко подстриженные светлые волосы. Жак невинно улыбался, он весь дышал невинностью, но глаза его были жесткими. «Он играет в невинность, — с бешенством подумал Матье, — он прекрасно знает, зачем я пришел, сейчас он подбирает нужную роль». Он решился:

— Ты прекрасно знаешь, что я пришел одолжить у тебя денег.

Итак, слово было сказано. Теперь отступление невозможно; брат изумленно поднял брови. «Нет, он меня не пощадит», — удрученно подумал Матье.

— Что ты, у меня и мысли такой не было, — сказал Жак, — почему ты считаешь, что я об этом подумал? Ты хочешь намекнуть, что это единственная цель твоих визитов?

Жак сел, все еще очень прямой, немного напряженный, он гибко положил ногу на ногу, как бы компенсируя напряженность туловища. На нем был превосходный спортивный костюм английского сукна.

— Я не намекаю, — сказал Матье.

Он сощурил глаза. И добавил, крепко сжимая стакан:

— Но мне нужны четыре тысячи франков не позднее, чем завтра.

«Сейчас он откажет. Лишь бы только побыстрее, тогда я смогу сразу же смыться». Но Жак никогда не спешил: он был адвокатом, времени у него хватало.

— Четыре тысячи, — повторил он, покачивая головой с видом знатока. — Скажи, пожалуйста!

Он вытянул ноги и стал с удовлетворением созерцать свои туфли.

— Ты меня забавляешь, Тье, — сказал он, — ты меня забавляешь, а заодно и просвещаешь. Нет, не думай, что я имею в виду что‑то дурное, — живо добавил он, — я не считаю возможным критиковать твое поведение, я просто размышляю, задаю себе вопросы и гляжу на все это со стороны, я бы сказал, по‑философски, если бы не обращался к философу. Видишь ли, когда я о тебе думаю, то утверждаюсь в мысли, что не следует быть человеком принципов. Ты же ими напичкан, ты их изобретаешь и, однако, с ними не сообразуешься. Теоретически нет человека более независимого: да, это прекрасно, ты живешь над классами. Только спрашивается: что бы с тобой сталось, не будь меня? Заметь, я счастлив, я, человек без принципов, что могу время от времени тебе помогать. Но мне кажется, будь я человеком идеи, мне было бы не по душе просить что бы то ни было у отвратительного буржуа. Ибо я и есть отвратительный буржуа, — добавил он, добродушно смеясь.

Он продолжил, не закончив смеяться:

— Есть кое‑что и похуже: ты, не имеющий семьи, используешь семейные узы, чтобы одалживать у меня деньги. Ибо ты не обратился бы ко мне, не будь я твоим братом.

Он напустил на себя искренне заинтересованный вид.

— Тебя все это в глубине души не смущает?

— Обстоятельства вынуждают, — тоже смеясь, сказал Матье.

Он не собирался вступать в идейный спор. Идейные споры с Жаком всегда плохо кончались. Матье сразу же терял хладнокровие.

— Да, очевидно, — холодно проговорил Жак. — Ты не считаешь, что будь ты более организован... Но это, бесспорно, противоречит твоим идеям. Заметь, я не говорю о твоей вине: для меня здесь повинны твои принципы.

— Знаешь, — заметил Матье, лишь бы что‑то ответить, — отказ от принципов — это тоже принцип.

— Вот как! — воскликнул Жак.

«Теперь, — подумал Матье, — он их оставит в покое». Он посмотрел на полные щеки брата, на цветущее лицо, на его открытое и все‑таки упрямое выражение и подумал со сжавшимся сердцем: «У него прижимистый вид». К счастью, Жак заговорил снова.

— Четыре тысячи, — повторил он. — Это что‑то неожиданное, так как на прошлой неделе, когда ты... когда ты забежал попросить меня о небольшой услуге, речи о деньгах не было.

— Действительно, — сказал Матье, — необходимость возникла только вчера.

Внезапно он подумал о Марсель, увидел ее, мрачную и голую в розовой комнате, и добавил настойчивым тоном, удивившим его самого:

— Жак, мне действительно нужны деньги.

Жак с любопытством посмотрел на него, и Матье прикусил губы: когда братья были вместе, они не имели привычки так откровенно обнаруживать свои чувства.

— До такой степени? Странно... Обычно ты одалживаешь у меня немного, потому что не умеешь или не хочешь себя организовать, но никогда бы не подумал... Естественно, я у тебя ничего не спрашиваю, — добавил он тоном вопроса.

Матье колебался: сказать ему, что это для налогов? Нет, он знает, что я их заплатил в мае. Внезапно он выпалил:

— Марсель беременна.

Он почувствовал, что краснеет, и передернул плечами, но в конце концов почему бы и нет? Откуда же этот неожиданный жгучий стыд? Он вызывающе посмотрел в лицо брату. Жак выглядел явно заинтересованным.

— Вы хотите ребенка?

Он делал вид, что не понимает.

— Нет, — сказал Матье резко, — это случайность.

— Это меня тоже удивляет, — сказал Жак, — но ты мог бы довести до конца свои нестандартные житейские принципы...

— Все не так просто.

Наступило молчание, потом Жак совершенно спокойно продолжил:

— И что? Когда свадьба?

Матье побагровел от гнева: как всегда, Жак отказывался честно рассматривать ситуацию, он просто кружил вокруг нее, а в это время его ум прилагал усилия, чтобы найти орлиное гнездо, откуда он смог бы сверху вниз пристально наблюдать за поведением других. Что бы ему ни говорили, что бы ни делали, первым его побуждением было возвыситься над спорами, он мог взирать только сверху, у него была страсть к орлиным гнездам.

— Мы решили, что она сделает аборт, — грубо сказал Матье.

Жак даже не поморщился.

— Ты нашел врача? — безразлично спросил он.

— Да.

— Надежный человек? Исходя из того, что ты мне говорил, у этой молодой женщины слабое здоровье.

— У меня есть друзья, которые ручаются за него.

— Да, — сказал Жак, — да, конечно, конечно. Он на мгновенье закрыл глаза, снова открыл их и сплел пальцы.

— В общем, — сказал он, — если я тебя правильно понял, случилось следующее: ты узнал, что твоя подруга беременна; ты не хочешь жениться из‑за своих принципов, но ты считаешь себя связанным с ней обязательствами, столь же неукоснительными, как брак. Не желая ни жениться на ней, ни нанести урон ее репутации, ты решил позволить ей сделать аборт. По возможности в наилучших условиях. Друзья порекомендовали тебе надежного врача, запросившего четыре тысячи франков, и тебе ничего не остается, как достать эту сумму. Так?

— Именно так, — согласился Матье.

— А почему тебе нужны деньги так срочно?

— Врач, которого я имею в виду, через неделю уезжает в Америку.

— Ладно, — сказал Жак, — я все понял. Он поднял сплетенные руки на уровень глаз и посмотрел на них с таким видом, как будто ему требовалось лишь сделать выводы из того, что Матье ему только что сказал. Но Матье не обманывался: адвокат так скоро не решает. Жак опустил руки и, разняв их, положил на колени, он откинулся в кресле, глаза его потускнели. Сонным голосом он проговорил:

— Сейчас в отношении абортов большие строгости.

— Знаю, — сказал Матье, — время от времени на этих идиотов находит: сажают в тюрьму несколько бедных повитух, не имеющих протекции, но настоящих специалистов никогда не тревожат.

— Ты хочешь сказать, что здесь наличествует несправедливость. Я совершенно с тобою согласен. Но я не осуждаю эти меры. В силу обстоятельств твои бедные повитухи — это фельдшерицы или женщины, незаконно делающие аборты, они часто калечат пациентку грязными инструментами; облавы производят отбор, вот и все.

— Так вот, — продолжал измученный Матье, — я пришел попросить у тебя четыре тысячи франков.

— А ты... — сказал Жак, — а ты уверен, что аборт согласуется с твоими принципами?

— Почему бы и нет?

— Не знаю, тебе лучше знать. Ты пацифист из уважения к человеческой жизни, а собираешься прервать чью‑то жизнь.

— Я все решил, — сказал Матье. — К тому же, может быть, я и пацифист, но человеческую жизнь я не уважаю, тут ты что‑то путаешь.

— Да? А я‑то думал... — удивился Жак.

Он посмотрел на Матье с веселой безмятежностью.

— И вот ты детоубийца? Это так тебе не идет, мой бедный Тье.

«Он боится, что меня схватят, — подумал Матье, — он не даст мне ни сантима». Нужно было бы ему сказать: «Если ты дашь деньги, ты не подвергнешься никакому риску, я обращусь к ловкому человеку, которого нет в списках полиции. Если ты откажешься, я вынужден буду отправить Марсель к знахарке, и тут я ничего не гарантирую, потому что полиция знает их наперечет и может закрутить гайки со дня на день». Но эти аргументы были слишком прямолинейными, чтобы пронять Жака; Матье просто сказал:

— Аборт — не детоубийство. Жак взял сигарету и закурил.

— Да, — вымолвил он безразлично, — согласен: аборт — не детоубийство, но это метафизическое убийство. — Он серьезно добавил: — Мой бедный Матье, у меня нет возражения против метафизического убийства, а также против хорошо продуманных убийств. Но то, что метафизическое убийство совершаешь именно ты... ты, такой, как ты есть... — Он причмокнул языком с видом порицания. — Нет, для тебя это была бы фальшивая нота.

Конечно, Жак отказывал, Матье мог уходить. Он откашлялся и для очистки совести спросил:

— Итак, ты не хочешь мне помочь?

— Пойми меня правильно, — сказал Жак, — я не отказываю тебе в услуге. Но будет ли это действительно услуга? К тому же я убежден, что ты легко найдешь нужные тебе деньги...

Он резко встал, как будто принял решение, и дружески положил руку на плечо брата.

— Послушай, Тье, — с жаром сказал он, — допустим, я тебе отказал: не хочу тебе помогать обманывать самого себя. Но я предложу тебе другое...

Матье, собиравшийся встать, снова сел в кресло, и его снова охватил застарелый братский гнев. Это ласковое и твердое давление на плечо было непереносимо; он откинул назад голову и увидел лицо Жака.

— Обманывать самого себя! Лучше скажи, что не хочешь встревать в дело с абортом, которого не одобряешь, или что у тебя нет свободных денег, это твое право, и я на тебя не в обиде. Но что ты там говоришь об обмане? Здесь нет обмана. Я не хочу ребенка. У меня он получился случайно, я от него избавляюсь, вот и все.

Жак убрал руку и сделал несколько шагов с задумчивым видом: «Сейчас он произнесет речь, — подумал Матье, — не нужно было ввязываться в спор».

— Матье, — произнес Жак хорошо поставленным голосом, — я тебя знаю лучше, чем ты думаешь, и ты меня ужасаешь. Я давно уже опасался чего‑то в этом роде: этот ребенок, которому предстоит родиться, является логическим завершением ситуации, в каковую ты попал добровольно, и ты хочешь от него избавиться, ибо не желаешь принять на себя все последствия своих поступков. Слушай, хочешь, я скажу тебе правду? Возможно, в данный момент ты себя не обманываешь, но вся твоя жизнь зиждется на обмане.

— Не стесняйся, пожалуйста, — сказал Матье, — поведай мне, что я скрываю от себя самого.

Он улыбался.

— От себя ты скрываешь, — сказал Жак, — что ты стыдливый буржуа. Я вернулся к буржуазии после многих блужданий, я заключил с ней брак по расчету, но ты буржуа по вкусам, по характеру, и твой характер толкает тебя к браку. Ибо ты женат, Матье, — изрек он.

— Вот так новость! — изумился Матье.

— Да, ты женат, только ты утверждаешь обратное, потому что у тебя есть наготове всевозможные теории. У тебя установилась с этой молодой женщиной некая традиция: четыре раза в неделю ты преспокойно приходишь к ней и проводишь с ней ночь. Это длится уже семь лет, но для тебя это всего лишь приключение; ты ее уважаешь, ты чувствуешь по отношению к ней некие обязательства, ты не хочешь ее бросать. И я совершенно уверен, что ты с ней ищешь не только удовольствия, я даже полагаю, что с течением времени удовольствие, каким бы сильным оно ни было вначале, должно притупиться. На самом же деле вечером ты садишься рядом с ней и подробно рассказываешь о событиях дня и спрашиваешь у нее совета в трудных случаях.

— Конечно, — сказал, пожимая плечами, Матье. Он злился на себя.

— Так вот, — продолжал Жак, — скажи, чем это отличается от брака... от фактически совместного проживания?

— От фактически совместного проживания? — иронически повторил Матье. — Прости, но это ерунда.

— Ну уж! — воскликнул Жак. — Я предполагаю, что для тебя не так‑то легко от этого отказаться.

«Он никогда так не говорил, — подумал Матье, — он берет реванш. Нужно было уйти, хлопнув дверью». Но Матье знал, что останется до конца: у него возникло агрессивное и недоброжелательное желание узнать мнение брата.

— Почему ты говоришь, что мне это было бы нелегко?

— Потому что так ты обеспечил себе удобный вариант, видимость свободы: ты имеешь все преимущества брака и пользуешься своими принципами, чтобы отказаться от его неудобств. Ты отказываешься узаконить ситуацию, и это тебе нетрудно. Если кто‑то от этого страдает, то только не ты.

— Марсель разделяет мои суждения о браке, — сказал Матье высокомерно; он слышал, как произносит каждое слово, и был сам себе противен.

— Нет! — возразил Жак. — Если она их и не разделяет, то слишком горда и не признается тебе в этом. Знаешь, я тебя не понимаю: ты так возмущаешься, когда говорят о несправедливости, а сам держишь эту женщину в унизительном положении долгие годы из простого удовольствия сказать себе, что ты живешь в согласии со своими принципами. И ладно бы, если бы ты вправду сообразовывал свою жизнь со своими идеями. Но, повторяю тебе, ты все равно что женат, у тебя неплохая квартирка, ты регулярно получаешь кругленькое жалованье, у тебя нет никакого страха перед будущим, ибо государство гарантирует тебе пенсию... И ты любишь эту спокойную, упорядоченную жизнь, типичную жизнь чиновника.

— Послушай, — сказал Матье, — это недоразумение: меня очень мало беспокоит, буржуа я или нет. Я хочу только одного, — он закончил фразу сквозь зубы с неким стыдом, — сохранить свою свободу.

— А я бы посчитал, что свобода состоит в том, чтобы смотреть в лицо ситуациям, в которые ты попал по собственной воле, и принимать на себя всю ответственность за них. Но ты, безусловно, другого мнения, ты осуждаешь капиталистическое общество, и тем не менее ты служащий и афишируешь свою симпатию к коммунистам, но ты поостерегся ввязываться в эту свару, ты даже не голосовал. Ты презираешь буржуазию, и все‑таки ты буржуа, сын и брат буржуа, и сам живешь, как буржуа.

Матье сделал движение, но Жак не позволил прервать себя.

— Ты, однако, вступил в возраст зрелости, мой бедный Матье! — сказал он с ворчливой жалостью. — Но стараешься об этом не думать, ты хочешь казаться моложе, чем ты есть. Впрочем, может, я и несправедлив. В возраст зрелости ты еще не вступил, ведь это скорее возраст нравственности... И, возможно, я достиг его быстрее, чем ты.

«Ну вот, — подумал Матье, — сейчас он заговорит о своей молодости». Жак гордился своей молодостью, она была его порукой, она позволяла ему защищать сторону правопорядка с чистой совестью: в течение пяти лет он старательно подражал всем модным заблуждениям, увлекался сюрреализмом, имел несколько лестных связей и иногда перед тем, как заниматься сексом, нюхал платок с хлористым этилом. В один прекрасный день все упорядочилось: Одетта принесла ему в приданое шестьсот тысяч франков. Он написал тогда Матье: «Чтобы не быть, как все, нужно иметь смелость поступать, как все». И он купил контору адвоката.

— Я не попрекаю тебя твоей молодостью, — сказал он. — Наоборот, тебе посчастливилось избежать некоторых отклонений. Но о своей я тоже не сожалею. Видишь ли, в принципе в нас обоих говорили инстинкты нашего старого пирата‑дедушки. Только я одним махом избавился от них, а ты их тянешь по капельке, тебе не удается добраться до дна. Я думаю, что по природе своей ты гораздо меньше пират, чем я, это тебя и губит: твоя жизнь — вечный компромисс между склонностью к бунту и анархии, очень умеренной, и твоими затаенными склонностями, влекущими тебя к порядку, нравственному здоровью, я бы сказал, почти к рутине. В результате ты так и остался постаревшим безответственным студентом. Но, друг мой, посмотри на себя хорошенько: тебе тридцать четыре года, голова у тебя понемногу седеет — правда, не так, как у меня, — в тебе уже нет ничего от юноши, тебе мало подходит жизнь богемы. К тому же что такое богема? Это было прекрасно сто лет назад, теперь это горстка никому не опасных путаников, которые опоздали на поезд. Ты уже вступил в возраст зрелости, Матье, или, во всяком случае, должен был в него вступить, — рассеянно проговорил он.

— Брось! — сказал Матье. — По‑твоему, возраст зрелости — это возраст смирения, я этого не принимаю.

Но Жак его не слушал. Его взгляд вдруг стал ясным и веселым, он живо сказал:

— Послушай, я уже говорил, что могу тебе кое‑что предложить. Если ты откажешься, то легко найдешь другого кредитора, я не испытываю никаких угрызений совести. Так вот, я предлагаю тебе десять тысяч франков, если ты женишься на своей подруге.

Матье предвидел такой финт, позволяющий брату не уронить себя окончательно.

— Благодарю, Жак, — сказал он, вставая, — ты действительно очень любезен, но твоего предложения я не принимаю. Я не говорю, что ты совсем неправ, но если я когда‑нибудь и женюсь, то только по собственному желанию. В данный момент это был бы нелепый выход из создавшегося положения.

Жак тоже встал.

— Подумай хорошенько, — сказал он, — повремени. Твоя жена будет здесь хорошо принята, об этом даже нечего и говорить, я доверяю твоему выбору; Одетта будет счастлива отнестись к ней как к подруге. Кстати, моя жена не в курсе твоей личной жизни.

— Я уже все обдумал, — отрезал Матье.

— Как хочешь, — сердечно вымолвил Жак; был ли он так уж недоволен? Потом он добавил: — Когда увидимся?

— Я приду к обеду в воскресенье. До встречи.

— До встречи, — сказал Жак, — и... если передумаешь, мое предложение остается в силе.

Матье улыбнулся и вышел, не ответив. «Кончено! — подумал он. — Кончено». Он бегом спустился по лестнице, он был грустен, но ему хотелось петь. Теперь Жак, наверное, снова уселся в своем кабинете с потерянным видом, с печальной и значительной улыбкой: «Этот мальчик меня беспокоит, ведь он уже вступил в возраст зрелости». А может, он заглянул к Одетте: «Матье меня тревожит. Не могу рассказать тебе все, но он неблагоразумен». Что она ответит? Будет ли она играть роль степенной и внимательной супруги или отделается беглой репликой, уткнувшись в книгу?

«Кстати, — сказал себе Матье, — я забыл попрощаться с Одеттой!» Он ощутил угрызения совести: сейчас он вообще склонен был к угрызениям совести. «Правда ли это? Действительно ли я держу Марсель в унизительном положении?» Он вспомнил резкие выпады Марсель против брака: «Тем не менее я ей предлагал. Один раз, пять лет назад». По правде говоря, это повисло в воздухе, во всяком случае, Марсель рассмеялась ему в лицо. «Да, — подумал он, — у меня комплекс неполноценности по отношению к брату!» Но нет, это было не совсем так, каким бы ни было чувство вины, Матье никогда не переставал мысленно оправдывать себя перед братом. «В сущности, только этот прохвост мне близок, и, когда мне не стыдно перед ним, мне стыдно за него. Увы! — подумал он. — С семьей не порвешь, это как оспа: ею заболеваешь ребенком, и она метит тебя на всю жизнь». На углу улицы Монторгей было кафе. Он вошел, взял в кассе жетон, телефонная кабина была в темном углу. Когда он снял трубку, сердце его сжалось.

— Алло! Алло! Марсель?

Телефон был в спальне Марсель.

— Это ты? — сказала она.

— Да.

— Ну что?

— К бабке идти нельзя.

— Гм! — хмыкнула Марсель в сомнении.

— Уверяю тебя. Она полупьяна, у нее воняет, все в ней отвратительно, если бы ты только видела ее руки! Она просто животное.

— Пусть так. А что дальше?

— У меня есть на примете один человек. Его рекомендует Сара. Очень надежный.

— Сколько он берет?

— Четыре тысячи.

— Сколько?! — изумилась Марсель.

— Четыре тысячи.

— Ты видишь! Это невозможно, мне нужно идти к...

— Ты не пойдешь! — с силой сказал Матье. — Я одолжу.

— У кого? У Жака?

— Я только от него. Он отказал.

— А Даниель?

— Он тоже отказал, скотина! Я его видел сегодня утром; уверен, что у него уйма денег.

— Ты ему не сказал, что деньги нужны для... этого? — живо спросила Марсель.

— Нет, — ответил Матье.

— Что ты собираешься делать?

— Не знаю. — Он почувствовал, что в его голосе не хватает уверенности, и твердо добавил: — Не волнуйся. У нас еще двое суток, я найду. Черт побери, четыре тысячи можно найти.

— Ну что ж, найди, — сказала Марсель странным тоном. — Найди.

— Я тебе позвоню. Увидимся, как всегда, завтра вечером?

— Да.

— Как ты?

— Нормально.

— Ты... ты не слишком...

— Нет, — сухо сказала Марсель. — Но я тревожусь. — Она добавила более мягко: — Поступай, как знаешь, бедняга

— Я принесу тебе четыре тысячи франков завтра вечером, — сказал Матье. Он поколебался и с усилием проговорил: — Я люблю тебя.

Марсель, не отвечая, повесила трубку.

Он вышел из кабины. Проходя через кафе, он еще слышал сухой тон Марсель: «Я тревожусь». «Она сердита на меня. Однако я делаю, что могу. «В унизительном положении». Разве я держу ее в унизительном положении? А если...» Он резко остановился посреди тротуара. А если она хочет ребенка? Тогда все к черту, достаточно подумать об этом на секунду, и все принимает другой смысл, это совсем другая история, и сам он меняется с головы до пят, он не продолжает себя обманывать, он законченный подонок. «К счастью, это неправда, не могло быть правдой, я часто слышал, как она потешалась над замужними подругами, когда они были брюхаты: священные сосуды, так она их называла, она говорила: «Они лопаются от гордости, потому что скоро снесутся». Когда говорят такое, то уже не имеют права тайком изменить точку зрения, это был бы прямой обман. А Марсель была на него неспособна, она бы мне об этом сказала, почему бы ей мне этого не сказать — до сих пор мы говорили друг другу все; нет, хватит, хватит!» Он устал кружиться в запуганных дебрях, Марсель, Ивиш, деньги, деньги Ивиш, Марсель. «Я сделаю все, что нужно, но я не хочу больше об этом думать. Господи, я хочу думать о другом». Он подумал о Брюне, но это было еще печальнее: умершая дружба; он нервничал и заранее тосковал, потому что скоро они встретятся. Он увидел газетный киоск и подошел к нему: «Пари‑Миди», пожалуйста».

Этой газеты уже не было, и он взял другую наугад: это оказался «Эксельсиор». Матье заплатил десять су и пошел дальше. «Эксельсиор» был безобидной газетой на серой бумаге, скучной и бархатистой, как тапиока. Ей не удавалось вызвать у читателя гнев, она просто отнимала вкус к жизни. Матъе прочел: «Бомбардировка Валенсии», он поднял голову с неясным раздражением: улица Реомюр была как из почерневшей меди. Два часа — время дня, когда жара наиболее тягостна, она извивается и потрескивает посреди мостовой, как длинная электрическая искра. «Сорок самолетов кружат в течение часа над центром города и сбрасывают сто пятьдесят бомб. Точное количество убитых и раненых неизвестно». Уголком глаза он увидел под заголовком зловещий маленький сжатый текст курсивом, который казался чрезмерно болтливым и излишне документированным: «От нашего специального корреспондента», и приводились цифры. Матье перевернул страницу, ему не хотелось этого знать. Речь господина Фландена в Бар‑ле‑Дюк. Франция, затаившаяся за линией Мажино. Стоковский заявляет: я никогда не женюсь на Грете Гарбо. Снова дело Вейдманна. Визит короля Англии: когда Париж ждет своего Прекрасного принца. Все французы... Матье вздрогнул и подумал: «Все французы негодяи». Так Гомес ему однажды написал из Мадрида. Он свернул газету и начал читать на первой странице сообщение специального корреспондента. Уже насчитывалось пятьдесят убитых и триста раненых, и это было еще не все, под руинами, безусловно, были трупы. Нет самолетов, нет ПВО. Матье чувствовал себя смутно виноватым. Пятьдесят убитых и триста раненых, что это в действительности означает? Полный госпиталь? Нечто вроде большой железнодорожной аварии. Пятьдесят убитых. Во Франции были тысячи людей, которые не могли прочесть сегодня утром газету без комка в горле, тысячи людей, которые сжимали кулаки, шептали: «Сволочи!» Матье сжал кулаки, прошептал: «Сволочи!» — и почувствовал себя еще более виноватым. Если бы по крайней мере он ощутил хоть какое‑то живое волнение, пусть и сознающее свои пределы. Но нет: он был пуст, перед ним был великий гнев, отчаянный гнев, он его видел, но был не в состоянии его коснуться. Этот гнев взывал к нему, Матье, он ожидал, чтобы тот предоставил ему себя, свое тело и душу. Это был гнев других. «Сволочи!» Матье сжал кулаки, широко шагал, но это не приходило, гнев оставался где‑то извне. «Я был в Валенсии в 34‑м году, я видел там фиесту и большую корриду с Ортегой и Эль Эстудианте». Его мысль витала кругами над городом, ища какую‑нибудь церковь, улицу, фасад дома, о которых он мог бы сказать: «Я видел это, теперь это разрушили, этого больше не существует». Вот оно! Мысль его приземлилась на темную улицу, отягощенную массивными монументами. «Я это видел», он гулял там утром, задыхался в пылающей тени, небо пламенело очень высоко над головами. Вот оно! Бомбы упали на эту улицу, на большие серые памятники, улица стала непомерно широкой, она теперь доходит до внутренней части домов, на улице больше нет тени, расплавленное небо стекло на мостовую, и солнце падает на развалины. Нечто готово было родиться, робкая зарница гнева. Вот оно! Но все тут же опало, расплющилось, он был снова пуст, он шел размеренным шагом с благопристойностью участника похоронной процессии в Париже, а не в Валенсии, в Париже, обуреваемый одним лишь призраком гнева. Стекла пылали, автомобили бежали по мостовой, он шел среди людей, одетых в светлые ткани, среди французов, которые не смотрели на небо, которые не боялись неба. И все же там это было явью, где‑то там, под тем же небом, это было явью, автомобили замерли, стекла вылетели, женщины, оторопелые и безмолвные, сидели на корточках с видом уснувших куриц у всамделишных трупов, женщины время от времени смотрели на небо, на ядовитое небо, все французы негодяи. Матье было жарко, пекло было невыносимым и реальным. Он провел платком по лбу и подумал: «Нельзя страдать из‑за того, из‑за чего хочешь». Там происходило величественное и трагическое событие, которое требовало, чтобы из‑за него страдали... «Я не могу, я не там, я в Париже среди примет моей реальности, Жак за письменным столом, говорящий «нет», ухмыляющийся Даниель, Марсель в своей розовой комнате, Ивиш, которую я поцеловал сегодня утром. Такова моя тошнотворная реальность, подлинная уже потому, что она действительно существует. У каждого свой мир, у меня это клиника с беременной Марсель в ней и этот еврей, который требует четыре тысячи франков. Есть другие миры. Гомес. Он был причастен, он уехал, таков его жребий. И вчерашний верзила. Правда, он не уехал; наверное, он бродит по улицам, как и я. Только, если он подберет газету и прочтет: «Бомбардировка Валенсии», ему не нужно будет насиловать себя, он будет страдать там, в городе, превращенном в руины. Почему я нахожусь в этом омерзительном мире выклянчивания денег, хирургических приспособлений, тайного лапанья в такси, в этом мире без Испании? Почему я не вместе с Гомесом, с Брюне? Почему я не хочу идти сражаться? Разве мне по силам выбрать другой мир? Разве я еще свободен? Я могу идти, куда хочу, я не встречаю сопротивления, но это даже хуже: я в клетке без решеток, я отделен от Испании... ничем, и тем не менее это непреодолимо». Он посмотрел на последнюю страницу «Эксельсиора»: фотографии специального корреспондента. На тротуаре вдоль стен — распластанные тела. Посреди мостовой толстая женщина, лежащая на спине с задранной на ляжках юбкой, у нее нет головы. Матье сложил газету и бросил ее в сточную канаву.

Борис подстерегал его у входа в дом. Заметив Матье, он напустил на себя холодный и чопорный вид: это был его излюбленный вид, вид сумасшедшего.

— Только что я позвонил вам в дверь, — сказал он, — но, помоему, вас нет дома.

— А точно ли меня нет дома? — в том же дурашливом тоне спросил Матье.

— Не знаю, — сказал Борис, — одно очевидно — вы мне не открыли.

Матье в замешательстве посмотрел на него. Было около двух часов, так или иначе Брюне придет не раньше, чем через полчаса.

— Пойдемте, — сказал он, — сейчас все выясним. Они поднялись. На лестнице Борис спросил:

— Наша встреча сегодня вечером в «Суматре» не отменяется?

Матье отвернулся и сделал вид, будто ищет в кармане ключи.

— Не знаю, приду ли я, — сказал он. — Я подумал... возможно, Лола предпочла бы побыть с вами наедине.

— Возможно, — согласился Борис, — ну и что из того? Во всяком случае, она будет любезна. И потом, как бы то ни было, мы будем не одни: к нам присоединится Ивиш.

— Вы виделись с Ивиш? — спросил Матье, открывая дверь.

— Только что с ней расстался, — ответил Борис.

— Проходите, — посторонясь, пригласил Матье. Борис прошел первым и с непринужденной фамильярностью направился к письменному столу. Матье недружелюбно посмотрел на его сухощавую спину: «Он видел Ивиш».

— Так вы придете? — спросил Борис.

Он обернулся и поглядел на Матье лукаво и сердечно.

— Ивиш... ничего вам не говорила о своих планах на вечер? — спросил Матье.

— На вечер?

— Да. Я сомневался, придет ли она: она была очень озабочена своим экзаменом.

— Совершенно точно придет, — заверил его Борис. — Ока сказала, что было бы забавно встретиться вчетвером.

— Вчетвером? — переспросил Матье. — Она так и сказала?

— Ну да, — простодушно ответил Борис, — ведь будет еще и Лола.

— Значит, Ивиш рассчитывает, что я приду?

— Естественно, — удивленно подтвердил Борис.

Наступило молчание. Борис слегка перегнулся через перила балкона и посмотрел на улицу. Матье присоединился к нему, ткнув его кулаком в спину.

— Мне нравится ваша улица, — сказал Борис, — но со временем это должно надоесть. Меня всегда удивляет, что вы живете в квартире.

— Почему?

— Не знаю. Такой свободный человек, как вы, должен был бы распродать всю мебель и поселиться в гостинице. Разве нет? Помоему, вам надо поселиться на Монмартре, месяц — в Фобур Тампль, месяц — на улице Муфтар...

— Бросьте, — раздраженно фыркнул Матье, — это не имеет никакого значения.

— Да, — сказал Борис после долгого раздумья, — это не имеет никакого значения. Звонят, — раздосадовано добавил он.

Матье пошел открывать: это был Брюне.

— Привет, — сказал Матье, — ты... ты пришел раньше, чем обещал.

— Да, — улыбаясь, сказал Брюне, — это тебя огорчает?

— Совсем нет...

— Кто это? — спросил Брюне.

— Борис Сергин, — ответил Матье.

— А! Славный последователь, — съязвил Брюне. — Я с ним незнаком.

Борис холодно поклонился и отступил в глубь комнаты. Матье стоял перед Брюне, опустив руки.

— Он терпеть не может, когда его называют моим последователем.

— Понял, — бесстрастно буркнул Брюне. Он, безразличный и основательный, крутил между пальцами сигарету под неприязненным взглядом Бориса.

— Садись, — сказал Матье, — садись в кресло.

Брюне сел на стул.

— Нет, — сказал он, улыбаясь, — твои кресла действуют развращающе... — Он добавил:

— Итак, социал‑предатель, тебя, чтобы увидеть, нужно застигнуть в твоем логове.

— Я не виноват, — сказал Матье, — я часто пытался тебя повидать, но ты неуловим.

— Это правда, — подтвердил Брюне. — Я стал кем‑то вроде коммивояжера. Меня заставляют столько бегать, что бывают дни, когда я сам себя с трудом нахожу.

Он с симпатией продолжил:

— Вот когда я тебя вижу, то наилучшим образом обретаю себя, мне кажется, что я оставался у тебя на хранение.

Матье признательно ему улыбнулся.

— Я много раз думал, — проговорил он, — что мы должны почаще видеться. Мне иногда кажется, что если мы будем время от времени встречаться втроем, то не так быстро будем стареть.

Брюне удивленно посмотрел на него.

— Втроем?

— Ну да. Даниель, ты и я.

— Действительно, Даниель! — изумился Брюне. — Еще ведь есть и этот наш приятель. Ты иногда его видишь?

Радость Матье угасла: когда Брюне встречал Портала или Буррелье, он, должно быть, говорил таким же скучающим тоном: «Матье? Он преподает в лицее Бюффон, я с ним изредка вижусь».

— Представь себе, да, я его еще вижу, — с горечью сказал Матье.

Наступило молчание. Брюне положил ладони на колени. Он был здесь, тяжелый и массивный, он сидел на стуле Матье и с упрямым видом наклонял лицо к пламени спички, комната была заполнена его присутствием, дымом его сигареты, его медленными движениями. Матье посмотрел на его большие крестьянские руки и подумал: «Брюне пришел». Он почувствовал, что доверие и радость вновь робко шевельнулись в его сердце.

— Ну, — спросил Брюне, — и что же ты поделываешь?

Матье смутился: фактически он не делал ничего особенного.

— Ничего, — признался он.

— Легко себе представляю: четырнадцать часов занятий в неделю и путешествие за границу во время летних каникул.

— Да, так и есть, — смеясь, согласился Матье. Он избегал смотреть на Бориса.

— А твой брат? Все еще в «Боевых крестах»? [[1]](#footnote-1)

— Нет, — ответил Матье, — теперь он предпочитает нюансы. Он считает, что «Боевые кресты» недостаточно динамичны.

— Значит, теперь он дичь для Дорио [[2]](#footnote-2) , — заключил Брюне.

— Да, так поговаривают... Слушай, я только что разругался с ним, — не думая добавил Матье. Брюне метнул на него острый взгляд.

— Почему?

— Все потому же: я его прошу об услуге, а он отвечает нотацией.

— И только тогда ты его ругаешь. Смешно, — с иронией заметил Брюне.

Они с минуту помолчали, и Матье грустно подумал: «Обстановка накаляется». Если б только Борису пришла в голову мысль уйти! Но он, казалось, об этом и не думал; нахохлившись, он сидел в углу с видом занемогшей борзой. Брюне оседлал стул, он тоже давил на Бориса своим тяжелым взглядом. «Он хочет, чтоб Борис ушел», — с удовлетворением подумал Матье. Он стал пристально глядеть Борису в переносицу: может, он, наконец, догадается под прицелом этих сопряженных взглядов.

Но тот сидел не шевелясь. Брюне кашлянул.

— Молодой человек, вы все еще занимаетесь философией? — спросил он.

Борис утвердительно кивнул.

— И на какой вы стадии?

— Я заканчиваю лиценциат, — сухо ответил Борис.

— Лиценциат, — задумчиво повторил Брюне, — лиценциат, ну что ж, в добрый час... И быстро добавил:

— Вы не рассердитесь, если я ненадолго отниму у вас Матье? Вам везет, вы видите его каждый день, а я... Прогуляешься со мной? — спросил он у Матье.

Борис стремительно подошел к Брюне.

— Я вас понял, — сказал он. — Оставайтесь, оставайтесь: я ухожу.

И Борис слегка поклонился: он был уязвлен. Матье проводил его до дверей и тепло сказал ему:

— До вечера, не так ли? Я буду там в одиннадцать.

Борис удрученно улыбнулся ему:

— До вечера.

Матье закрыл дверь и вернулся к Брюне.

— Так, — сказал он, потирая руки, — ты его выпроводил!

Они засмеялись. Брюне спросил:

— Может, я и перестарался. Ты не в претензии?

— Наоборот, — смеясь сказал Матье. — Он привык, и потом я рад повидаться с тобой с глазу на глаз. Брюне деловито сказал:

— Я его поторопил, так как в моем распоряжении только пятнадцать минут. Смех Матье осекся.

— Пятнадцать минут! — Он живо добавил: — Знаю, знаю, ты не распоряжаешься своим временем. Молодец, что ты вообще зашел.

— По правде говоря, я сегодня занят весь день. Но утром, когда я увидел твою физиономию, подумал: непременно нужно с ним потолковать.

— У меня была неважная физиономия?

— Да, бедолага, да. Желтоватая, малость отечная, с нервным тиком на веках и в уголках губ. Он с чувством добавил:

— Я себе сказал: не хочу, чтоб его доконали.

Матье кашлянул.

— Не думал, что у меня столь выразительное лицо... Я дурно спал, — с усилием добавил он. — У меня неприятности... знаешь, как у всех: обычные денежные затруднения.

Брюне явно не поверил.

— Если только это, тем лучше, — сказал он. — Ты непременно выпутаешься. Но у тебя скорее вид человека, обнаружившего, что он жил идеями, которые себя не оправдали.

— А, эти идеи... — сказал Матье, неопределенно махнув рукой. Он посмотрел на Брюне с покорной благодарностью и подумал: «Вот почему он пришел. У него был занятый день, уйма важных встреч, а он нашел время прийти мне на помощь». Но все‑таки было бы лучше, если бы Брюне просто захотел его повидать.

— Послушай, — сказал Брюне, — буду говорить напрямик, я пришел предложить тебе: хочешь вступить в партию? Если ты согласен, я тебя увожу с собой, и за двадцать минут все будет сделано...

Матье вздрогнул.

— В коммунистическую партию? — спросил он. Брюне засмеялся, веки его сощурились, он показал ослепительные зубы.

— Конечно, — сказал он, — ты что, хочешь, чтобы я заставлял тебя вступать в «Боевые кресты» де ля Рока?

Наступило молчание.

— Брюне, — мягко спросил Матье, — почему ты так хочешь, чтобы я стал коммунистом? Для моего блага или для блага партии?

— Для твоего блага, — ответил Брюне, — и не надо меня подозревать в том, что я стал вербовщиком коммунистической партии. Пойми: партия в тебе не нуждается. Ты представляешь для нее не более чем некоторую интеллектуальную ценность, а таких интеллектуалов у нас пруд пруди. Это ты нуждаешься в партии.

— Стало быть, это для моего блага, — повторил Матье. — Для моего блага... Послушай, — резко сказал он, — я не ждал твоего... твоего предложения, ты меня застал врасплох, но... но я хочу знать твою точку зрения. Ты понимаешь, что я живу в окружении юнцов, которые заняты только собой и восхищаются мной из принципа? Никто никогда не говорит со мной обо мне; мне и самому порой трудно себя найти. Итак? Ты думаешь, что мне необходимо активно включиться?

— Да, — уверенно сказал Брюне. — Да, тебе необходимо активно включиться. Разве ты сам этого не чувствуешь?

Матье грустно улыбнулся: он думал об Испании.

— Ты шел своей дорогой, — продолжал Брюне. — Ты сын буржуа, ты не мог прийти к нам просто так. Тебе нужно было освободиться. Но для чего свобода, как не для того, чтобы активно включиться? Ты положил тридцать пять лет на то, чтобы очистить себя, а результат — пустота. Ты странный человек, — заметил он с дружеской улыбкой. — Ты живешь в воздухе, ты обрубил свои буржуазные корни, у тебя никакой связи с пролетариатом, ты паришь, ты абстрактность, вечно отсутствуешь. Но это не может нравиться тебе постоянно.

— Да, — сказал Матье, — это нравится недолго. Он подошел к Брюне и потряс его за плечи, он сильно его любил.

— Ах ты, чертов зазывала, — сказал он ему, — проститутка ты этакая. Мне доставляет удовольствие, что ты мне все это говоришь.

Брюне рассеянно ему улыбнулся: он продолжил свою мысль:

—Ты отказался от всего, чтобы быть свободным. Сделай еще один шаг, откажись от самой своей свободы — и все тебе воздается сторицей.

— Ты говоришь, как поп, — смеясь, сказал Матье. — Нет, но серьезно, старик, это не было бы с моей стороны жертвой. Поверь, мне хорошо известно, что я обрету все: плоть, кровь, подлинные страсти. Знаешь, Брюне, я кончил тем, что потерял чувство реальности: ничто мне не кажется абсолютно подлинным.

Брюне не ответил: он размышлял. У него было тяжелое, обрюзгшее лицо кирпичного цвета, рыжие ресницы, очень светлые и очень длинные. Он был похож на пруссака. Каждый раз, видя его, Матье испытывал нечто вроде беспокойного любопытства, сосредоточившегося в ноздрях, он осторожно втягивал воздух, ожидая ощутить острый звериный запах. Но у Брюне не было запаха.

— Вот ты реален, — сказал Матье. — То, к чему ты прикасаешься, имеет подлинный вид. С тех пор, как ты у меня в комнате, она мне кажется вполне реальной и вызывает отвращение.

Он быстро добавил:

— Ты человек.

— Человек? — удивленно переспросил Брюне. — Ну разумеется. Но что ты хочешь этим сказать?

— Ничего, кроме того, что сказал: ты избрал для себя участь человека.

И про себя Матье подумал: «Да, человека. С крепкими, немного напряженными мышцами, человека, мыслящего суровыми лапидарными истинами, человека уравновешенного, замкнутого, уверенного в себе, земного, не подчиняющегося ни ангельским искушениям искусства, ни искусам психологии и политики. Сплошной человек, ничего, кроме человека». Матье в его присутствии чувствовал себя некрасивым, постаревшим, неладно скроенным, обуреваемым всеми смехотворными наваждениями. Он подумал: «А вот я на человека мало похож».

Брюне встал и подошел к Матье.

— Ну так поступай так же, как я, — сказал он, — кто тебе мешает? Ты что, воображаешь, будто сможешь всю жизнь прожить ни тем ни сем?

Матье в нерешительности посмотрел на него.

— Конечно, — сказал он, — конечно. Если я что‑то и выберу, то только вас, третьего не дано.

— Третьего не дано, — повторил Брюне. Он немного подождал и спросил: — Так что?

— Дай мне собраться с духом, — сказал Матье.

— Собирайся, — сказал Брюне, — но поторопись, завтра ты постареешь, у тебя сложатся маленькие привычки, и ты станешь рабом своей свободы. А может, постареет и весь мир.

— Не понимаю, — признался Матье.

Брюне посмотрел на него и выпалил:

— В сентябре будет война.

— Ты смеешься? — сказал Матье.

— Можешь мне поверить, англичане это знают, и французское правительство уже предупреждено: во второй половине сентября немцы вторгнутся в Чехословакию.

— Эти сведения... — поморщился Матье.

— Ты что, ничего не понимаешь? — возмутился Брюне. Но тут же осекся и добавил помягче: — Действительно, если б ты понимал, мне бы не приходилось ставить точки над i. Так слушай, ты такое же пушечное мясо, как и я. Представь себе, что ты откуда‑то приехал в страну, где сейчас находишься: та рискуешь лопнуть, как пузырь, за тридцать пять лет ты проспал свою жизнь, и в один прекрасный день какая‑нибудь граната взорвет твои сновидения, и ты умрешь, не проснувшись. Ты был абстрактным служащим, ты будешь смехотворным воителем и погибнешь, ничего не поняв, только ради того, чтобы господин Шнейдер сохранил свои дивиденды на заводах «Шкоды».

— А ты? — спросил Матье. И, улыбаясь, добавил: — Боюсь, старина, что марксизм не уберегает от пуль.

— Я боюсь того же, — сказал Брюне. — Знаешь, куда меня пошлют? За линию Махино: это стопроцентная мясорубка.

— В чем же дело?

— Это отнюдь не осознанная необходимость. Но теперь ничто не может отнять смысл у моей жизни и не помешает ей стать судьбой.

Он тут же живо добавил:

— Впрочем, как и у жизни всех моих товарищей. Можно было подумать, что он опасается проявить чрезмерную гордыню. Матье не ответил, он вышел на балкон, облокотился о перила и подумал: «Он хорошо сказал». Брюне был прав: его жизнь стада судьбой. Его возраст, его класс, его эпоху — все это он принял, за все взял на себя ответственность, он выбрал свинцовую палку правых молодчиков, которая ударит его в висок, немецкую гранату, которая разорвет его в клочки. Он активно включился, он отказался от своей свободы, теперь это только солдат и ничего больше. И ему тут же все вернули, даже его свободу. «Он свободнее меня: он живет в согласии с самим собой и в согласии с партией». Он был здесь, такой подлинный, с подлинным вкусом табака во рту; цвета и формы, которые он видел, были более реальными, более плотными, чем цвета и формы, которые мог видеть Матье, и в то же мгновение он воспарял над земной твердью, страдая и сражаясь вместе с пролетариями всех стран. «В это мгновение, в это самое мгновение есть люди, в упор стреляющие друг в друга где‑то в предместье Мадрида, есть австрийские евреи, в муках погибающие в концлагерях, есть китайцы среди руин Нанкина, а я здесь, такой свеженький и живой, я чувствую себя совершенно свободным, через пятнадцать минут я возьму шляпу и пойду гулять в Люксембургский сад. Он повернулся к Брюне, с горечью посмотрел на него и подумал: «Я человек безответственный».

— Валенсию бомбили, — вдруг сказал он.

— Знаю, — ответил Брюне. — Во всем городе не было ни одного орудия ПВО. Бомбы сбросили на рынок.

Он не сжал кулаки, не изменил спокойного тона, немного сонной манеры речи, но тем не менее это именно на него сбросили бомбы, убили именно его братьев и сестер, именно его детей. Матье уселся в кресло. «Твои кресла действуют развращающе». Он вскочил и присел на угол стола.

— Ну? — спросил Брюне.

У него был такой вид, будто он Матье подстерегал.

— Тебе повезло, — сказал Матье.

— Повезло, что я коммунист?

— Да.

— Ну, ты даешь! Просто это дело выбора.

— Знаю. Тебе повезло, что ты смог выбрать.

Лицо Брюне сразу стало жестким.

— Это означает, что тебе не повезет?

Ну вот, необходимо отвечать. Он ждет: да или нет. Вступить в партию, придать смысл жизни, сделать выбор, стать человеком, действовать, верить. Это было бы спасением. Брюне не сводил с него глаз.

— Ты отказываешься?

— Да, — с отчаянием ответил Матье, — да, Брюне, я отказываюсь.

Он подумал: «Он пришел предложить мне лучшее, что у него есть». И добавил:

— Знаешь, это не окончательное решение. Может быть, позже...

Брюне пожал плечами.

— Позже? Если ты рассчитываешь на внутреннее озарение, чтобы решиться, то рискуешь прождать всю жизнь. Ты, может, думаешь, что я был так уж убежден, когда вступил в коммунистическую партию? Убеждение возникает потом.

Матье грустно улыбнулся.

— Знаю‑знаю: стань на колени, и ты уверуешь. Может, ты и прав. Но я хочу сначала поверить.

— Конечно, — нетерпеливо сказал Брюне. — Вы, интеллектуалы, все одинаковы: все трещит по швам, все рушится, скоро винтовки начнут стрелять сами, а вы в полном спокойствии, вы хотите сначала убедиться наверняка. Эх, если б ты только смог увидеть себя моими глазами, то понял бы, что время поджимает.

— Согласен, время поджимает, но что из того? Брюне возмущенно хлопнул себя по ляжке.

— Вот оно! Ты делаешь вид, будто сожалеешь о своем скептицизме, но продолжаешь за него держаться. В нем твой нравственный комфорт. Когда ему что‑то угрожает, ты упрямо за него цепляешься, как твой брат цепляется за деньги.

Матье коротко спросил:

— Разве у меня сейчас упрямый вид?

— Я так не сказал...

Наступило молчание. Брюне, казалось, смягчился. «Если бы он мог меня понять», — подумал Матье. Он сделал усилие: убедить Брюне — это единственное средство убедить самого себя.

— Мне нечего защищать: я не горжусь своей жизнью, у меня нет ни гроша. Моя свобода? Она меня тяготит: уже многое годы я свободен неизвестно зачем. Я горю желанием сменить свободу на уверенность. Я не просил бы ничего лучшего, как только работать с вами, это бы меня изменило, мне необходимо немного забыть о себе. И потом, я думаю, как и ты, что не дорос до человека, пока не нашел того, за что готов умереть.

Брюне поднял голову.

— Ну так как? — спросил он почти весело.

— Ты же видишь: я пока не могу активно включиться, у меня недостаточно причин для этого. Как вы, я возмущен теми же людьми, теми же событиями, но возмущен явно недостаточно. Ничего не могу с этим поделать. Если я примусь дефилировать, подняв кулак и распевая «Интернационал», и скажу, что этим удовлетворен, я себе солгу.

Брюне принял свой самый громоздкий, самый крестьянский вид, сейчас он походил на башню. Матье в отчаянии посмотрел на него.

— Ты меня понимаешь, Брюне? Скажи, ты меня понимаешь?

— Не знаю, хорошо ли я тебя понимаю, но, как бы то ни было, ты не должен оправдываться, никто тебя не обвиняет. Ты бережешь себя для более благоприятного случая, это твое право. Желаю, чтобы он представился как можно раньше.

— Я тоже этого желаю.

Брюне с любопытством посмотрел на него.

— Ты в этом уверен?

— Да.

— Да? Ну что ж, тем лучше. Только боюсь, что случай представится не скоро.

— Я себе тоже говорил это, — признался Матье. — Я говорил себе, что он, быть может, никогда не представится или представится слишком поздно, а возможно, такого случая вообще не существует.

— И что тогда?

— Тогда я буду жалким субъектом. Вот и все.

Брюне встал.

— Да, — сказал он, — да... Ну что ж, старик, все же я рад, что повидал тебя.

Матье тоже встал.

— Ты... что же, вот так и уйдешь? У тебя найдется еще минутка?

Брюне посмотрел на часы.

— Я уже опаздываю.

Наступило молчание. Брюне вежливо ждал. «Нельзя его отпустить вот так, нужно с ним еще потолковать», — подумал Матье. Но не нашелся, что сказать.

— Не нужно на меня сердиться, — поспешно проговорил он.

— Да я на тебя и не сержусь, — заверил его Брюне. — Тебя никто не принуждает думать, как я.

— Это неправда, — огорченно сказал Матье. — Я вас всех слишком хорошо знаю: вы считаете, что все обязаны думать, как вы, а несогласных с вами считаете негодяями. Ты меня принимаешь за негодяя, но не хочешь мне в этом признаться, потому что считаешь мой случай безнадежным.

Брюне слабо улыбнулся.

— Я не считаю тебя негодяем, — сказал он. — Просто ты освободился от своего класса меньше, чем я думал. Говоря это, он подошел к двери. Матье сказал ему:

— Ты даже не можешь представить себе, как я тронут, что ты зашел ко мне и предложил свою помощь только потому, что сегодня утром у меня была скверная физиономия. Ты прав, знаешь, мне нужна помощь. Только я хотел бы именно твоей помощи, твоей, а не Карла Маркса. Я хотел бы часто тебя видеть и говорить с тобой, разве это невозможно?

Брюне отвел взгляд.

— Я бы тоже хотел, — сказал он, — но у меня мало времени.

Матье подумал: «Все очевидно. Сегодня утром он пожалел меня, а я не оправдал его жалости. Теперь мы снова чужие. Я не имею права на его время». Он невольно выговорил:

— Брюне, разве ты все забыл? Ты был моим лучшим другом.

Брюне играл дверной щеколдой.

— А почему же, по‑твоему, я пришел? Если б ты принял мое предложение, мы могли бы работать вместе...

Они замолчали. Матье подумал: «Он спешит, ему не терпится уйти». Брюне, не глядя на него, добавил:

— Я все еще привязан к тебе. К твоему лицу, к твоим рукам, к твоему голосу, и, потом, у нас есть общие воспоминания. Но это, в сущности, неважно: мои единственные друзья — это товарищи по партии, с ними у меня все общее.

— И ты думаешь, между нами нет больше ничего общего? — спросил Матье.

Брюне, не отвечая, поднял плечи. Матье достаточно было сказать слово, только одно слово, и он снова обрел бы дружбу Брюне, а с нею и смысл жизни. Это манило к себе, как сон. Матье резко выпрямился.

— Не смею тебя больше задерживать, — сказал он. — Если выпадет время, заходи.

— Конечно, — отозвался Брюне. — Изменишь мнение, дай знать.

— Разумеется.

Брюне открыл дверь. Он улыбнулся Матье и удалился.

Матье подумал: «Это был мой лучший друг».

Брюне ушел. Он шагал по улицам вразвалку, как моряк, и улицы, одна за другой, обретали реальность. Но комната утратила реальность вместе с его уходом. Матье посмотрел на свое зеленое развращающее кресло, на стулья, на зеленые шторы и подумал: «Он больше не будет сидеть на моих стульях, он больше не будет смотреть на мои шторы, покручивая сигарету», комната теперь была не более чем пятном зеленого света, подрагивавшим, когда мимо проезжали автобусы. Матье подошел к окну и облокотился на подоконник. Он думал: «Я не мог согласиться», его развращающая комната стояла позади него, как стоячая вода, а он держал голову над водой и смотрел на улицу, думая: «Так это правда? Это правда, что я не мог согласиться?» Вдалеке девочка прыгала через скакалку, скакалка взлетала над ее головой, как петля, и стегала землю под ее ногами. Летнее послеполуденное время; свет лег на улицы и на крыши, застывший и холодный, как вечная истина. «А правда ли, что я негодяй?» Кресло зеленое, скакалка похожа на петлю: это неоспоримо. Но, когда речь идет о людях, всегда можно спорить, все, что они делают, можно объяснять, как хочется, так или этак. Я отказался, потому что хочу оставаться свободным, — вот и все. И еще: я струсил, я люблю свои зеленью шторы, я люблю вечером подышать свежим воздухом на своем балконе, я не хотел бы, чтобы это изменилось; мне нравится возмущаться капитализмом, но я не хотел бы, чтоб его уничтожили, ведь тогда у меня не будет больше предлогов для возмущения, мне нравится говорить «нет», только «нет», и я боюсь, что люди попытаются вправду построить более пригодный для жизни мир, потому что мне нечего будет тогда сказать, кроме «да», и мне придется поступать, как другие. Снизу или сверху: кто будет решать? Брюне решил: он считает меня негодяем. Жак тоже. Даниель тоже; все они пришли к одному: я негодяй. Этот бедный Матье, он пропал, он негодяй. А что могу сделать я — один против всех? Нужно решить, но что я решаю? Когда он только что сказал, что я не негодяй, он думал, что искренен, горький энтузиазм пронизывал его сердце. Но кто еще смог бы сохранить под этим светом хоть махонькую частицу энтузиазма?» Это был свет заката надежды, он увековечивал все, чего касался. Девочка вечно будет прыгать через скакалку, скакалка будет вечно взлетать над ее головой и вечно бить под ее ногами о тротуар, Матье будет вечно на нее смотреть. Зачем прыгать через скакалку? Зачем? Зачем стремиться к свободе? Под этим же светом в Мадриде, в Валенсии люди стоят у окон и смотрят на пустынные и вечные улицы, наверное, они говорят себе: «Зачем? Зачем продолжать борьбу?» Матье вернулся в комнату, но свет последовал за ним. Мое кресло, моя мебель. На столе лежало пресс‑папье в форме краба. Матье взял его за панцирь так, как будто он был живым. «Мое пресс‑папье». Зачем? Зачем? Он положил краба на стол и сказал себе: «Я ничтожество».

IX

Было шесть часов; выходя из своего бюро, Даниель взглянул на себя в холле в зеркало, подумал: «Сейчас начнется!» — и испугался. Он пошел по улице Реомюр: здесь можно было спрятаться, это был зал под открытым небом, зал потерянных шагов. Вечер опорожнил деловые здания, стоящие по обе его стороны; не было никакого желания оказаться за их темными стеклами. Высвобожденный взгляд Даниеля тек прямо между этими дырявыми утесами вплоть до пятна неба, розового, застывшего, стиснутого вдали домами.

Но не так‑то легко было спрятаться. Даже для улицы Реомюр он слишком приметен; высокие нарумяненные девки, выходя из магазинов, бросали на него зазывные взгляды, и он чувствовал себя голым. «Шлюхи», — процедил он сквозь зубы. Он боялся вдохнуть их запах: сколько бы женщина ни мылась, от нее всегда несет. К счастью, женщины встречались сегодня нечасто: эта улица была не для них, а мужчины не обращали на него внимания, они на ходу читали газеты, или с усталым видом протирали стекла очков, или же озадаченно улыбались в пустоту. Это была настоящая толпа, хоть и немноголюдная, она двигалась медленно, непреклонно, как судьба, казалось, толпа расплющивала его. Даниель пошел в ногу с этой медленной вереницей, он позаимствовал у этих людей сонную улыбку, смутную и угрожающую суть, он потерял себя; в нем только отзывался глухой гул лавины, он был всего лишь отмелью забытого света: «Я слишком рано приду к Марсель, у меня есть еще время немного пройтись».

Даниель выпрямился, напряженный и недоверчивый: он снова нашел себя, он никогда не мог потерять себя надолго. «У меня есть еще время немного пройтись». Это означало: «Сейчас я пойду на благотворительный праздник». Даниелю давно уже не удавалось обмануть себя. Но зачем? Он хотел пойти на праздник. Что ж, он пойдет. Он пойдет, потому что не имеет ни малейшего желания отказаться от него: «Сегодня утром — кошки, потом визит Матье, после этого четыре часа постылой работы, а вечером —Марсель, это невыносимо, я могу хоть немного возместить свои убытки».

Марсель — это болото. Она позволяла поучать себя часами, она говорила: да, да, всегда да, мысли увязали в ее мозгу, она существовала только по видимости. Приятно некоторое время потешаться над дураками: отпускаешь бечевку, и они взмывают в воздух, огромные и легкие, как надувные слоны. Потом потянешь за бечевку, и они возвращаются и стелются вровень с землей, возбужденные и оторопевшие, они пританцовывают неуклюжими прыжками при каждом подергивании бечевы, но дураков нужно часто менять, иначе все кончается отвращением. К тому же сейчас Марсель протухла, в ее комнате будет невозможно дышать. Уже и раньше он не мог, входя туда, не принюхиваться. Вроде ничем не пахло, но он никогда не был в этом до конца уверен, в глубине его бронхов постоянно гнездилось некое беспокойство, часто это вызывало приступ астмы. «Я пойду на праздник». Ему нечего перед собой оправдываться, это совершенно невинно: он просто хотел посмотреть на уловки гомосексуалистов, когда они «клеили» кого‑нибудь. Благотворительный праздник на Севастопольском бульваре был знаменит в своем роде, это там инспектор Министерства финансов Дюра подцепил потаскуху, которая его убила. Голубые, фланирующие перед игровыми автоматами в ожидании клиента, были гораздо забавнее, чем их собратья с Монпарнаса: партнеры на случай, маленькие, неотесанные мужланы, грубые и наглые, с хриплыми голосами и бесшумными повадками, они просто искали возможности поужинать и заработать десять франков. А при виде пассивных можно было вообще помереть со смеху: ласковые и шелковистые, с медовыми голосами и каким‑то отблеском во взгляде, мерцающим, покорным и неуловимым. Даниель не выносил их смирения, у них постоянно был вид сознающихся пред судом в своей вине. Ему хотелось их избить; человека, который сам себя приговаривает, всегда хочется принизить, чтобы еще больше его уличить, чтобы начисто уничтожить то скудное достоинство, которое он еще сохранил. Обычно Даниель прислонялся к столбу и пристально их рассматривал, пока они жалко паясничали под ленивыми, насмешливыми взглядами своих молодых любовников. Голубые принимали его за полицейского агента или сутенера какого‑нибудь из юнцов: он портил им все удовольствие.

Даниель внезапно заторопился и ускорил шаг: «Вот уж сейчас посмеюсь!» Горло его пересохло, сухой воздух пылал вокруг. Он больше ничего не видел, перед его глазами было пятно, воспоминание о плотном световом сгустке цвета яичного желтка; пятно его отталкивало и притягивало одновременно, он испытывал необходимость видеть этот отвратительный свет, но тот был еще далеко, витая меж низких стен, как запах погреба. Улица Реомюр исчезла, перед ним не оставалось ничего, кроме дистанции с препятствиями, людьми: это отдавало кошмаром. Однако в настоящих кошмарах Даниель никогда не доходил до конца улицы. Он повернул на Севастопольский бульвар, прокаленный под ясным небом, и замедлил шаги. Благотворительный праздник: он увидел вывеску, удостоверился, что лица прохожих ему неизвестны, и вошел.

Это была длинная пыльная кишка с хмурым уродством покрытых коричневой краской стен и с запахом склада. Даниель углубился в желтый свет, который был еще докучнее и жирнее, чем обычно, ясность дня заталкивала его в глубину зала; для Даниеля это был цвет морской болезни — он напоминал ему о ночи, проведенной на пароходе, плывущем из Палермо: в пустом машинном отделении была такая же дымка желтого цвета, иногда она ему снилась, и он в испуге просыпался, радуясь, что снова обрел сумерки. Часы, которые он проводил на благотворительном празднике, казались ему отмеренными глухими ударами какого‑то механизма.

Вдоль стен были расставлены грубые ящики на четырех ножках, игровые автоматы, Даниель знал их все: спортивная команда, шестнадцать деревянных раскрашенных фигурок на длинных медных стержнях, игроки в поло, автомобиль из жести, который нужно было запускать по матерчатой дороге между полями и домами, пять черных кошечек на крыше под лунным светом — их сбивали пятью выстрелами из револьвера, электрический карабин, автоматы для раздачи шоколадных конфет и духов. В глубине зала стояли в три ряда кинопроекторы, названия фильмов были обозначены большими черными буквами: «Молодая семья», «Озорные горничные», «Солнечная ванна», «Прерванная первая брачная ночь». Какой‑то господин с моноклем украдкой подошел к одному из проекторов, опустил двадцать су в щелку и с неуклюжей поспешностью приник глазами к линзе. Даниель задыхался: из‑за этой пыли, из‑за этого пекла, к тому же по другую сторону стены начали мерно и громко стучать. Слева он увидел приманку: бедно одетые молодые люди сгруппировались вокруг двухметрового манекена боксера‑негра, у которого посреди живота была вмонтирована кожаная подушечка с циферблатом. Их было четверо: блондин, рыжий и два брюнета; они сняли пиджаки, засучили рукава рубашек, обнажив худые ручонки, и как одержимые колотили кулаками по подушечке. Стрелка на циферблате показывала силу их ударов. Они исподтишка скосили глаза на Даниеля и стали колотить еще пуще. Даниель свирепо посмотрел на них, чтоб они поняли, что ошиблись адресом, и повернулся к ним спиной. Справа, у кассы, он увидел стоящего против света высокого юношу с землистым лицом, на нем были сильно помятый костюм, исподняя рубашка, мягкие туфли. Он определенно не был голубым, как остальные, во всяком случае, казалось, что он с ними не знаком. Видимо, он забрел сюда случайно. Даниель дал бы голову на отсечение, что это так. Юноша был всецело поглощен созерцанием механического крана. Немного погодя, привлеченный, без сомнения, электролампой и фотоаппаратам, лежащими за стеклами на кучке конфет, он бесшумно приблизился и с хитрым видом опустил монету в щель, затем немного отступил и, повидимому, снова погрузился в размышления, задумчиво поглаживая крылья носа. Даниель почувствовал хорошо знакомую дрожь, пробежавшую по затылку. «Этот малый очень себя любит, — подумал он, — он любит ласкать себя». Такие люди были самыми притягательными, самыми романтичными: эти едва заметные движения разоблачали бессознательное кокетство, сокровенную и тихую любовь к себе самому. Юноша быстро схватил две ручки игрового автомата и со знанием дела стал ими маневрировать. Кран сделал оборот, скрежеща шестеренками и старчески подрагивая, весь механизм сотрясался. Даниель желал ему выиграть по крайней мере лампу, но окошко выплюнуло лишь горсть разноцветных конфет, похожих на мелкие засохшие фасолины. Однако юноша не казался разочарованным, он пошарил в кармане и извлек другую монету. «Это его последние гроши, — решил Даниель, — он не ел со вчерашнего дня, но не стоит воображать, будто это худое очаровательное тело, занятое только собой, ведет таинственную жизнь, полную лишений, свободы и надежды. Не сегодня, не здесь, в этом аду, под этим зловещим светом, с глухими ударами о стену; ведь я дал себе зарок сдержанности». И все‑таки Даниель отлично понимал, как можно попасть в зависимость к одному из этих автоматов, мало‑помалу проигрывать на нем деньги и пытать удачу снова и снова, с горлом, пересохшим от ярости и головокружения. Даниель понимал это наваждение; никелированный кран начал вращаться осторожно и прихотливо: казалось, он доволен самим собой. Даниель испугался: он сделал шаг вперед, он горел желанием положить ладонь на руку молодого человека — он уже ощущал прикосновение к выношенной, шероховатой ткани — и сказать ему: «Не играйте больше». Кошмар сейчас начнется снова, в нем будет привкус вечности, и этот триумфальный тамтам по другую сторону стены, и этот прилив смиренной грусти, поднимавшейся в нем, бесконечной и привычной грусти, которая все затопляет, ему понадобятся дни и ночи, чтобы избавиться от нее. Но тут вошел какой‑то господин, и Даниель почувствовал себя освобожденным: он выпрямился и подумал, что сейчас рассмеется. «Вот это мужчинка!» — подумал он. Он был немного растерян, но все‑таки доволен: ведь он удержался от соблазна.

Господин стремительно приблизился; он шел, сгибая колени, туловище его было неподвижно. «Понятно, — подумал Даниель, — ты носишь корсет». Ему могло быть лет пятьдесят, он был чисто выбрит, лицо смешливое; можно было подумать, что жизнь любовно сделала ему массаж: персиковый цвет лица под седыми волосами, прекрасный флорентийский нос и взгляд более суровый, более близорукий, чем надо бы, — взгляд, сообразный обстоятельствам. Его приход вызвал оживление: четыре парня разом обернулись с одинаковым видом порочной невинности, потом стали снова наносить удары по брюху негра, но без прежнего энтузиазма. Господин исподволь бросил на них быстрый взгляд, пожалуй, слишком придирчивый, потом отвернулся и подошел к спортивному автомату. Он покрутил железные стержни и с улыбчивым старанием стал рассматривать фигурки, будто сам забавлялся капризом, приведшим его сюда. Даниель увидел эту улыбку и ощутил острую боль в сердце, все эти нарочитые повадки внушали ему ужас, захотелось ретироваться. Но только на мгновение: нереализованный порыв, он уже привык к подобным минутам. Даниель удобно облокотился о столб и устремил на господина тяжелый взгляд. Справа от него молодой человек в исподней сорочке вынул из кармана третью монету и в третий раз начал свой молчаливый танец вокруг автомата с краном.

Красивый господин наклонился над спортивным автоматом и провел указательным пальцем по хрупким телам маленьких деревянных игроков: он не собирался снизойти до прямых авансов, он, несомненно, отдавал себе отчет, что со своей седой шевелюрой и светлой одеждой он достаточно заманчивая тартинка, чтобы слетелись все эти молодые мушки. И действительно, после нескольких мгновений шушуканья от группы отделился блондинчик; набросив на плечи пиджак, он вразвалочку приблизился к господину, держа руки в карманах. Вид у него был безмолвный и искательный, под густыми бровями собачий взгляд. Даниель с отвращением посмотрел на его пухлый зад, на толстые, но бледные крестьянские щеки, уже испачканные редкой щетиной. «Плоть женщины, — подумал Даниель, — размешивается, как тесто». Господин уведет его к себе, выкупает с мылом, может быть, надушит. При этой мысли Даниеля снова охватил приступ бешенства. «Подонки», — прошептал он. Молодой человек остановился в нескольких шагах от господина и, в свою очередь, притворился, будто рассматривает автомат. Оба они наклонились над стержнями и, не глядя друг на друга, с интересом их изучали. Через некоторое время молодой человек наконец решился: он нажал кнопку и быстро повернул один из стержней. Четыре маленьких игрока описали полукруг и остановились головой вниз.

— Вы умеете играть? — спросил господин миндальным голосом. — А вы мне не объясните как? Я не понимаю!

— Кладете двадцать су, потом тянете. Выскакивают шарики, их надо послать в лунки.

— Но нужно играть вдвоем, не так ли? Я пытаюсь послать мяч в цель, а вы должны мне мешать, да?

— Да, — сказал молодой человек. Через короткое время он добавил: — Нужно стоять по разные стороны, один здесь, другой там.

— Хотите сыграть со мной партию?

— Хочу, — мгновенно отозвался молодой человек.

Они принялись играть. Господин восхитился:

— Этот молодой человек так ловок! Как ему это удается? Он все время выигрывает. Научите меня.

— Привычка, — скромно сказал юноша.

— Ага! Так вы упражняетесь! Вы, конечно, частенько приходите сюда? Мне случается сюда заходить, но я вас тут никогда не видел. Я бы вас непременно заметил, я большой физиономист, а у вас интересное лицо. Вы из Турени?

— Да, разумеется, — растерялся молодой человек. Господин прервал игру и приблизился к нему.

— Но партия не кончена, — простодушно удивился юноша, — у вас еще пять мячей.

— Да? Ну что ж, доиграем позже, — сказал господин. — Предпочитаю немного поболтать, если это вам не скучно.

Юноша приятно улыбнулся. Чтобы подойти к нему, господин должен был обойти автомат. Он поднял голову, облизал тонкие губы и наткнулся на взгляд Даниеля. Тот нахмурился, господин быстро отвел глаза и явно забеспокоился, он потирал руки с видом пастора. Юноша ничего этого не видел; открыв рот, с пустым и почтительным взглядом он ждал, когда к нему обратятся. Наступило молчание, потом господин приторным тоном, не глядя на него, приглушенно заговорил. Напрасно Даниель напрягал слух, он различил только слова «вилла» и «бильярд». Юноша утвердительно кивнул.

— Заметано! — сказал он громко.

Господин не ответил и бросил украдкой взгляд на Даниеля. Даниель почувствовал, как на него накатил сухой и сладостный гнев. Он знал все дальнейшие ритуалы: они распрощаются, и господин удалится деловой походкой. Мальчишка небрежно присоединится к своим дружкам, раз‑другой стукнет негра по животу, потом, в свою очередь, вяло попрощается и уйдет, волоча ноги; Даниель решил идти за ним. И старик, который наверняка прохаживается взад‑вперед по соседней улице, увидит Даниеля, наступающего на пятки его молодому красавцу. Какой момент? Даниель наслаждался им заранее, он пожирал глазами судии нежное и увядшее лицо своей жертвы, его руки дрожали, его счастье было бы абсолютным, не будь у него в горле так сухо, он изнемогал от жажды. Коли обстоятельства будут благоприятствовать, он изобразит налет полиции нравов, запишет фамилию старика и заставит его трепетать от ужаса: «А если он потребует предъявить удостоверение инспектора, я покажу ему свой пропуск в префектуру».

Кто‑то робко его окликнул:

— Здравствуйте, месье Лолик. Даниель вздрогнул: «Лолик» было его прозвище, которым он временами пользовался. Он быстро обернулся.

— Что ты тут делаешь? — строго спросил он. — Ведь я запретил тебе здесь появляться.

Это был Бобби. Даниель устроил его к знакомому аптекарю. Бобби стал тучным и жирным, на нем был новый костюм из магазина готового платья, он не представлял больше никакого интереса. Бобби склонил голову к плечу, как бы изображая ребенка; он молча смотрел на Даниеля с невинной и лукавой улыбочкой, будто говорил: «Ку‑ку, вот и я!» Эта улыбочка довела ярость Даниеля до предела.

— Ты будешь отвечать? — спросил он.

— Я вас ищу уже три дня, месье Лолик, — монотонно проговорил Бобби, — я не знаю вашего адреса. Но я сказал себе: рано или поздно месье Даниель наверняка заглянет сюда...

«Рано или поздно! Грязная тварь!» Он смел судить о Даниеле, что‑то там предполагать. «Он воображает, будто знает меня, будто может мною управлять». Делать было нечего, разве что раздавить его, как слизняка: образ Даниеля был впечатан в мозгу за этим узким лбом и останется там навсегда. Превозмогая отвращение, Даниель почувствовал себя связанным с этой дряблой, но живой уликой: он продолжал существовать в сознании Бобби.

— Как ты безобразен! — сказал он. — Ты разжирел, и, потом, этот костюм тебе не идет, где ты его откопал? Как ужасно выпирает твоя вульгарность, едва ты пытаешься вырядиться.

Бобби не выказывал признаков смущения: вытаращив глаза, он умильно смотрел на Даниеля и продолжал ухмыляться. Даниель ненавидел это привычное терпение бедняка, эту вялую и вязкую резиновую улыбку: даже если дать ему в зубы, она останется играть на его окровавленных губах. Даниель украдкой бросил взгляд на импозантного господина и с досадой убедился, что тот уже не стесняется: он склонился над блондином и, благодушно смеясь, вдыхал запах его волос: «Так и должно быть, — с яростью подумал Даниель. — Он видит меня с этим Бобби, он принимает меня за своего, я замаран». Он ненавидел это писсуарное братство. «Они воображают, что все такие. Скорее я убью себя, чем буду походить на этого старика!»

— Что ты хочешь? — грубо спросил он. — Я спешу. И потом, отойди немного, от тебя шибает в нос бриллиантином.

— Извините, — неторопливо произнес Бобби, — вы стояли, облокотившись о столб, и мне показалось, что вы вовсе не спешите, потому‑то я и позволил себе...

— Ой! Рассказывай, рассказывай! — сказал, расхохотавшись, Даниель. — Ты что, купил себе готовый язык вместе с костюмом?

Эти сарказмы скользнули, не проникая в Бобби: запрокинув голову, он смотрел в потолок через полузакрытые веки с видом смиренного наслаждения. «Он мне понравился, потому что похож на кошку». При этой мысли Даниель не смог подавить приступ бешенства: ну что ж, да, однажды! Бобби ему понравился только однажды! Разве это даровало ему какие‑то вечные права?

Пожилой господин взял за руку своего молодого друга и поотечески не отпускал ее. Потом он с ним попрощался, потрепав его по щеке, бросил понимающий взгляд на Даниеля и ушел легкой танцующей поступью. Даниель показал ему язык, но тот уже повернулся спиной. Бобби засмеялся.

— Что на тебя нашло? — спросил Даниель.

— А мне смешно, как вы показали язык этой старой дуре, — сказал Бобби. Он ласково добавил: — Вы все такой же, месье Даниель, все такой же ребячливый.

— Ладно, — грозно произнес Даниель. Его охватило подозрение, и он спросил: — А что аптекарь? Ты разве больше у него не работаешь?

— Мне так не повезло, — жалобно сказал Бобби.

Даниель с отвращением посмотрел на него.

— Однако ты нагулял жирок.

Маленький блондинчик лениво вышел из зала, проходя, он слегка задел Даниеля. За ним сразу последовали три его дружка, громко смеясь, они подталкивали друг друга. «Что я здесь делаю?» — подумал Даниель. Он поискал глазами сутулые плечи и худой затылок молодого человека в нижней рубашке.

— Ну, говори, — рассеянно сказал он. — Что ты там натворил? Ты его обокрал?

— Все из‑за аптекарши, — сказал Бобби. — Я ей не понравился.

Юноши в нижней рубашке в зале больше не было. Даниель почувствовал себя усталым и опустошенным, он боялся остаться один.

— Она рассердилась, потому что я виделся с Ральфом, — продолжал Бобби.

— Я же тебе сказал, чтобы ты с ним больше не общался. Это отвратный подонок.

— Неужели следует бросать друзей, если тебе улыбнулась удача? — с негодованием спросил Бобби. — Я его видел реже, но не хотел сразу его бросать. Это вор, говорила она, я ему запрещаю появляться в аптеке. Что вы хотите, эта баба — та еще стерва. Тогда я стал встречаться с ним в другом месте, чтобы она меня не поймала. Но в аптеке есть ученик, он увидел нас вместе. Паршивый сопляк, я думаю, у него тоже есть эти склонности, — стыдливо добавил Бобби. — Сначала он лип ко мне, пока я его не послал. Я тебя еще поймаю, вот что он мне сказал на это. Так вот, он возвращается в аптеку и выкладывает, что он нас видел вместе, что мы плохо вели себя, что люди на нас оборачивались. «Ты что, забыл, — говорит хозяйка, — я запретила тебе его видеть, или ноги твоей здесь не будет!» «Мадам, — говорю я ей, — в аптеке командуете вы, а чем я занимаюсь вне ее — не ваше дело». Бац!

Зал опустел, по ту сторону стены перестали стучать. Кассирша, высокая блондинка, встала. Мелкими шажками она подошла к автомату духов и, улыбаясь, посмотрелась в зеркало. Пробило семь.

— В аптеке командуете вы, а чем я занимаюсь вне ее — не ваше дело, — с удовольствием повторил Бобби.

Даниель встряхнулся. Он презрительно спросил Бобби:

— Значит, тебя выставили вон?

— Нет, я сам ушел, — с достоинством ответил Бобби, — я сказал ей: в таком случае я ухожу. А у меня не было ни гроша, каково? Они даже не захотели заплатить мне что положено, ну и пусть: таков уж я. Я сплю у Ральфа, я ложусь после полудня, потому что по вечерам Ральф принимает у себя светскую женщину: это его любовница. Я не ел с позавчерашнего дня. — Он ласково посмотрел на Даниеля. — Я себе сказал: попытаюсь увидеть месье Лолика, он меня поймет.

— Идиот, — сказал Даниель, — ты меня больше не интересуешь. Я лез из кожи вон, чтоб найти тебе место, а ты допрыгался — через месяц тебя вышибли. И потом, знаешь ли, не воображай, что я верю хоть половине того, что ты мне понарассказал. Ты врешь как сивый мерин.

— Можете у нее спросить, — уверял Бобби, — и убедитесь, что я говорю правду.

— Спросить? У кого?

— Да у аптекарши.

— Ни в коем случае! — отрезал Даниель. — Представляю себе, что я услышал бы! Впрочем, я для тебя больше ничего не могу сделать.

Он почувствовал себя ослабевшим и подумал: «Нужно идти», — но ноги его не слушались.

— Мы решили работать, Ральф и я... — бесстрастно сказал Бобби. — Мы задумали обзавестись собственным делом.

— И ты пришел выклянчить у меня денег на первое время? Прибереги свои россказни для других. Сколько тебе нужно?

— Вы мужчина что надо, месье Лолик! — слезливо воскликнул Бобби. — Именно так я и сказал сегодня утром Ральфу: только бы мне найти месье Лолика, увидишь, он не оставит меня в беде.

— Сколько? — повторил Даниель.

Бобби завертелся.

— Конечно, это взаймы, месье Лолик. Я вам все верну в конце следующего месяца.

— Сколько?

— Сто франков.

— Держи, — сказал Даниель, — вот пятьдесят, я их тебе дарю. И проваливай.

Бобби молча сунул купюру в карман, и они некоторое время в нерешительности продолжали стоять друг против друга.

— Убирайся, — лениво повторил Даниель. Все его тело было ватным.

— Спасибо, месье Лолик, — сказал Бобби. Он притворился, будто уходит, и вернулся.

— Если вы вдруг захотите поговорить со мной или с Ральфом, мы живем неподалеку: улица Урс, 6, на седьмом этаже. А насчет Ральфа вы ошибаетесь, знаете, он вас очень любит.

— Убирайся!

Бобби, пятясь, отступал, все еще улыбаясь, затем повернулся и исчез. Даниель подошел к крану и посмотрел на него. Рядом с фотоаппаратом и электролампой лежали два бинокля, которых он раньше не заметил. Даниель опустил двадцать су в щель автомата, наудачу нажал на кнопку. Кран опустил свои щипцы на поднос и стал нашаривать и сгребать конфеты. Даниель подставил ладонь, получил с полдюжины конфет и тут же их съел.

Солнце слегка золотило высокие черные здания, небо все еще было огненным, но мягкая смутная тень поднималась от мостовой, и люди улыбались ее ласке. Даниель испытывал адскую жажду, но пить ему не хотелось: «Так околей! Околей от жажды!» «Во всяком случае, — подумал он, — я не сделал ничего плохого». Но это было еще хуже: он разрешил Злу коснуться себя, он позволил себе все, кроме удовлетворения, у него даже не хватило мужества вкусить удовлетворения. Теперь он нес это Зло в себе, и оно щекотало его тело сверху донизу, он был заражен, он еще ощущал в глазах этот желтый отсвет и все видел окрашенным в желтое. Лучше было бы замучить себя удовольствием и доконать в себе Зло. Правда, оно непрерывно возрождается. Он резко обернулся: «Бобби способен пойти за мной, чтобы узнать, где я живу. Но как бы я хотел, чтобы он пошел за мной! Какую бы я дал ему взбучку прямо на улице!» Однако Бобби не было видно. Сегодня он раздобыл денег и теперь уже вернулся к Ральфу, на улицу Урс, 6. Даниель вздрогнул: «Если бы я мог стереть из памяти этот адрес! Если бы мне удалось его забыть...» Но зачем? Нет, он не будет стараться его забыть.

Вокруг него довольные собой люди оживленно болтали. Какой‑то господин сказал жене: «Э‑э, да это было еще до войны. В 1912 году. Нет. В 1913‑м. Я был тогда у Поля Люка». Вот она, умиротворенность. Умиротворенность порядочных людей, честных людей, людей доброй воли. Почему их воля добрая, а не моя? С этим ничего не поделать, так уж оно есть. Нечто в этом небе, в этом золотом свете, в этой природе решило именно так. Они это знали, они знали, что правы, что Бог, если Он существует, на их стороне. Даниель посмотрел на лица прохожих: как они непреклонны, несмотря на видимую непринужденность. Достаточно одного знака — и эти люди бросятся на него и разорвут в клочья. И небо, свет, деревья, вся природа были бы с ними, как всегда, солидарны: Даниель — человек злой воли.

У двери дышал воздухом жирный и бледный консьерж с покатыми плечами. Даниель увидел его издалека и подумал: «Вот оно — Добро». Консьерж сидел на стуле, сложив на животе руки, как Будда; он смотрел на прохожих и время от времени одобрял их легким кивком головы. «Быть бы на его месте», — с завистью подумал Даниель. У него наверняка подобострастное сердце. Кроме того, он чувствителен к природным явлениям: жаре, холоду, свету и сырости. Даниель остановился: он был заворожен глупыми длинными ресницами, нравоучительной хитринкой этих припухлых щек. Одичать до того, чтобы стать только этим, дойти до того, чтобы иметь в черепе только белое тесто с легким запашком крема для бритья. «Такой спит ночи напролет», — подумал он. Даниель не знал в точности, хочет ли он его убить или же проскользнуть в тепло этой гармоничной души. Толстяк поднял голову, и Даниель продолжил свой путь: «При той жизни, которую я веду, я определенно вскоре превращусь в дебила».

Борис зло покосился на свой портфель, он не любил таскать его с собой, это придавало ему вид адвоката. Но его скверное настроение тут же растаяло, ибо он вспомнил, что взял портфель с определенной целью: он ему еще как пригодится. Борис отдавал себе отчет, что подвергается риску, но он был совершенно спокоен, просто более обычного оживлен. «Если я дойду до края тротуара за тринадцать шагов...» Он сделал тринадцать шагов и точно остановился на краю тротуара, но последний шаг был значительно длиннее других: Борис сделал выпад, как фехтовальщик. «Впрочем, это не имеет никакого значения: как бы то ни было, дело в шляпе». Это не могло не получиться, это было почти научно, просто удивительно, что никто не додумался до этого раньше. «Это потому, — подумал он строго, — что все воры — кретины». Он пересек мостовую и уточнил свою мысль: «Им давно следовало бы организовать профсоюз, как это сделали иллюзионисты». Ассоциации для распространения и совместного употребления технических средств —вот чего им недостает. С представительством, наградами, традициями и профессиональной библиотекой. А также с фильмотекой, фильмы которой показывали бы наиболее сложные движения. Каждое новое усовершенствование снималось бы на пленку, теория была бы записана на пластинки и носила бы имя ее создателя: все классифи цировалось бы по категориям, например, кража с витрины по «методу 1673» или по «методу Сергина», названному также «колумбовым яйцом» (потому что он прост как день, но его еще нужно найти). Борис согласился бы снять показательный фильм. «Да, — подумал он, — а потом бесплатные лекции по психологии кражи, это необходимо». Его метод основывался почти целиком на психологии. Он с удовлетворением посмотрел на одноэтажное маленькое кафе тыквенного цвета и вдруг заметил, что находится посреди Орлеанского проспекта. Поразительно, что на Орлеанском проспекте между семью и семью тридцатью вечера люди казались такими симпатичными. Конечно, многое зависело от света, это был рыжий муслин, который всем к лицу, и так приятно находиться на окраине Парижа, улицы струятся под ногами к старообразному торговому центру города, к Центральному рынку, к мрачноватым переулкам квартала Сент‑Антуан, ощущаешь себя нырнувшим в сладкую мистическую ссылку вечера и парижских предместий. У людей был такой вид, будто они вышли на улицу, чтобы только побыть вместе; они не сердятся, когда их толкают, более того, можно даже подумать, что это доставляет им удовольствие. Они глазеют на витрины с невинным, абсолютно бескорыстным восторгом. На бульваре Сен‑Мишель люди тоже смотрят на витрины, но с намерением что‑то купить. «Каждый вечер буду сюда приходить», — с энтузиазмом решил Борис. А следующим летом он снимет комнату в одном из этих четырехэтажных домов, которые выглядят, как братья‑близнецы, и напоминают о революции 48‑го года. Но если окна здесь такие узкие, спрашивается, как женщинам удавалось протискивать в них свои матрацы и швырять их на солдат. Вокруг окон было черно, как будто их измазало пламя пожара, и все же они не выглядели грустными, эти бледные фасады, испещренные черными дырочками, как грозовыми вспышками под голубым безмятежным небом. «Я смотрю на окна, — подумал Борис, — но если б я поднялся на террасу на крыше этого маленького кафе, я увидел бы зеркальные шкафы в глубине комнат, стоящие, как продолговатые вертикальные озера; толпа проходит сквозь мое тело, а я думаю о муниципальной гвардии, о золоченых решетках Пале‑Рояля 14 июля, не знаю уж почему... Что делал у Матье этот коммунист?» — вдруг подумал он. Борис не любил коммунистов, они были слишком сосредоточенными. В частности Брюне; можно подумать, что он папа римский. «Он меня выставил за дверь, — весело подумал Борис. — Скотина, он меня выставил за дверь». И вдруг на него накатило: маленький бушующий самум в голове; он почувствовал необходимость быть злым: «Матье, вероятно, заметил, что он кругом запутался, как знать, может, он вступит в компартию». Борис немного поразвлекался, перечисляя бесчисленные последствия подобного превращения. Но сразу же испугался и остановился. Безусловно, Матье не ошибался, когда Борис попытался занять определенную позицию: на занятиях по философии он проявил симпатию к коммунистам, а Матье отвратил его от них, объяснив ему, что такое свобода. Борис сразу же понял: каждый обязан делать то, что хочет, думать то, что считает нужным, отвечать только перед собой, постоянно подвергать сомнению мнения других и их самих. Борис на этом построил свою жизнь, он был до мелочей свободен, в частности, он постоянно ставил под сомнение всех, кроме Матье и Ивиш; подвергать сомнению этих двоих абсолютно бесполезно, поскольку они совершенны. Что до самой свободы, то о ней тоже не следовало себя вопрошать, ибо тогда, в итоге, перестаешь быть истинно свободным. Борис озадаченно почесал голову и задумался: откуда у него появилась эта разрушительная неуклюжесть, время от времени на него находящая? «В сущности, у меня беспокойный характер», — подумал он с веселым удивлением. Потому что, трезво смотря на вещи, Матье не ошибался, это совершенно невозможно: Матье не из тех, кто ошибается. Борис обрадовался и лихо замахал портфелем. Он также подумал, нравственно ли обладать беспокойным характером; он взвесил все «за» и «против», но запретил себе заводить свои исследования слишком далеко; он спросит об этом у Матье. Борис считал совершенно неприличным, чтобы человек его возраста претендовал на интеллектуальную самостоятельность. Он достаточно навидался в Сорбонне этих липовых умников, юных очкариков из Эколь Нормаль, всегда имеющих про запас личную теорию; как правило, они в конце концов так или иначе завирались, но и без того их теории были косноязычны и безобразны. Борис очень боялся выглядеть смешным, он не хотел нести чушь и предпочитал молчать и слыть пустоголовым, это было менее неприятно. Позже, естественно, все будет иначе, но сейчас он положится на Матье, поскольку это его профессия. И потом его всегда радовало, когда Матье при нем начинал размышлять: Матье краснел, смотрел на кончики пальцев, бессвязно бормотал, но это была честная и элегантная работа. Иногда при этом у Бориса невольно возникала какая‑нибудь идейка, и он прилагал максимум усилий, чтобы Матье этого не заметил, но тот всегда замечал, дерьмо этакое; он ему говорил: «У вас появилась какая‑то мысль?» — и забрасывал его вопросами. Борис чувствовал себя как под пыткой, он непрерывно пытался перевести разговор на другую тему, но Матье был цепким, как вошь; в конце концов Борис попадался на удочку и стоял, потупившись, но, главное, Матье после этого распекал его, он говорил: «Но это совершенная чепуха, вы мыслите, как недоумок», — как будто Борис претендовал на гениальную идею. «Дерьмо», — весело повторил Борис. Он остановился перед стеклянной витриной красивой красной аптеки и беспристрастно поглядел на свое отражение. «У меня вид человека непритязательного», — подумал он. И счел себя симпатичным. Он встал на автоматические весы и взвесился, чтобы убедиться, что со вчерашнего дня не набрал веса. Зажглась красная лампочка, механизм, хрипло присвистывая, заработал, и Борис получил картонную карточку: пятьдесят семь пятьсот. На секунду его охватило смятение. «Я набрал полкило», — подумал он. К счастью, тут он заметил, что держит портфель. Он спустился с весов и зашагал снова. Пятьдесят семь килограммов на метр семьдесят три — это неплохо. У него было преотличное настроение, и он чувствовал себя изнутри совсем бархатистым. А снаружи была витающая меланхолия уходящего дня, она оседала на нем, чуть закисая, и исподволь проникала в него рыжеватым светом и ароматами, полными сожалений. Этот день, тропический океан, отхлынувший и оставивший его в одиночестве под бледнеющим небом, был еще одним этапом, пусть и совсем маленьким, его жизни. Скоро наступит вечер, он пойдет в «Суматру», увидит Матье и Ивиш, будет танцевать. А чуть раньше, точно на стыке дня и ночи, будет эта кража, его шедевр. Он выпрямился и ускорил шаги: сыграть нужно будет очень тщательно. Из‑за этих субъектов, которые листают книги с серьезным и безобидным видом, а на деле являются частными детективами. В книжном магазине Гарбюра таких было шестеро. Борис получил точные сведения от Пикара, занимавшегося этим три дня после того, как он завалил диплом по геологии; он был к этому принужден, его родители прекратили ему помогать, но вскоре из отвращения бросил это занятие. Ему не только нужно было шпионить за клиентами, как вульгарному фараону, ему еще приказали следить за разными простаками, к примеру, за интеллигентками в пенсне, робко приближавшимися к выставленному товару; следовало хватать их за шиворот и обвинять в том, что они якобы намеревались тайком сунуть книгу в карман. Естественно, несчастные пугались до смерти, их уводили по длинному коридору в маленький темный кабинет, где под угрозой судебного разбирательства у них вымогали сто франков. Борис почувствовал себя охмелевшим: теперь он отомстит за всех; его‑то не поймают. «Большинство, — подумал он, — неспособны обеспечить успех дела, на сто ворующих — восемьдесят дилетантов». Он же действовать по‑дилетантски не будет; всего он, конечно, не знал, но то, что знал, методически изучил, так как всегда думал, что человек, работающий головой, должен, кроме всего, владеть рукомеслом, чтобы держать контакт с действительностью. Он до сих пор не получал никакой материальной выгоды от своих начинаний: он считал пустяком иметь семнадцать зубных щеток, двадцать пепельниц, компас, кочергу и респиратор. В каждом случае он считал наиболее важным моментом техническую трудность задачи. Для него было важней на прошлой неделе стянуть коробочку с лакрицей под носом у аптекаря, чем сафьяновый портфель в пустом магазине. Выгода от кражи была чисто моральной; в этом смысле Борис чувствовал себя в полном согласии со спартанцами, это была своего рода аскеза. И потом он испытывал прилив радости, когда говорил себе: «Считаю до пяти, при счете «пять» зубная паста будет в моем кармане»; горло сжималось, и наступала незабываемая минута ясности и могущества. Борис улыбнулся: он отступил от своих принципов, в первый раз движущей причиной кражи была выгода, всего через полчаса он будет владельцем этой жемчужины; оно ему необходимо... это сокровище. «Этот Тезаурус!» — сказал он себе вполголоса, ибо любил слово «тезаурус», напоминавшее ему средневековье, Абеляра, гербарий, Фауста и пояса целомудрия, выставленные в музее Клюни. «Оно будет моим, я смогу листать его в любую минуту». Тогда как до сих пор он вынужден был второпях просматривать его на прилавке, да и страницы его не были разрезаны; обычно он мог получить только отрывочные сведения. Сегодня же вечером он положит его на столик подле кровати, а завтра, проснувшись, сразу же его увидит. «А, нет, — раздраженно подумал он, — сегодня я ночую у Лолы». А может, он унесет его в библиотеку Сорбонны и время от времени, прерывая свою проверочную работу, будет туда заглядывать, чтобы восстановить силы: он пообещал себе заучивать одно или, может, даже два выражения в день; за шесть месяцев это будет шесть раз по тридцать, умноженное на два: триста шестьдесят плюс пятьсот иди шестьсот, которые он уже знает, и будет почти тысяча, как раз то, что называется хорошими средними знаниями. Он пересек бульвар Распай с легким неудовольствием. Улица Дан‑фер‑Рошро навевала на него смертную скуку, вероятно, из‑за каштанов; во всяком случае, это было никчемное место, если не считать черной красильной мастерской с кроваво‑красными шторами, жалко обвисающими наподобие двух скальпов. Борис походя бросил одобрительный взгляд на красильню и нырнул в светлую и изысканную тишину улицы. Улицы? Это всего лишь провал с домами по обе стороны. «Да, но под ней проходит метро», — подумал Борис и нашел в этом некоторое утешение, он на минуту‑другую представил себе, что идет по тонкой асфальтовой корке и она, быть может, сейчас провалится. «Нужно рассказать об этом Матье, — сказал себе Борис. — Он обалдеет». Нет. Кровь внезапно прилила к его лицу, он ему ничего не расскажет. Другое дело — Ивиш: она его понимает, а если сама и не крадет, то только потому, что не имеет по этой части таланта. Он расскажет также об этой истории Лоле, чтобы заставить ее позлиться. Но Матье не был до конца искренним. Он снисходительно посмеивался, когда Борис повествовал о своих проделках, но Борис был не очень‑то уверен, что он их одобряет. Обычно Борис спрашивал себя, в чем именно мог бы его упрекнуть Матье. Лола приходила в состояние невменяемости, но это нормально, она просто неспособна понять некоторые тонкости, к тому же она до смешного скаредна. Она говорила ему: «Ты способен обворовать родную мать; кончится тем, что ты обворуешь и меня». И он отвечал: «Что ж, если найдется, что украсть, я не против». Естественно, он говорил это не всерьез: у своих близких не крадут, это было бы слишком легко, он отвечал так из раздражения, он ненавидел манеру Лолы все сводить к себе. Но Матье... Да, для Матье все здесь было непонятно. Что он мог иметь против кражи, если она совершается по всем правилам? Молчаливое порицание Матье терзало Бориса несколько минут, потом он покачал головой и сказал про себя: «Забавно!» Через пять, через семь лет у него будет на любой счет собственное мнение, мнения же Матье покажутся ему трогательными и устаревшими, он станет своим собственным судьей: «Знать бы, что мы встретимся!» Борис не хотел, чтобы этот день настал, он и без того был совершенно счастлив, но, логически рассуждая, он понимал, что это необходимо: он должен измениться, оставить позади себя толпу предметов и людей, а пока он еще недостаточно сформировался. Матье был только этапом, как и Лола; даже в те моменты, когда Борис больше всего им восхищался, в этом восхищении было что‑то преходящее, что делало его восторг страстным, но лишенным благоговения. Матье, насколько это возможно, был хорош, но он был не в состоянии меняться одновременно с Борисом, он вообще не мог меняться, для этого он был слишком совершенен. Эти мысли внушили Борису некоторую меланхолию, и он был рад, что вышел на площадь Эдмона Ростана: всегда было приятно пересекать ее — автобусы тяжело устремлялись на пешеходов, как жирные индюки, от них нужно было в последний момент увернуться, всего лишь немного отклонив корпус. «Надеюсь, в магазине никому не придет в голову убрать с прилавка книгу именно сегодня». На углу улицы Месье‑ле‑Пренс и бульвара Сен‑Мишель он помешкал, нужно было притормозить свое нетерпение, было бы неосторожно заявиться туда, когда щеки раскраснелись от надежды и по‑волчьи горят глаза. У него был принцип: действовать абсолютно хладнокровно. Он принудил себя неподвижно застыть перед лавкой торговца зонтиками и ножами и внимательно рассматривать выставленные там предметы: короткие дамские зонтики, зеленые, красные, маслянистые, зонты от дождя с ручками из слоновой кости в виде бульдожьей морды, почему‑то это производило щемящее впечатление, к тому же Борис нарочно заставил себя подумать о пожилых людях, которые приходят покупать эти вещи. Он собирался достичь состояния холодной решимости, когда вдруг увидел нечто, повергшее его в ликование. «Нож!» — прошептал он, чувствуя дрожь в руках. Это был настоящий нож: длинное и толстое лезвие, стопорная насечка, черная роговая ручка, элегантная, как серп луны; на лезвии виднелись два ржавых пятнышка, можно было вообразить, что это кровь. «О‑о!» — простонал Борис, и сердце его сжалось от желания. Нож лежал на самом видном месте, на деревянной лакированной подставке, между двумя зонтами. Борис неотрывно смотрел на нож, и мир окрест постепенно поблек, все, что не имело холодного блеска этого лезвия, потеряло в его глазах всякую цену, ему захотелось бросить все, войти в лавку, купить нож и убежать незнамо куда, как убегает вор, унося свою добычу. «Пикар научит меня метать его», — сказал он себе. Но непреложность его первоначального плана быстро восторжествовала: «Не сейчас. Куплю его потом, чтобы вознаградить себя, если дело выгорит».

Книжный магазин Гарбюра стоял на углу улицы Во‑Жирар и бульвара Сен‑Мишель; он имел с каждой стороны по входу, что благоприятствовало замыслам Бориса. Перед магазином были выставлены длинные столы с книгами, большей частью подержанными. Борис краем глаза приметил бродившего неподалеку рыжеусого господина, которого принял за шпика. Помедлив, Борис подошел к третьему столу, книга была здесь, огромная, такая огромная, что Борис на мгновение пал духом, семьсот страниц инкварто, гофрированные листы толщиной с мизинец. «И это мне предстоит засунуть в портфель», — с некоторым унынием подумал он. Но достаточно было посмотреть на золотые буквы, мягко сверкавшие на обложке, и отвага его вернулась: «Исторический и этимологический словарь воровского жаргона и арго с XIV века до наших дней». «Исторический!» — в экстазе повторил про себя Борис. Он по‑дружески нежно дотронулся до обложки кончиками пальцев, чтобы вновь ощутить контакт с ней. «Это не книга, это мебель», — восхищенно подумал он. За его спиной усатый господин обернулся, он, несомненно, следил за ним. Нужно было начинать комедию, листать фолиант, корчить физиономию зеваки, который колеблется и наконец поддается искушению. Борис открыл наугад и прочел:

«Быть как... — быть склонным к... Оборот, обиходный и поныне. Пример: «Кюре звенел, как колокол». Переводится: «Кюре был склонен к шуткам». Говорят также:

«Быть из...» — «быть кем‑то»... Пример: «Он из мужелюбов», т. е. он гомосексуалист. Это речение первоначально употреблялось на юго‑западе Франции». Следующие страницы не были разрезаны. Борис бросил читать и засмеялся. Он с наслаждением повторил: «Кюре звенел, как колокол». Потом вдруг посерьезнел и начал считать: «Раз! Два! Три! Четыре!» — в то время как строгая и чистая радость усилила его сердцебиение.

Чья‑то рука легка ему на плечо. «Я пропал, — подумал Борис, — но они поторопились, пока что у них нет никаких доказательств». Он медленно и спокойно обернулся. Это был Даниель Серено, друг Матье. Борис видел его два‑три раза и находил великолепным; у него был вид настоящего пройдохи.

— Здравствуйте, — сказал Серено, — что читаете? У вас такой зачарованный вид.

На сей раз пройдохой он не выглядел, но все равно его следовало остерегаться: по правде говоря, он казался даже слишком любезным, должно быть, задумал какой‑то гнусный фортель. Как нарочно, он застал Бориса листающим словарь жаргона, это, бесспорно, дойдет до ушей Матье, который будет над ним подтрунивать.

— Я зашел по пути, — натянуто ответил он. Серено улыбнулся; он двумя руками взял фолиант и поднес его к глазам; видимо, он был слегка близорук. Борис восхитился его непринужденностью: обычно те, кто листает книги, стараются оставить их на столе из страха перед частными детективами. Но было очевидно, что Серено считал для себя все дозволенным. Борис сдавленно, изображая безразличие, пробормотал:

— Это любопытный опус...

Серено не ответил: казалось, он погрузился в чтение. Борис разозлился и подверг его строгому изучению. Но, по совести говоря, Серено был безукоризненно элегантен. Пожалуй, в этом костюме из почти розового твида, в льняной рубашке, в желтом галстуке была какая‑то намеренная дерзость, и она Бориса немного шокировала. Борис любил строгую и немного небрежную элегантность. Но в конце концов ансамбль был безупречным, хоть и излишне нежным, как свежее масло. Серено расхохотался. У него был теплый и приятный смех, кроме того, Борис счел Даниеля симпатичным, потому что он, смеясь, широко открывал рот.

— «Быть из мужелюбов!» — просмаковал Серено. — «Быть из мужелюбов!» Это находка, при случае я ею воспользуюсь.

Он положил книгу на стол.

— Вы из мужелюбов, Сергии?

— Я... — промямлил Борис.

— Не краснейте, — сказал Серено, и Борис почувствовал, что стал пунцовым, — будьте уверены, что ни о чем предосудительном я не подумал. Я умею узнавать тех, кто «из мужелюбов» (это выражение явно его забавляло), — их движения имеют вялую округлость, в природе которой невозможно ошибиться. Вы другое дело, я наблюдал за вами и был очарован: ваши движения грациозны, хоть и несколько угловаты. Должно быть, вы очень ловки.

Борис внимательно слушал Серено: всегда интересно слушать, как кто‑то рассказывает, каким он вас видит. Кроме того, у Серено был очень приятный низкий голос. Глаза его смущали: поначалу кажется, что они полны нежности, но если вглядеться, замечаешь в них нечто жестокое, почти маниакальное. «Он хочет подшутить надо мной», — подумал Борис и насторожился. Его подмывало спросить у Серено, что он имеет в виду под «угловатыми движениями», но он не осмелился, подумав, что лучше как можно меньше говорить; к тому же под этим настойчивым взглядом он чувствовал, как в нем зарождается странная, приводящая в смущение покорность, что ему хотелось встряхнуться, чтобы избавиться от этой томной покорности. Он отвернулся, наступило томительное молчание. «Он меня примет за дебила», — покорно подумал Борис.

— Вы, кажется, изучаете философию? — спросил Серено.

— Да, философию, — с готовностью ответил Борис. Он был рад, что представился предлог прервать молчание. Но в этот момент часы Серено пробили один раз, и Борис оцепенел от ужаса. «Четверть девятого! — впадая в панику, подумал он. — Если он сейчас не уйдет, все пропало». Книжный магазин Гарбюра закрывался в половине девятого. Но Серено, казалось, и не собирался уходить. Он сказал:

— Признаться, я ничего не смыслю в философии. В отличие от вас, естественно...

— Да, кажется, я немного в ней разбираюсь, — сказал Борис, чувствуя себя как на угольях.

Он подумал: «Наверно, я веду себя невежливо, но почему он не уходит?» Впрочем, Матье его предупреждал: Серено всегда появляется в самый неподходящий момент, это одно из проявлений его демонической натуры.

— По‑моему, вы это любите, — сказал Серено.

— Да, — согласился Борис, чувствуя, что снова краснеет. Он терпеть не мог говорить о том, что любит: это так бесстыдно. У него создалось впечатление, что Серено об этом догадывается и неделикатность его нарочита. Серено пронзительно посмотрел на него.

— А почему?

— Не знаю, — буркнул Борис. Это было правдой: он и в самом деле не знал. Однако он очень любил философию. Даже Канта.

Серено улыбнулся.

— Во всяком случае, сразу видно, что эта любовь идет не от головы, — сказал он.

Борис было ощетинился, но Серено живо добавил:

— Я шучу. В сущности, я считаю, что вам повезло. Как и все, я тоже этим занимался, но мне так и не удалось полюбить ее... Я считаю, что от философии меня отвратил Деларю: он для меня слишком умен. Я иногда просил у него разъяснений, но, как только он начинал разъяснять, я уже ничего не понимал, мне даже казалось, что я не понимаю и своего вопроса.

Борис был задет этим насмешливым тоном и заподозрил, что Серено хотел коварно заставить его позлословить о Матье, чтобы потом с удовольствием передать тому разговор. Бориса беспричинная подлость Серено и восхитила, и покоробила; он сухо возразил:

— Но Матье очень хорошо объясняет. На этот раз Серено расхохотался, и Борис прикусил губу.

— Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Но мы с ним старинные друзья, и я полагаю, что он приберегает педагогические секреты для молодежи. Обычно он вербует последователей из своих учеников.

— Я не являюсь его последователем, — возразил Борис.

— Я не имел вас в виду, — сказал Даниель. — Вы не похожи на последователя. Я вспомнил об Уртигере, высоком блондине, который в прошлом году уехал в Индокитай. Вы, должно быть, слышали о нем: два года назад это была великая страсть, их всегда видели вместе.

Борис должен был признать, что удар попал в цель, и его восхищение Серено возросло, хотя он предпочел бы дать ему хорошую оплеуху.

— Матье мне о нем рассказывал, — сказал он.

Он ненавидел этого Уртигера, с которым Матье познакомился еще до него. Иногда, когда Борис приходил, чтобы встретиться с Матье в кафе на Домской набережной, тот с проникновенным видом говорил: «Нужно написать Уртигеру». После чего он долго пребывал в прилежной задумчивости, точно солдат, который пишет письмо своей землячке и мечтательно выводит ручкой вензеля на белом листе. В такие минуты Бориса захлестывала волна неприязни к нему. Нет, он не ревновал Матье к Уртигеру. Наоборот, он испытывал к нему жалость, смешанную с толикой отвращения; впрочем, он ничего не знал об Уртигере, видел только фотографию, где был запечатлен высокий меланхолический юноша в брюках для гольфа, да абсолютно идиотский реферат по философии, который еще валялся на рабочем столе Матье. Ни за что на свете он не хотел бы, чтобы потом Матье относился к нему так же, как к Уртигеру. Он предпочел бы никогда больше не видеть Матье, чем представить, что тот однажды скажет значительно и печально какому‑нибудь молодому философу: «Да! Сегодня мне надо написать Сергину». На худой конец он допускал, что Матье был лишь этапом в его жизни, хотя и это уже достаточно досадно, но было невыносимо думать, что он мог остаться всего лишь этапом в жизни Матье.

Казалось, Серено чувствовал себя как дома. Небрежно и вольготно он оперся обеими руками о стол.

— Часто я сожалею, что так невежествен в этой области, — продолжал он. — Те, кто этим занимается, имеют такой счастливый вид.

Борис не ответил.

— Мне нужен наставник, — продолжал Серено. — Кто‑нибудь вроде вас... Такой, кто не был бы слишком уж ученым, но принимал бы все всерьез.

Он засмеялся пришедшей ему в голову потешной мысли.

— Скажите, а ведь было бы забавно, если б я брал уроки у вас...

Борис недоверчиво посмотрел на него. Скорее всего это еще одна ловушка. Он совершенно не представлял себя в роли учителя Серено, который наверняка гораздо умнее его и, вероятно, будет задавать уйму затруднительных вопросов, — Борис от робости не выдавит из себя ни слова... С холодным отчаянием он подумал, что уже, как минимум, двадцать пять минут девятого. Серено по‑прежнему улыбался, казалось, он был увлечен своей идеей. Но у него были странные глаза. Борису трудно было смотреть ему в лицо.

— Только знаете, я очень ленив, — сказал Серено. — На меня следует давить...

Борис не смог удержаться от смеха и честно признался:

— Думаю, я не смог бы...

— Наоборот, — возразил Серено, — я уверен, вы смогли бы.

— Вы меня будете конфузить, — пробормотал Борис.

Серено пожал плечами.

— Полноте!.. Послушайте, у вас есть еще минутка? Мы могли бы выпить по стаканчику напротив, в «Д'Аркуре», и поговорить о нашем плане.

«Нашем плане...» Борис с тревогой следил глазами за продавцом книжного магазина Гарбюра, начавшим складывать книги в стопки. Однако ему хотелось бы пойти с Серено в «Д'Аркур»: это странный человек, он потрясающе красив, да и говорить с ним занятно, потому что все время надо быть настороже, с ним ни на минуту не оставляет ощущение опасности. Борис поколебался, но чувство долга все‑таки восторжествовало.

— Дело в том, что я очень спешу, — сожалеющим, но невольно резким голосом сказал он.

Серено переменился в лице.

— Хорошо, в таком случае не буду вам мешать. Извините, что так задержал вас. До свиданья, передайте привет Матье.

Он круто повернулся и ушел. «Я его обидел?» — смущенно подумал Борис. Беспокойным взглядом проводил он широкие плечи Серено, который направлялся вверх по бульвару Сен‑Мишель. Внезапно он подумал, что ему нельзя терять ни минуты.

«Раз. Два. Три. Четыре. Пять».

При счете «пять» он правой рукой, не таясь, взял том и спокойно направился к магазину.

Шумная толпа слов бежала неизвестно куда; бежали слова, бежал Даниель, бежал от Бориса, от его немного сутулого, хрупкого тела, от глаз орехового цвета, бежал от лица, строгого и прелестного, этого маленького монаха, русского монаха, Алеши. Шаги, слова, шаги отдавались в его голове, быть только этими шагами, этими словами все было лучше, чем тишина: маленький дурачок, я его раскусил. Родители не велят мне говорить с незнакомыми людьми, хотите конфетку, маленькая барышня, родители мне не велят... Ха, ха! Какой жалкий рассудок, я не знаю, я не знаю, вы любите философию, я не знаю, черт возьми, откуда ему знать, бедному ягненку! Матье корчит из себя султана в своем классе, он ему бросает платок, ведет в кафе, и малыш проглатывает все: и кофе со сливками, и теории, как глотают облатку; иди, или с этим видом первопричастника, вот он, чопорный и зашоренный, как осел, нагруженный сокровищами. Да! Я понял, я не смею наложить на тебя руку, я недостоин; а какой взгляд он бросил на меня, когда я ему сказал, что не понимаю философию, под занавес он даже не потрудился быть вежливым. Нет, я просто уверен — я это предчувствовал, еще когда был Уртигер, — я просто уверен, что он их против меня предостерегает. «Очень хорошо, — сказал Даниель, довольно посмеиваясь, — это великолепный урок, и недорогой ценой, я рад, что он меня отшил; имей я глупость показать ему, что он мне понравился, и доверительно с ним поговорить, он, вне себя от негодования, выложил бы все Матье, и они вместе посмеялись бы надо мной». Даниель так резко остановился, что шедшая позади дама толкнула его в спину и вскрикнула. «Он ему говорил обо мне!» Это была не‑вы‑но‑си‑мая мысль, она вызывала приступ бешенства, бросала в холодный пот, стоило только их представить себе, их, бодрых, счастливых оттого, что они вместе: малыш, естественно, разинул рот, вытаращил глаза и навострил уши, чтобы не проворонить ни крупинки манны небесной, в каком‑нибудь прокуренном кафе на Монпарнасе, пропахшем грязным бельем... «Матье, должно быть, смотрел на него с глубокомысленным видом и объяснял ему мой характер, можно лопнуть со смеху». Даниель повторил: «Лопнуть со смеху», — и вонзил ногти в ладонь. Они его обсуждали за его спиной, они его развинтили и тщательно разложили по полочкам, а он был беззащитен, он ни о чем не подозревал, он мог существовать в тот день, как и в другие дни, как будто он был всего лишь фантом без памяти и без предназначения, как будто он не был для других слегка тучнеющим телом, потихоньку пухлеющими щеками, малость увядающим восточным красавцем с жесткой улыбкой и — кто знает?.. Но нет, никто. «Бобби знает, и Ральф знает, а Матье — нет. Бобби — это креветка, у него нет сознания, он живет на улице Урс, 6, с Ральфом. Ха‑ха! Если только можно жить среди слепцов. Но Матье не слепец, он хвастается этим, он умеет видеть, это его профессия, он имеет право говорить обо мне, поскольку знает меня пятнадцать лет и является моим лучшим другом, и он не воздерживается от этого; только он кого‑то встречает — вот уже два человека, для которых я существую, потом три, потом девять, потом сто. Серено, Серено, Серено‑маклер, Серено‑биржевик, Серено... Ха! Если б он сдох, но нет, он гуляет на свободе со своим мнением обо мне в глубине башки и заражает им всех, кто к нему приближается, нужно всюду поспеть и скрести, скрести, стереть, смыть ушатами воды, так я отскреб Марсель до костей. В первый раз она мне протянула руку, долго глядя на меня, она мне сказала: «Матье часто говорил мне о вас». И я, в свою очередь, посмотрел на нее, я был загипнотизирован, я был там, внутри, я существовал в этом теле, за этим угрюмым лбом, в глубине этих глаз, в этой шлюхе! Теперь она не верит ни слову из того, что он говорит обо мне».

Даниель с удовлетворением улыбнулся; он так гордился этой победой, что на миг перестал за собой следить: в потоке слов образовался разрыв, который мало‑помалу удлинялся, растягивался и в конце концов стал тишиной. Тишиной давящей и полой. Он не должен был, не должен был прекращать говорить. Ветер утих, ярость поутихла тоже; в самой глубине тишины, как рана, виднелось лицо Сергина. Милое непонятное лицо; сколько терпения, сколько старания понадобилось бы, чтобы немного его осветить. Даниель подумал: «Я бы смог...» Еще в этом году, еще сегодня он бы смог. А потом... Он подумал: «Это мой последний шанс». Это был его последний шанс, и Матье у него этот шанс небрежно украл. Ральфы, Бобби — вот что ему оставалось. «А из бедного мальчика Матье сделает ученую обезьяну!» Даниель шел в полной тишине, только его шаги отдавались в голове, как на пустынной утренней улице. Его одиночество было таким полным под этим прекрасным небом, ласковым, как чистая совесть, среди этой суетливой толпы, что он был ошеломлен, что еще существует; он должен быть ночным кошмаром какого‑то существа, которое вот‑вот проснется. К счастью, ярость снова завладела им и затопила все, он почувствовал себя воскрешённым этим бодрящим бешенством, и бегство началось снова, снова его обуяло столпотворение слов; он ненавидел Матье. Вот кто должен был считать существование совершенно естественным, он не задает себе вопросов, этот классический праведный свет, это целомудренное небо созданы для него, он у себя дома, он не знает, что такое одиночество. «Ей‑же‑ей, — подумал Даниель, — он принимает себя за Гете». Он поднял голову, он смотрел прохожим в глаза; он пестовал свою ненависть: «Но берегись, воспитывай себе последователей, если тебя это развлекает, только не за мой счет, иначе в конце концов я сыграю с тобой злую шутку». Новый толчок гнева приподнял его над землей, теперь он летел, отдавшись радости быть устрашающим, и вдруг в голову ему пришла мысль, острая и раскаленная: «Но, но, но... Возможно, следует помочь этому тугодуму, помочь ему вернуться в себя, сделать так, чтобы жизнь не была для него слишком легкой». Такую услугу он, Даниель, может ему оказать. Он вспомнил, с каким суровым мужским видом Марсель однажды бросила ему через плечо: «Когда женщине крышка, ей только и остается сделать себе ребенка». Занятно, если они на этот счет разного мнения, если он мечется по хибарам знахарок, а в это время она в глубине своей розовой комнаты сохнет от желания иметь ребенка. Марсель никогда не посмеет ему об этом сказать, если только... Если только не найдется некто, некий добрый общий друг, который придаст ей не много смелости... «Я злой», — подумал он, преисполненный радости. Злоба — это необычайное ощущение скорости, вдруг отделяешься от себя и летишь вперед стрелой: скорость хватает тебя за загривок, она возрастает с каждой минутой, это сладко и невыносимо, катишься с отпущенными тормозами в разверстую могилу, сметаешь слабые препятствия, неожиданно возникающие по обе стороны, — бедный Матье, я, такой сякой, собираюсь испортить ему жизнь — и ломающиеся, как засохшие ветки, и эта радость, пронзенная страхом, как она пьянит, она суха, словно удар током, эта радость нескончаема. «Спрашивается, будут ли у него еще последователи? Отец семейства, способен ли такой кого‑то увлечь?» Он представил себе лицо Сергина, когда Матье объявит ему о своей женитьбе, презрение этого малыша, его ошеломленное отчаяние. «Как, вы, вы женитесь?» И Матье промямлит: «Да, порой возникают ситуации...» Но молодежь не понимает этих ситуаций. Нечто зыбкое возникло перед его глазами. Это было лицо Матье, его честное, славное лицо, но бег вскоре усилился: зло, как велосипед, было стойким только при нарастающей скорости. Мысль, проворная и радостная, скакнула впереди него: «Матье — порядочный человек. Он не подлец. Нет‑нет! Он из семени Авеля, у него есть совесть. Ну что ж, тогда он должен жениться на Марсель: после ему останется только почить на лаврах, он еще молод, у него впереди целая жизнь, пусть упивается своим благородным поступком».

Это было так головокружительно, благолепный отдых чистой совести, беспримесной чистой совести, под привычным и снисходительным небом, что Даниель уже не знал в точности, желает ли он подобного для Матье или для себя самого. Конченый человек, смирившийся, успокоившийся, наконец‑то успокоившийся... «А что, если она не захочет?.. Нет! Если есть шанс, один крохотный шанс, что она хочет иметь ребенка, клянусь, она предложит ему на себе жениться завтра же вечером». Месье и мадам Деларю... Месье и мадам Деларю имеют честь сообщить вам... «В итоге, — подумал Даниель, — я стану их ангелом‑хранителем, ангелом семейного очага». Да, он был архангелом, архангелом ненависти, архангелом‑заступником, архангелом, вышедшим на улицу Верцингеторига. Он снова увидел на мгновение длинное, неловкое и грациозное тело, худое лицо, склонившееся над книгой, но образ Бориса тут же размылся, и возник Бобби; «Улица Урс, 6». Даниель почувствовал себя свободным, как воздух, позволяющий себе все на свете. Большой бакалейный магазин на улице Верцингеторига был еще открыт, он вошел. Когда он оттуда вышел, то держал в правой руке меч архангела, а в левой — коробку конфет для мадам Дюффе.

X

Часы пробили десять. Мадам Дюффе, казалось, этого не слышала. Она устремила на Даниеля внимательный взгляд, глаза ее покраснели. «Скоро она уберется!» — подумал Даниель. Мадам Дюффе хитро ему улыбалась, но с трудом скрывала зевоту. Вдруг она откинула назад голову и, по‑видимому, приняла решение; она сказала с шаловливым задором:

— Ну что ж, дети мои, я иду спать! Не заставляйте ее поздно ложиться, Даниель, я на вас рассчитываю. А то потом она спит до двенадцати.

Мадам Дюффе встала и похлопала маленькой ловкой рукой по плечу Марсель. Марсель сидела на кровати.

— Слышишь, мой кот Родилар [[3]](#footnote-3) , — она забавлялась, говоря сквозь зубы, — ты слишком долго спишь, ты спишь до двенадцати, ты нагуливаешь жирок.

— Даю вам слово, что уйду до полуночи, — сказал Даниель.

Марсель улыбнулась.

— Если я этого захочу.

Он повернулся к мадам Дюффе с притворным унынием.

— Ничего не поделаешь!

— Ну, будьте благоразумны, — сказала мадам Дюффе, — и спасибо за дивные конфеты.

Она подняла к глазам перевязанную лентой коробку с шутливо‑угрожающим жестом.

— Вы очень милы, вы меня балуете, в конце концов я буду вас бранить.

— Вы доставите мне большое удовольствие, если они вам понравятся, — проникновенно проговорил Даниель.

Он склонился над рукой мадам Дюффе и поцеловал ее. Вблизи кожа была морщинистой, с сиреневыми пятнами.

— Архангел! — растроганно воскликнула мадам Дюффе. — Ну что ж, я удаляюсь, — добавила она, целуя Марсель в лоб.

Марсель обняла ее за талию и на секунду прижала к себе, мадам Дюффе взъерошила ей волосы и быстро высвободилась.

— Я скоро приду заправить тебе одеяло, — сказала Марсель.

— Нет, нет, скверная девчонка, оставайся со своим архангелом.

Она убежала с живостью маленькой девочки, и Даниель проследил холодным взглядом за ее узкой спиной: он опасался, что она вообще не уйдет. Дверь закрылась, но он не почувствовал облегчения: он немного боялся остаться с Марсель наедине. Он повернулся к ней и увидел, что она, улыбаясь, смотрит на него.

— Почему вы улыбаетесь? — спросил он.

— Мне всегда забавно видеть вас с мамой, — призналась Марсель. — Какой же вы обольститель, мой бедный архангел! Как вам не стыдно так обольщать окружающих?

Она смотрела на него с нежностью собственника, казалось, она была бы счастлива заполучить его целиком для себя одной. «На ней печать беременности», — злобно подумал Даниель. Как он злился на нее за ее самодовольный вид! Он всегда немного тревожился в преддверии этих долгих доверительных бесед полушепотом, каждый раз надо было решаться, как перед прыжком в воду. «У меня будет приступ астмы», — подумал он. Марсель была унылым сгустком запахов, свернувшимся на кровати, готовым расщепиться от малейшего жеста.

Она встала.

— Я хочу вам кое‑что показать. Она взяла с камина фотографию.

— Вы всегда хотели знать, какая я была в молодости... — сказала она, протягивая ее.

Даниель взял фотокарточку: это была Марсель в восемнадцать лет, у нее был вид лесбиянки, губы безвольные, глаза жесткие. И та же дряблая плоть, болтающаяся, точно слишком широкий костюм. Но она была худой. Даниель поднял глаза и увидел ее тревожный взгляд.

— Вы были очаровательны, — осторожно сказал он, — и вы совсем не изменились.

Марсель рассмеялась.

— Нет! Вы хорошо знаете, что я изменилась, противный вы льстец, бросьте, вы уже не с моей мамой.

Она добавила:

— Но я была прехорошенькой, не так ли?

— Сейчас вы мне больше нравитесь, — сказал Даниель, — губы у вас были вяловаты... Сейчас вы выглядите куда интересней.

— Никогда не знаешь, всерьез вы говорите или шутите, — насупившись, отозвалась она. Но легко было заметить, что она польщена.

Марсель привстала и бросила быстрый взгляд в зеркало. Этот неловкий и бесстыдный взгляд разозлил Даниеля: в ее кокетстве было нечто детское, беззащитное, с трудом сочетавшееся с лицом зрелой женщины Он улыбнулся ей.

— Я тоже хочу спросить у вас: почему вы улыбаетесь? — сказала Марсель.

— Потому что вы подпрыгнули, как маленькая девочка, чтобы посмотреться в зеркало. Так трогательно, когда вы ненароком заняты собой.

Марсель порозовела и притопнула.

— Вижу, вы без лести не можете.

Оба они засмеялись, и Даниель, чуть поколебавшись, подумал: «Начнем!» Все складывалось хорошо, момент был удобный, но он чувствовал себя расслабленным и пустотелым. Чтобы придать себе мужества, он подумал о Матье и был удовлетворен, убедившись, что ненависть его непоколебима. Матье был цельный и сухой, как кость; его можно было ненавидеть. Марсель ненавидеть было нельзя.

— Марсель! Поглядите на меня!

Он нагнулся и озабоченно посмотрел на нее.

— Гляжу, — сказала Марсель.

Она подняла на него глаза, но голова ее непроизвольно подергивалась: она с трудом выдерживала мужской взгляд.

— У вас усталый вид.

Марсель сощурилась.

— Я немного разбита, — сказала она. — Это от жары.

Даниель наклонился еще ниже и повторил огорченно и с недовольством:

— Вы очень устали! Я на вас смотрел, когда ваша мать рассказывала о своем путешествии в Рим, и вы казались такой озабоченной, такой издерганной...

Марсель прервала его, возмущенно рассмеявшись:

— Послушайте, Даниель, она в третий раз рассказывает вам об этом путешествии. И каждый раз вы слушаете все с тем же живым интересом; по правде говоря, это меня немного раздражает, я не очень понимаю, что у вас в это время творится в голове.

— Ваша мать меня забавляет, — сказал Даниель. — Я знаю ее истории, но я люблю слушать, когда она их рассказывает, у нее есть такие интересные жесты.

Он слегка подвигал шеей, и Марсель расхохоталась. Когда хотел, Даниель очень хорошо умел передразнивать. Но тут он снова посерьезнел, и смех Марсель оборвался. Он взглянул на нее с упреком, и она как‑то заерзала под его взглядом. Она сказала ему:

— Это у вас сегодня странный вид. Что с вами?

Он не торопился отвечать. Тяжелое молчание давило на них, в комнате было невыносимо душно. Марсель смущенно засмеялась, но смех сразу же замер на губах. Даниель предвкушал дальнейшее.

— Марсель, — начал он, — я не должен был бы вам это говорить...

Она откинулась назад.

— Что? Что? Что случилось?

— Вы очень сердитесь на Матье?

Она побледнела.

— Он... Он же... Он мне поклялся, что ничего вам не скажет.

— Марсель, ведь это так важно, а вы хотели от меня все скрыть! Разве я больше не ваш друг?

Марсель вздрогнула.

— Это так грязно! — сказала она.

Ну вот! Готово: она голая. Не было уже речи ни об архангеле, ни о девичьих фотографиях; с нее сползла маска насмешливого достоинства. Перед ним была только толстая беременная женщина, пахнущая телом. Даниелю стало жарко, он провел рукой по вспотевшему лбу.

— Нет, — медленно сказал он, — нет, это вовсе не грязно.

Она быстро дернула локтем и предплечьем, зигзагообразно рассекая раскаленный воздух комнаты.

— Я внушаю вам отвращение, — сказала она.

Он натянуто засмеялся.

— Отвращение? Мне? Марсель, вам придется долго искать такое, что могло бы внушить мне отвращение к вам.

Марсель не ответила; понурившись, она проговорила:

— Я так хотела держать вас вне всего этого!..

Они замолчали. Теперь между ними возникла еще одна связь, прочная, как пуповина.

— Вы видели Матье после того, как он ушел от меня? — спросил Даниель.

— Он мне звонил после полудня, — сухо ответила Марсель.

Она взяла себя в руки и ожесточилась, она была настороже, прямая, ноздри сжаты; она страдала.

— Он сказал вам, что я не дал ему денег?

— Он мне сказал, что у вас их нет.

— У меня они есть.

— Есть? — изумилась она.

— Да, но я не захотел их ему одалживать. Во всяком случае, прежде хотел увидеть вас.

Он сделал паузу и добавил:

— Марсель, следует их ему одолжить?

— Но я не знаю, — пробормотала она неуверенно. — Вам лучше знать, располагаете ли вы...

— Располагаю. У меня пятнадцать тысяч франков, которыми я могу распоряжаться, ни в чем себя не ущемляя.

— Тогда да, — сказала Марсель. — Да, мой дорогой Даниель, они нам необходимы.

Наступило молчание. Марсель перебирала пальцами простыню, ее тяжелая грудь тревожно вздымалась.

— Вы меня не поняли, — возразил Даниель. — Я хочу сказать: положа руку на сердце, вы действительно хотите, чтоб я их ему одолжил?

Марсель подняла голову и удивленно посмотрела на него.

— Сегодня вы какой‑то странный, Даниель; у вас что‑то на уме.

— Да нет же... просто я хотел уточнить, посоветовался ли Матье с вами.

— Ну, естественно. И потом, — проговорила она с легкой улыбкой, — мы не советуемся, вы ведь знаете, как у нас заведено: один говорит — сделаем то‑то или то‑то, а другой, если не согласен, возражает.

— Знаю, — сказал Даниель. — Знаю... Только это обычно на руку тому, чье мнение уже сложилось: другого подталкивают, и он не успевает сформулировать свое мнение.

— Может, и так... — согласилась Марсель.

— Я знаю, как Матье уважает ваше мнение, — сказал он. — Но я так хорошо представляю себе эту сцену: она преследует меня весь день. Он, должно быть, напыжился, как это ему свойственно в таких случаях, а потом, проглотив слюну, сказал: «Хорошо! Ну что ж, примем меры». У него не было колебаний, впрочем, он и не мог их иметь: он мужчина. Только... не слишком ли все это поспешно? Сами‑то вы должны твердо знать, чего хотите.

Он снова наклонился к Марсель.

— Разве все было иначе?

Марсель не смотрела на него. Она повернула голову в сторону умывальника, и Даниель видел ее профиль. Вид у нее был угрюмый.

— Да нет, почти так, — сказала она и сильно покраснела. — Не будем больше об этом, Даниель, прошу вас! Это... это мне не очень приятно.

Даниель не сводил с нее глаз. «Она трепещет», — подумал он. Но он не до конца понимал, доставляло ли ему большее удовольствие унижать ее или унижаться вместе с ней. Он сказал себе: «Все будет легче, чем я думал».

— Марсель, — проговорил он, — не замыкайтесь, умоляю вас: я знаю, как вам неприятно об этом говорить...

— Особенно с вами, — сказала Марсель. — Даниель, вы настолько не похожи ни на кого на свете!

«Черт возьми! Я ее чистота!»

Она снова вздрогнула и прижала руки к груди.

— Я не смею больше смотреть на вас, — с трудом вымолвила она. — Даже если я не стала вам противна, мне кажется, я вас потеряла.

— Знаю, — с горечью проговорил Даниель. — Архангелы легко пугаются. Послушайте, Марсель, не заставляйте меня больше играть эту смешную роль. Во мне нет ничего от архангела; я просто ваш друг, ваш лучший друг. И все‑таки я должен сказать свое слово, — твердо добавил он, — потому что я в состоянии вам помочь. Марсель, вы действительно уверены, что не хотите ребенка?

Легкая быстрая дрожь пробежала по телу Марсель, казалось, оно силится развоплотиться. Но потом, будто одумавшись, оно осело на край кровати, неподвижное и тяжеловесное. Марсель повернулась к Даниелю; вся пунцовая, она смотрела на него без обиды, в беззащитном оцепенении. Даниель подумал: «Она в отчаянии».

— Вам нужно сказать только слово: если вы в себе уверены, Матье завтра же утром получит деньги.

Он почти желал, чтобы она сказала: «Я уверена в себе». Он даст деньги, и дело будет закрыто. Но Марсель ничего не говорила, она повернулась к нему, глаза ее были полны ожидания; нужно было идти до конца. «Ах, вот оно что! — подумал Даниель с ужасом. — Честное слово, у нее благодарный вид!» Как у Мальвины, когда он дал ей взбучку.

— Вы! — сказала она. — Вы думали об этом! А он... Даниель, на всем свете только вы один волнуетесь обо мне.

Он встал, сел с ней рядом и взял ее за руку. Вялая, лихорадочная, доверчивая рука: он молча держал ее в своей. Казалось, Марсель боролась со слезами; она тупо уставилась на свои колени.

— Марсель, разве вам безразлично, что маленького уничтожат?

Марсель устало передернула плечами.

— А что вы предлагаете взамен?

Даниель подумал: «Все, я выиграл». Но он не испытал никакой радости. Он задыхался. Вблизи Марсель попахивала, он мог в этом поклясться; это было неуловимо и вообще не было в прямом смысле запахом, но ощущение такое, что она оплодотворяла воздух вокруг себя. И, потом, эта рука, потевшая в его руке. Он едва удержался, чтобы не сжать ее сильнее, ему хотелось выдавить из нее весь сок.

— Не знаю, что можно сделать, — суховато проговорил он, — потом посмотрим. Сейчас я думаю только о вас. Если этот малыш у вас будет, он может стать крушением всего, а может, и удачей. Марсель, вы должны обо всем хорошо подумать, чтобы после не упрекать себя.

— Да... — сказала Марсель, — да...

Она смотрела в пустоту с доверчивым, молодящим ее видом; Даниель подумал о юной студентке, которую он только что видел на фотографии: «Это правда! Она была молодой...» Но на этом неприятном лице даже отблески молодости не волновали. Он резко отпустил ее руку и немного отодвинулся.

— Подумайте, — повторил он настойчиво, — вы действительно уверены, что не хотите малыша?

— Не знаю, — сказала Марсель.

Она встала.

— Извините, мне нужно подоткнуть маме одеяло.

Даниель молча поклонился: таков был обычай. «Я выиграл», — подумал он, едва за ней закрылась дверь. Он вытер руки платком, потом живо встал и открыл ящик столика, стоящего подле кровати: он находил там иногда забавные письма, короткие записки Матье, совсем супружеские, или бесконечные сетования Андре, которая была несчастлива. На сей раз ящик был пуст, Даниель снова сел в кресло и подумал: «Я выиграл, она помирает от желания снестись». Он был рад, что остался один: за это время можно укрепить свою ненависть. «Клянусь, Матье на ней женится, — сказал он себе. — Однако он гнусен, даже с ней не посоветовался. Не стоит, — одернул он себя, сухо усмехнувшись. — Не стоит его ненавидеть, хоть праведные основания для этого есть: у меня достаточно других».

Марсель вернулась с искаженным лицом. Она прерывисто сказала:

— А если я и захочу ребенка? Что это мне даст? У меня нет средств, чтобы одной его вырастить, а он на мне наверняка не женится.

Даниель удивленно поднял брови.

— Но почему? Почему он не может на вас жениться?

Марсель посмотрела на него с крайним изумлением, потом решила засмеяться.

— Но, Даниель! Вы же знаете, какие мы!

— Ничего я не знаю, — сказав Даниель. — Я знаю только одно: если он хочет, следует всего лишь совершить некоторые обязательные для всех формальности, и через месяц вы его жена. Или это вы, Марсель, решили никогда не выходить замуж?

— Было бы отвратно, если б он женился на мне против своей воли...

— Это не ответ.

Марсель немного расслабилась. Она засмеялась, и Даниель понял, что сделал неверный шаг.

— Нет, правда, мне совершенно безразлично, буду ли я именоваться «мадам Деларю» или нет, — сказала она.

— Я в этом уверен, — живо отозвался Даниель. — Я хотел только сказать: а если это единственное средство оставить ребенка?..

Марсель казалась потрясенной.

— Но... я никогда такое не связывала.

Должно быть, это правда. Ее всегда трудно было заставить смотреть фактам в лицо; ее нужно было ткнуть во все носом, иначе она глядела бы по сторонам. Марсель добавила:

— Это... это должно произойти само собой: брак — это рабство, и мы его не хотим, ни он, ни я.

— Но ведь вы хотите ребенка?

Марсель одной рукой опиралась на подушку, а другую положила на бедро. Потом отняла ее и приложила к животу, словно у нее разболелся кишечник; в этом было что‑то причудливое и чарующее. Она хмуро призналась:

— Да, я хочу ребенка.

Победа! Даниель замолчал. Он не мог оторвать глаз от этого живота. Враждебная плоть, плоть тучная и изобильная, своего рода кладовая припасов. Он подумал, что Матье желал ее, и в нем полыхнуло пламя удовлетворения: будто он за себя уже отчасти отомстил. Смуглая рука в кольцах застыла на шелке, прижимаясь к животу. Что она чувствовала внутри, эта полнотелая самка, пребывающая в смятении? Как он хотел бы на мгновение стать ею. Марсель глухо сказала:

— Даниель, вы меня освободили. Я... я не решалась никому на свете в этом признаться, в конце концов я стала считать свое желание преступным.

Она с тревогой посмотрела на него.

— Вы не считаете это преступным? Он не мог удержаться от смеха:

— Преступным? Но это же какое‑то извращение, Марсель! Вы считаете свое желание преступным, тогда как оно абсолютно естественно?

— Нет, я имею в виду другое: преступным по отношению к Матье. Это похоже на разрыв соглашения.

— Нужно честно с ним объясниться, вот и все. Марсель не ответила, казалось, она что‑то проворачивала в уме. Внезапно она страстно сказала:

— Если б у меня был ребенок, клянусь вам, я бы не позволила ему загубить свою жизнь, как я загубила свою!

— Вы не загубили свою жизнь.

— Загубила!

— Нет, Марсель. Еще нет.

— Да! Я неудачница, я никому не нужна.

Он не ответил. Это было сущей правдой.

— Матье я не нужна. Если я умру... он не будет слишком горевать. Вы тоже, Даниель. Да, у вас есть привязанность ко мне, возможно, это для меня самое дорогое на свете. Но я вам не нужна. Это вы мне нужны.

Отвечать? Возражать? Нужно быть настороже: Марсель, казалось, впала в один из своих приступов циничного ясновидения. Даниель, не говоря ни слова, взял ее за руку и многозначительно сжал ее.

— Ребенок, — продолжала Марсель. — Ребенок, да, вот кому я буду нужна.

Он погладил ее руку.

— Вот это и нужно сказать Матье.

— Нет, я не смогу.

— Но почему?

— Я связана. Я буду ждать, когда он заговорит об этом сам.

— Но вы же хорошо понимаете, что сам он никогда не заговорит: он об этом просто не думает.

— Но почему? Вы же об этом подумали.

— Ну, не знаю...

— Что ж, значит, все останется, как есть. Вы нам одолжите денег, и я пойду к врачу.

— Но вы не можете так поступить, — резко вскрикнул Даниель, — не можете!

Он вдруг остановился и недоверчиво посмотрел на нее: ситуация вынудила его к этому глупому выкрику. Эта мысль привела его в оцепенение, он ненавидел себя за то, что потерял над собой контроль. Он поджал губы и, подняв брови, придал своим глазам ироничное выражение; лучше бы ее не видеть: она ссутулилась, руки безвольно повисли вдоль тела; она ждала, измученная и безропотная, и она так будет ждать долгие годы, до самого конца. Он подумал: «Это ее последний шанс!»; так он недавно думал о себе. Между тридцатью и сорока годами люди разыгрывают свой последний шанс. Она будет играть и проигрывать; через несколько дней она будет только воплощенным тучным несчастьем. Необходимо этому помешать.

— А если я сам поговорю с Матье?

Его всего затопила мутная жалость. Он не испытывал ни малейшей симпатии к Марсель, более того, она вызывала у него глубокое отвращение, и все же он не мог избавиться от неодолимой жалости. Он пошел бы на все, только бы от нее освободиться. Марсель подняла голову, вероятно, она сочла его безумным.

— Поговорить с ним? Вы? Но, Даниель! Это невозможно!

— Можно сказать ему... что я вас случайно встретил...

— Но где? Я ведь никуда не выхожу. Но даже если это допустить, разве я стала бы ни с того ни с сего вам об этом рассказывать?

— Нет. Конечно, нет...

Марсель положила руку ему на колено.

— Даниель, прошу вас, не вмешивайтесь. Я зла на Матье, ему не следовало вам рассказывать.

Но Даниель не уступал:

— Послушайте, Марсель. Знаете, как мы поступим? Просто скажем ему правду. Я скажу ему: ты должен нам простить одну маленькую тайну, мы с Марсель втайне от тебя иногда видимся.

— Даниель! — умоляюще вскричала Марсель. — Не нужно. Не хочу, чтобы вы говорили с ним обо мне. Ни за что на свете я не хочу выглядеть женщиной, предъявляющей какие‑то претензии. Он должен все понять сам. — Она добавила с видом добродетельной супруги: — И потом, знаете, он мне никогда не простит, что я от него это утаила. Мы ведь друг другу говорим все.

Даниель подумал: «Вот это да!» Но смеяться ему не хотелось.

— Но я не стану говорить от вашего имени, — заверил он, — я ему скажу, что видел вас, что у вас был измученный вид и что все не так просто, как он полагает. Пусть он думает, что все это идет от меня.

— Нет, я не хочу, — упрямо сказала Марсель. — Не хочу.

Даниель с жадностью посмотрел на ее плечи и шею. Это глупое упрямство злило его; он хотел его одолеть. Он был одержим безобразным желанием: подавить это сознание, рухнуть вместе с ним в пропасть унижения. Но то был не садизм: нечто более чувственное, влажное, плотское. Это скорее была доброта.

— Так нужно, Марсель, так нужно. Посмотрите на меня! Он взял ее за плечи, его пальцы погрузились в теплое масло.

— Если я с ним не поговорю, вы ему никогда ничего не скажете, и... все будет кончено, вы будете жить рядом с ним, затаив зло, и в конце концов его возненавидите.

Марсель не ответила, но по ее надутому, обиженному виду он понял: она сдается. И все‑таки она повторила:

— Нет, я не хочу.

Он отпустил ее.

— Если вы не позволите мне действовать, я буду долго на вас сердиться. Вы собственными руками испортите себе жизнь.

Марсель поводила ногой по коврику.

— Нужно... нужно сказать ему нечто неопределенное, — сказала она, — просто чтобы навести его на мысль.

— Безусловно, — сказал Даниель. И подумал: «Как же, рассчитывай!» Марсель досадливо поморщилась.

— Нет, это невозможно.

— Что такое? Ведь только что вы проявили благоразумие...

— Вам придется сказать ему, что мы видимся.

— Да, ну и что? — разозлился Даниель. — Я достаточно его знаю, он не рассердится, в крайнем случае он для видимости немного вспылит. Но, поскольку он почувствует себя виноватым, он будет даже рад возможности хоть в чем‑то вас упрекнуть. Впрочем, я скажу ему, что мы видимся всего несколько месяцев и с большими интервалами. Все равно нам когда‑нибудь пришлось бы в этом сознаться.

— Да.

Даниель почувствовал, что до конца не убедил ее.

— Это был наш секрет, — с глубоким сожалением сказала Марсель. — Поймите, Даниель, это моя личная жизнь, другой у меня нет. — И зло добавила: — Я могу чувствовать своим лишь то, что скрываю от него.

— Нужно попытаться. Ради ребенка.

Сейчас она уступит, нужно только немного выждать; она соскользнет, влекомая собственным весом, в смирение, в самозабвение; через мгновение она будет вся открыта, беззащитна и покорна, она ему скажет: «Делайте, что хотите, я в ваших руках». Она его завораживала: его пожирал нежный огонь, он больше не знал, был ли он злом или добротой. Добро и Зло, их Добро и его Зло были одним и тем же. Была эта женщина, была эта отталкивающая и головокружительная общность.

Марсель провела рукой по волосам.

— Что ж, попытаемся, — с вызовом сказала она. — Во всяком случае, это будет для него испытанием.

— Испытанием? — переспросил Даниель. — Это Матье вы хотите подвергнуть испытанию?

— Да.

— И вы опасаетесь, что он останется безразличным? Что он не поспешит объясниться с вами?

— Не знаю. Она сухо сказала:

— Мне необходимо уважать его.

Сердце Даниеля заколотилось!

— Значит... вы его больше не уважаете?

— Уважаю... Но со вчерашнего вечера что‑то изменилось. Он был... Вы правы: он был слишком небрежен. Он не встревожился обо мне. И его сегодняшний звонок произвел довольно жалкое впечатление. Матье...

Марсель покраснела.

— Матье счел нужным сказать, что любит меня. Вешая трубку. Это попахивает нечистой совестью. Не могу описать вам свои ощущения. Если я когда‑нибудь перестану его уважать... Но я не хочу об этом думать. Когда порой я сержусь на него, это мне крайне тягостно. Ах! Если б он попытался меня разговорить, если б он меня хоть однажды, хоть один‑единственный раз спросил: «Что у тебя на душе?..»

Она замолчала и грустно покачала головой.

— Я с ним поговорю, — пообещал Даниель. — Сегодня же черкну ему записку и назначу встречу на завтра.

Они замолчали. Даниель принялся обдумывать завтрашнюю встречу: она обещала быть бурной и трудной, это отмывало его от липкой, неотвязной жалости.

— Даниель! — сказала Марсель. — Милый Даниель.

Он поднял голову и увидел ее взгляд: тяжелый, околдовывающий, в нем были благодарность и призыв, взгляд любви. Он зажмурился: между ними было нечто более могущественное, чем любовь. Марсель была распахнута, он вошел в нее, теперь они составляли одно целое.

— Даниель! — повторила она.

Даниель открыл глаза и мучительно закашлялся; с ним случился приступ астмы. Он взял ее руку и, сдерживая дыхание, долго целовал ее.

— Мой архангел, — прошептала Марсель, глядя поверх его головы.

Он проведет всю жизнь, склоненный над этой душистой рукой, а она пусть гладит его по волосам.

XI

Большой сиреневый цветок поднимался к небу, это была ночь. Матье шел в этой ночи и думал: «Я пропащий человек». Это была совсем новая мысль, ее нужно было многократно прокрутить в голове, осторожно понюхать. Время от времени Матье терял ее, оставались только слова. Слова были не лишены некоторого мрачного очарования. «Пропащий человек». Представлялись грандиозные бедствия, самоубийства, мятежи и другие крайности. Но мысль быстро возвращалась к реальности: это было не то, совсем не то; речь шла всего лишь о маленькой, скромной неприятности, об отчаянии не было и речи, наоборот, эта ситуация была даже удобной: у Матье было впечатление, что ему все разрешили, как неизлечимому больному. «Мне только остается позволить себе жить», — подумал он. Матье прочел — «Суматра», название, написанное огненными буквами, и к нему поспешил негр, прикоснувшись к форменной фуражке. На пороге Матье замешкался: он слышал шум, мелодию танго; его сердце было еще полно лени и ночи. И потом все произошло внезапно, как утром, когда обнаруживаешь, что стоишь на ногах, не зная, как это получилось: он отодвинул зеленую драпировку, спустился по лестнице на семнадцать ступенек и оказался в пурпурном шумном погребе с пятнами скатертей больнично‑белого цвета; тут пахло людьми, зал был полон, как на литургии. В глубине погреба на эстраде играли гаучо в шелковых рубашках. Перед ним были люди, непоколебимые и корректные, которые, казалось, чего‑то ждали: они танцевали, были угрюмы и выглядели охотниками за неуловимой судьбой. Матье усталым взглядом поискал в зале Бориса и Ивиш.

— Желаете столик, месье?

Красивый юноша склонился перед ним с видом сводника.

— Я ищу друзей, — сказал Матье.

Юноша узнал его.

— А! Это вы, месье? — сердечно сказал он. — Мадемуазель Лола одевается. Ваши друзья там, в глубине слева, я вас провожу.

— Нет, благодарю вас, я справлюсь сам. У вас сегодня много народу.

— Да, много. Голландцы. Они немного шумные, но зато щедрые клиенты.

Юноша исчез. Нечего было и думать о том, чтобы пробраться между танцующими парами. Матье подождал: он слушал мелодию танго и шарканье ног, смотрел на медленные перемещения этого молчаливого митинга. Обнаженные плечи, голова негра, сверкающий белый воротничок, роскошные зрелые женщины, много пожилых господ, танцующих со сконфуженным видом. Пронзительные звуки танго неслись как будто над ними: казалось, музыканты играли не для них. «Зачем я пришел сюда?» — подумал Матье. Его пиджак лоснился на локтях, на брюках не было стрелок, танцевал он плохо, не умел развлекаться с праздной многозначительностью на физиономии. Он почувствовал себя неуютно: на Монмартре, несмотря на приветливость метрдотелей, никогда не чувствуешь себя уютно, в воздухе витает беспокойная, неутолимая жестокость.

Зажглись белые лампочки. Матье вслед за расходившимися спинами отправился на поиски. В углу было два столика. За одним из них, не глядя друг на друга, вяло разговаривали мужчина и женщина. За другим он увидел Бориса и Ивиш, они наклонились друг к другу со строгим изяществом. «Как два монашка». Говорила Ивиш, при этом она оживленно жестикулировала. Никогда, даже в минуты полной открытости, она не обнаруживала перед Матье такого лица. «Как они молоды!» — подумал он. Ему захотелось повернуться и уйти прочь. Однако он подошел, так как больше не мог выносить одиночества, ему казалось, что он подсматривает за ними в замочную скважину. Сейчас они его заметят, повернут к нему высокомерные лица, которые они приберегают для родителей, для взрослых, и даже в глубине их сердец что‑то переменится. Склонившись к уху Бориса, она что‑то шептала. Напустив на себя вид старшей сестры, она разговаривала с Борисом с восхитительной снисходительностью. Матье почувствовал себя немного утешенным: даже с братом Ивиш была не совсем естественна — она только играла в старшую сестру, она никогда не забывалась.

— Пустяки, — коротко засмеявшись, бросил Борис. Матье положил руку на стол. «Пустяки». Этим словцом заканчивался их разговор, точно последняя реплика в романе или пьесе. Матье смотрел на Бориса и Ивиш: они выглядели так романтично.

— Привет, — сказал он.

— Привет, — вставая, отозвался Борис.

Матье бросил быстрый взгляд на Ивиш: она села откинувшись. Он увидел ее бледные и сумрачные стаза. Подлинная Ивиш исчезла. «А, собственно, почему подлинная?» — с раздражением подумал он.

— Здравствуйте, Матье, — сказала Ивиш. Она не улыбнулась, но у нее не было и удивленного или рассерженного вида; казалось, она считала присутствие Матье совершенно естественным. Борис быстрым жестом показал на толпу.

— Уйма народу! — удовлетворенно сказал он.

— Да, — согласился Матье.

— Хотите на мое место?

— Нет, не стоит; вы его уступите Лоле.

Он сел. Площадка опустела, на эстраде музыкантов больше не было: гаучо закончили свое танго, их должен был сменить негритянский джаз‑банд.

— Что вы пьете? — спросил Матье.

Вокруг галдели, Ивиш приняла его неплохо: он был пронизан влажным теплом, он радовался счастливой плотности, благодаря которой чувствовал себя человеком среди других людей.

— Водку, — сказала Ивиш.

— Вот как, вы теперь ее любите?

— Она крепкая, — не уточняя, пояснила Ивиш.

— А это что? — спросил Матье, из чувства справедливости показав на белую пену в бокале Бориса. Борис смотрел на Матье с веселым изумленным восхищением, и тот смутился.

— Это отвратительное пойло, — сказал Борис, — коктейль по рецепту бармена.

— Вы его заказали из вежливости?

— Уже три недели он мне выламывает руки, заставляет попробовать. Он не умеет делать коктейли. Он стал барменом, потому что был фокусником. Говорит, это одно и то же ремесло, но он ошибается.

— Думаю, все дело в шейкере, — сказал Матье, — и потом, когда разбивают яйца, необходима ловкость рук.

— Тогда лучше было бы стать жонглером. Я бы так и не выпил эту чертову микстуру, если б сегодня вечером не одолжил у него сто франков.

— Сто франков? — удивилась Ивиш. — Но у меня они есть.

— У меня тоже, — сказал Борис, — но у него я взял потому, что он бармен. У бармена всегда следует брать в долг, — объяснил он с оттенком педантичности.

Матье посмотрел на бармена. Тот стоял за стойкой, весь в белом, скрестив руки, и с невозмутимым видом курил сигарету.

— Я бы хотел быть барменом, — признался Матье, — вероятно, это забавно.

— Это бы вам дорого обошлось, — ухмыльнулся Борис, — вы бы все перебили.

Наступило молчание. Борис смотрел на Матье, а Ивиш — на Бориса. «Я здесь лишний», — с грустью подумал Матье.

Метрдотель протянул ему карту шампанских вин: нужно было сосредоточиться, у него оставалось не более пятисот франков.

— Виски, — заказал Матье.

Внезапно он ужаснулся этой бережливости и той тоненькой пачке, что болталась в его кошельке. Он окликнул метрдотеля.

— Подождите! Лучше шампанского.

Он снова взял карту. «Мумм» стоило триста франков.

— Вам оно понравится, — сказал он Ивиш.

— Нет. Да, — заколебалась она. — Пожалуй.

— Принесите «Мумм» с красной лентой.

— Рад буду выпить шампанского, — сказал Борис, — потому что я его не люблю. Нужно привыкать.

— Вы оба какие‑то противоестественные, — заметил Матье, — всегда пьете то, чего не любите.

Борис расцвел: он обожал, когда Матье говорил с ним таким тоном. Ивиш поджала губы. «Им ничего нельзя сказать, — с некоторым раздражением подумал Матье. — Всегда один из них обижается». Они сидели здесь, напротив него, внимательные и суровые; они видели его по‑своему, и тот, и другой хотели, чтобы он соответствовал их представлениям. Но совпадения не получалось.

Они замолчали.

Матье вытянул ноги и довольно улыбнулся. Звуки труб, кисловатые и победоносные, временами доходили до него; у него не было желания обнаружить в них какую‑то мелодию: это было здесь, вот и все, производило шум и давало ему огромное чувственное наслаждение. Разумеется, Матье очень хорошо понимал, что он человек пропащий; но здесь, в дансинге, за этим столиком, среди таких же пропащих, как и он, людей все это не имело особого значения и было совсем не тягостно. Он повернул голову: бармен все еще витал в облаках; справа от него стоял в одиночестве какой‑то изможденный господин с моноклем, а другой, чуть дальше, тоже один, сидел с дамской сумочкой перед тремя фужерами; его жена и друг, наверно, танцевали, вид у него был скорее удовлетворенный: он широко зевал, прикрывая рот рукой, глазки его умильно жмурились. Повсюду улыбающиеся и чистенькие лица с изнуренными глазами. Матье вдруг почувствовал себя связанным со всеми этими людьми, которым было бы лучше вернуться домой, но они не имели на это сил и оставались здесь, куря тонкие сигареты и попивая коктейли с металлическим привкусом, они улыбались, и уши их, видимо, страдали от музыки; они смотрели опустошенными глазами на осколки своей судьбы; Матье почувствовал негромкий призыв покорного и презренного счастья: «Быть, как они...» Он испугался и, вздрогнув, повернулся к Ивиш. Какой бы она ни была злопамятной и отчужденной, тем не менее она его единственная опора. Ивиш смотрела на прозрачную жидкость, оставшуюся у нее в бокале, и беспокойно поглядывала по сторонам.

— Нужно выпить залпом, — сказал Борис.

— Не делайте этого, — остановил ее Матье, — вы обожжете горло.

— Водку пьют залпом, — строго настаивал Борис.

Ивиш взяла бокал.

— Лучше уж залпом, чтобы скорее с этим покончить.

— Нет, не пейте, подождите шампанского.

— Мне необходимо это проглотить, — с раздражением сказала она, — я хочу веселиться.

Она откинулась назад, поднеся бокал к губам, и вылила содержимое в рот, как будто наполняла графин. Секунду она оставалась в том же положении, с этой огненной лужицей во рту, не решаясь глотнуть. Матье страдал вместе с ней.

— Глотай! — поторопил ее Борис. — Представь себе, что это вода, только и всего.

Шея Ивиш раздулась, она поставила бокал с ужасной гримасой, глаза ее были полны слез. Темноволосая дама, их соседка, выйдя на мгновение из грустной мечтательности, бросила на нее укоризненный взгляд.

— Фу! — выдохнула Ивиш. — Жжет... это просто огонь!

— Я тебе куплю бутылку, чтобы ты упражнялась, — сказал Борис.

Ивиш секунду размышляла.

— Лучше тренироваться на коньяке, он крепче. — Она добавила с некоторой тревогой: — Думаю, теперь я повеселюсь. Никто ей не ответил. Она живо повернулась к Матье: в первый раз она на него смотрела.

— Вы хорошо переносите спиртное?

— Он? Он неподражаем, — сказал Борис. — Однажды я видел, как он выпил семь порций виски, рассказывая мне о Канте. В конце я уже не слушал, захмелел вместо него.

Это была правда: даже таким способом Матье не мог потерять себя. Пока он пил, он цеплялся. За что? Вдруг он снова увидел Гогена, толстое бледное лицо с опустошенным взглядом; он подумал: «За свое человеческое достоинство». Он боялся, что, забудься он хоть на мгновение, он внезапно обнаружит в своей голове, растерянной, плывущей, как знойный туман, мыслишку мухи или же таракана.

— Я боюсь опьянеть, — покорно объяснил он, — я пью, но отвергаю опьянение всем своим существом.

— Тут‑то вы упрямы, — восхищенно сказал Борис, — упрямей осла!

— Я не упрям, а просто собран: не умею распускать себя. Мне всегда нужно мыслить о том, что со мной происходит, это моя самозащита. — Он шутливо добавил как бы для себя самого: — Я мыслящий тростник.

Как бы для себя самого. Но это неправда, он не был искренним: в глубине души он хотел понравиться Ивиш. Он подумал: «Значит, вот до чего я докатился!» Он докатился до того, что использует свою немощь, но не для того, чтобы извлечь мелкую выгоду, она нужна ему, чтобы любезничать с девицами. «Негодяй!» Тут он в испуге остановился: называя себя негодяем, он тоже не вполне искренен, по‑настоящему он собою не возмущен. Это просто прием, чтобы откупиться, он надеялся избежать нравственного падения через свою хваленую «трезвость». Но эта трезвость ему ничего не стоила, она его скорее забавляла. И даже его суждения об этой трезвости — просто способ вскарабкаться на собственные плечи... «Нужно измениться до мозга костей». Но ему ничто не могло помочь: все его мысли с самого их зарождения инфицированы. Вдруг Матье открылся, как рана; он увидел себя всего, разверстого: мысли, мысли о мыслях, мысли о мыслях о мыслях, он был прозрачен до бесконечности, он до бесконечности прогнил. Потом все потухло, он снова сидел напротив Ивиш, которая странно на него смотрела.

— Ну как? — спросил он. — Вы днем занимались?

Ивиш рассерженно дернула плечами.

— Я не хочу, чтобы мне об этом напоминали! Надоело; я сюда пришла веселиться.

— Она весь день пролежала на диване, свернувшись калачиком, широко раскрыв глаза.

И Борис гордо добавил, не обращая внимания на мрачный взгляд, который на него метнула сестра:

— Она такая забавная, она может умереть от холода в разгаре лета.

Матье представил себе, как Ивиш несколько часов кряду дрожала, возможно, плакала. Впрочем, теперь ничего не было заметно: она наложила на веки голубые тени, на губы — малиновую помаду, алкоголь воспламенил ее щеки, она была обворожительна.

— Я хочу провести потрясающий вечер, — сказала она, — потому что это мой последний вечер.

— Не смешите.

— Да, — настаивала она, — я провалюсь, я это знаю, и сразу же уеду, я больше ни дня не смогу остаться в Париже. Или...

Она замолчала.

— Или?

— Ничего. Прошу вас, не будем больше об этом, это меня унижает. А вот и шампанское! — весело сказала она.

Матье увидел бутылку и подумал: «350 франков». Малый, накануне подошедший к нему на улице Верцингеторига, тоже был пропащим, но он потерпел крушение скромно, без шампанского и прекрасных безумств; и, кроме того, он хотел есть. Матье возненавидел бутылку. Тяжелая и черная, с белой салфеткой вокруг горлышка. Официант, наклонившийся над ведерком со льдом с почтительным чопорным видом, умело вращал ее кончиками пальцев. Матье смотрел на бутылку, непрерывно думая о вчерашней встрече и чувствуя, как сердце сжимается от подлинной тоски, но зато на эстраде некто благообразный пел в микрофон:

Он попал в цель,

Наш Мишель.

И потом эта бутылка, церемонно вращающаяся в кончиках бледных пальцев, все эти люди, варящиеся в собственном соку, не создавая себе лишних неприятностей. Матье подумал: «Шампанское отдает красным вином; в принципе это одно и то же. Впрочем, не люблю шампанского». Дансинг показался ему маленьким адом, легким, как мыльный пузырь, и он улыбнулся.

— Почему вы смеетесь? — спросил, заранее смеясь, Борис.

— Я вспомнил, что тоже не люблю шампанского.

Они втроем засмеялись. Смех Ивиш был пронзительным; ее соседка повернула голову и смерила ее взглядом.

— Хорошо же мы выглядим! — сказал Борис. Он добавил: — Мы можем его вылить в ведерко со льдом, когда официант уйдет.

— Конечно, — сказал Матье.

— Нет! — решила Ивиш. — Я хочу выпить; если вы не будете, я выпью всю бутылку.

Официант налил им, и Матье меланхолически поднес бокал к губам. Ивиш смотрела на свой с замешательством.

— Было бы неплохо, — сказал Борис, — если б его подавали кипящим.

Белые лампочки погасли, зажглись красные, и зазвучала дробь барабана. Маленький лысый и кругленький господин в смокинге выпрыгнул на эстраду и заулыбался в микрофон.

— Дамы и господа, дирекция «Суматры» счастлива представить вам первое выступление в Париже мисс Эллинор! Мисс Элли‑но‑ор! — повторил он.

При первых тактах бигина в зал вошла высокая блондинка. Она была откровенно обнажена, ее тело в красноватом воздухе зала походило на большой кусок хлопка. Матье повернулся к Ивиш: она смотрела на голую девушку широко раскрытыми бледными глазами, на лице ее снова застыло выражение фанатичной жестокости.

— Я ее знаю, — прошептал Борис.

Девица танцевала, обуреваемая желанием понравиться: она выглядела совсем неопытной; она энергично выбрасывала поочередно ноги, вытянутые узкие ступни были похожи на пальцы.

— Она переигрывает, — сказал Борис, — скоро выдохнется.

И действительно, в ее длинных конечностях была пугающая хрупкость; когда она ставила ступни на пол, толчки сотрясали ее ноги от щиколоток до бедер. Она подошла к эстраде и повернулась. «Начинается, — с досадой подумал Матье, — сейчас будет крутить задом». Шум разговоров временами заглушал музыку.

— Она не умеет танцевать, — сказала соседка Ивиш, поджав губы. — Раз уж заламывают такие цены за выпивку, так хоть научились бы подбирать эстрадные номера.

— У них есть еще Лола Монтеро, — сказал толстяк.

— Ну и что, все равно это позор, они подобрали ее на панели.

Она отхлебнула коктейля и принялась поигрывать кольцами. Матье пробежал взглядом по залу и встретил только хмурые и праведные лица; люди упивались своим негодованием, девица казалась им вдвойне голой, потому что была порядком неуклюжа. Казалось, она чувствует эту враждебность и надеется их смягчить. Матье был поражен ее растерянной старательностью: она им предлагала свои распахнутые ягодицы в порыве трогательной прилежности.

— До чего же усердствует! — сказал Борис.

— Это ей не поможет, — отозвался Матье, — они хотят, чтобы их уважали.

— Но при этом хотят видеть задницы.

— Да, но им нужно, чтобы все было изысканно.

Какое‑то время ноги танцовщицы отплясывали под залихватским бессилием ее зада, затем она с улыбкой выпрямилась, подняла руки и потрясла ими: от этого по ее телу волной прошла зыбь, которая скользнула вдоль лопаток и замерла в ложбинке поясницы.

— Забавно, что ее бедра неподвижны, — сказал Борис. Матье не ответил, он только что подумал об Ивиш. Он не смел на нее смотреть, но помнил ее жестокий вид; в конечном счете, пусть и священное дитя, она была, как все остальные: дважды защищенная грацией и благонравными одеждами, с плебейской страстью она пожирала глазами этот бедный кусок мяса. Комок обиды застрял в горле Матье, рот его переполнила горечь. «Не стоило сегодня утром так церемониться». Он немного повернул голову и увидел судорожно сжатый кулак Ивиш, лежащий на столе. Острый ярко‑красный ноготь большого пальца был указующей стрелкой направлен к сцене. «Она совсем одинока, — подумал он, — она прячет за прядями свое взволнованное лицо, она сдвигает колени, она наслаждается!» Эта мысль была для него невыносима, нужно было встать и исчезнуть, но у него не хватало сил, он просто подумал: «Стоило убеждать себя, что я люблю ее за чистоту». Танцовщица, подбоченившись, перемещалась рядом с ними на пятках и коснулась бедром их столика. Матье хотел бы возжелать этот толстый веселый зад, завершающий боязливый позвоночник, возжелать хотя бы для того, чтобы отвлечься от своих мыслей и насолить Ивиш. Девица присела на корточки, расставив ноги, она медленно раскачивала задом взад и вперед, как на маленьких вокзалах по ночам раскачиваются бледные фонари на оконечностях невидимых столбов.

— Фу! — фыркнула Ивиш. — Не хочу больше на нее смотреть.

Матье удивленно повернулся к ней и увидел треугольное лицо, искаженное бешенством и отвращением. «Она не была взволнована», — с благодарностью подумал он. Ивиш дрожала, он хотел ей улыбнуться, но в голове его зазвенели бубенчики; Борис, Ивиш, непристойное тело и пурпурный туман маячили вне его досягаемости. Он был один, вдали сверкали бенгальские огни, а в дыму ходило колесом чудовище о четырех ногах, праздничная музыка достигала его ушей резкими синкопами, как бы через влажный шелест листвы. «Что со мной?» — удивился он. Это было, как утром: вокруг него шел всего лишь спектакль, Матье был где‑то в другом месте.

Музыка резко смолкла, девица застыла, повернувшись лицом к залу. Над вымученной улыбкой светились затравленные прекрасные глаза. Никто не зааплодировал, прозвучали оскорбительные реплики.

— Сволочи! — вырвалось у Бориса. Он энергично захлопал. Люди обратили к нему удивленные лица.

— Перестань, — сердито сказала Ивиш, — перестань ей хлопать.

— Она делает то, что может, — аплодируя, бросил Борис.

— Тем более.

Борис пожал плечами.

— Я ее знаю, я ужинал с ней и Лолой, она славная девушка, но без царя в голове.

Девица отступила, улыбаясь и посылая воздушные поцелуи. Белый свет залил зал, это было пробуждение: люди рады были обнаружить себя среди своих после свершенного возмездия, соседка Ивиш закурила сигарету и сделала ласковую гримаску самой себе. Матье не просыпался, это был белый кошмар, вот и все, лица вокруг него лоснились со смешливым и вялым самодовольством, в большинстве своем они были пустынны. «Наверно, и мое лицо такое, оно, вероятно, имеет такую же уместность глаз, уголков губ, и, несмотря на это, должно быть видно, что оно совершенно полое». Из кошмара выплыла тень — этот человек, который прыгал на эстраде и размахивал руками, призывая к тишине, казалось, он заранее предвкушал удивление, которое вызовет, когда скажет в микрофон с аффектацией, без комментариев, совсем просто столь знаменитое имя:

— Лола Монтеро!

Зал вздрогнул от энтузиазма и ощущения сопричастности, аплодисменты затрещали, как пулемет, Борис был в восторге.

— Они в хорошем настроении, все будет в порядке!

Лола прислонилась к двери; издалека ее расплющенное и изборожденное морщинами лицо казалось мордой льва, ее плечи — мерцающая белизна с зелеными отблесками, это была листва березы в ветреный вечер под фарами автомобиля.

— Как она красива! — прошептала Ивиш.

Она приближалась широкими спокойными шагами с выражением исполненного непринужденности отчаяния. У нее были маленькие руки и грузная грация султанши, но в ее походке сквозило мужское благородство.

— Она им бросает вызов, — восхищенно сказал Борис, — ее‑то на крючок они не поймают.

Это была правда: люди в первом ряду, робея, отодвинулись дальше от сцены, они едва осмеливались смотреть так близко на столь знаменитую особу. Прекрасное лицо трибуна, значительное и простое, обремененное всенародной значимостью; рот знал свое дело: он был привычен, выпятив губы, широко раскрываться и извергать слова ужаса и отвращения, и голос этот был создан для больших помещений. Лола вдруг застыла, соседка Ивиш вздохнула возмущенно и восхищенно одновременно. «Они в ее руках», — подумал Матье.

Он почувствовал смущение: в глубине души Лола была благородной и пылкой, однако лицо ее лгало, оно лишь играло в благородство и пылкость. Она страдала, Борис приводил ее в отчаяние, но пять минут в день она имела возможность страдать красиво! «А я? Разве я не страдаю красиво, изображая под музыкальный аккомпанемент пропащего человека? И тем не менее, — подумал он, — я действительно пропащий человек». Вокруг него было то же самое: люди, которые вовсе не существовали, просто испарения, и рядом другие, которые, пожалуй, существовали с избытком. Например, бармен. Недавно он курил свою сигарету, неопределенный и поэтичный, как вьюнок, а теперь проснулся и был барменом с лихвой, он тряс шейкер, открывал его, выливал в бокалы желтую пену подчеркнуто точными жестами, он играл в бармена. Матье подумал о Брюне. «Может быть, нельзя поступать иначе, может быть, нужно выбирать: или быть ничем, или играть то, что ты есть. Это было бы ужасно, — сказал он себе, — надо быть лицедеем по природе».

Лола неспешно оглядывала зал. Ее страдальческая гримаса ожесточилась и застыла, она выглядела бы мертвенной, если бы в глубине ее глаз, единственно живых на этом лице, Матье не рассмотрел страстное и угрожающее, отнюдь не наигранное любопытство. Наконец она заметила Бориса и Ивиш и, казалось, успокоилась. Она послала им полную доброты улыбку, затем с потерянным видом объявила:

— Матросская песня «Джонни Пальмер».

— Я люблю ее голос, — сказала Ивиш, — он похож на плотный бархат.

— Да.

Матье подумал: «Опять «Джонни Пальмер»!» Оркестр сыграл вступление, и Лола подняла тяжелые руки, готово, она перекрестилась, и он увидел, как открылся ее кроваво‑красный рот.

Кто жестоко себя и ревниво ведет?

Кто мухлюет в игре, если карта нейдет?

Матье больше не слушал, ему было стыдно перед этим воплощенным страданием. Это была только видимость, он это хорошо знал, но тем не менее.

«Я не умею страдать, я никогда по‑настоящему не страдаю». Самое тягостное в страдании — его призрачность, постоянно бежишь за ним, думаешь, что сейчас его догонишь, бросишься к нему и предашься ему, сжимая зубы, но в тот момент, когда ты в него падаешь, оно ускользает, и не находишь ничего, кроме растерянности слов и сонма копошащихся безумных умозаключений: «Оно непрерывно болтает в моей голове, оно не прекращает своей болтовни, отдам, что угодно, чтоб только заткнуться». Он с завистью посмотрел на Бориса; за этим упрямым лбом должна быть огромная тишина.

Кто жестоких ревнивцев наглядный пример?

Это Джонни Пальмер.

«Я вру». Его унижения, его жалобы были ложью, пустотой, он столкнул себя в пустоту, вытеснил себя из себя, чтобы избежать непереносимой тяготы своего истинного мира. Мира сумрачного и знойного, провонявшего эфиром. В этом мире Матье не был пропащим, вовсе нет, все было куда хуже: в нем он был весел, весел и преступен. Это Марсель пропадет, если он не раздобудет пяти тысяч франков до послезавтра. Поистине пропадет, притом без всякого романтизма; это означало, что она родит ребенка или рискует умереть в лапах знахарки. В этом мире страдание не было состоянием души, и не требовалось слов, чтоб его выразить: оно было сутью жизни. «Женись на ней, липовый шалопай, женись, мой дорогой, почему бы тебе на ней не жениться?» «Наверняка она не выдержит», — с ужасом подумал Матье. Все зааплодировали, и Лола соизволила улыбнуться. Она поклонилась и сказала:

— Песня из «Трехгрошовой оперы» — «Невеста пирата».

«Я не люблю, когда она это поет. Марго Лион гораздо лучше. Гораздо таинственнее. Лола — рационалистка, в ней нет тайны. И потом она слишком добра. Она меня ненавидит огромной, всепоглощающей ненавистью, это святое чувство — ненависть честного человека». Он рассеянно слушал свои легкие мысли, которые сновали в мозгу, как мыши на чердаке. Внизу был плотный, печальный сон, уплотненный мир, ждущий в полном молчании: Матье рано или поздно свалится в него снова. Перед ним опять всплыло лицо Марсель, ее жесткий рот и растерянные глаза: «Женись на ней, липовый шалопай, женись, ведь ты вступил в возраст зрелости, нужно на ней жениться».

Высокий корабль у всех на виду

С дюжиной пушек на каждом борту

Застынет в порту.

«Хватит! Хватит! Я добуду деньги, я их в конце концов добуду либо женюсь на ней; это решено, я не мерзавец, но на этот вечер, только на этот вечер, пусть они оставят меня в покое, я хочу все забыть; Марсель не забывает, сейчас она в своей комнате, лежит на кровати и вспоминает все, она меня видит, она вслушивается в гул своего тела, и что дальше? Я дам ей свое имя, если надо, всю мою жизнь, но эта ночь — моя». Он обернулся к Ивиш, устремился к ней, она ему улыбнулась, но он понял, что она его даже не видит. А в это время зал аплодировал. «Еще! — требовали зрители. — Еще!» Лола не обратила внимания на эти выкрики: в два часа ночи у нее было еще одно выступление, и она берегла себя. Лола дважды поклонилась и направилась к Ивиш. Головы повернулись к их столику. Матье и Борис встали.

— Здравствуйте, здравствуйте, моя маленькая Ивиш.

— Здравствуйте, Лола, — вяло отозвалась Ивиш.

Лола слегка дотронулась до подбородка Бориса.

— Здравствуй, стервец.

Ее спокойный и серьезный голос придавал слову «стервец» некоторое достоинство; казалось, Лола выбрала его нарочно среди неуклюжих и патетических слов своих песен.

— Здравствуйте, Лола, — поздоровался Матье.

— А! — сказала она. — Вы тоже здесь?

Они сели. Лола повернулась к Борису, она вела себя совершенно непринужденно.

— Кажется, Эллинор освистали?

— Да, вроде того.

— Она пришла поплакать в мою гримерную. Саррюньян в бешенстве, за последнюю неделю это уже в третий раз.

— Он ее не выгонит? — с беспокойством спросил Борис.

— Хотел: у нее ведь нет контракта. Я ему сказала: если она уйдет, уйду и я.

— Что он тебе ответил?

— Что она может остаться еще на неделю.

Лола пробежалась взглядом по залу и громко сказала:

— Сегодня вечером мерзкая публика.

— А по‑моему, ничего, — возразил Борис. Соседка Ивиш, беззастенчиво пожиравшая Лолу глазами, вздрогнула. Матье захотелось рассмеяться; он считал Лолу очень симпатичной.

— У тебя нет навыка, — сказала Лола. — Я, как только вошла, сразу же увидела, что они только что выкинули злой фортель, все сидели мрачнее тучи. Знаешь, — добавила она, — если девчонка потеряет место, ей останется только идти на панель.

Ивиш вдруг подняла голову, у нее был потерянный вид.

— А мне на это плевать! — энергично сказала она. — Панель ей подходит больше, чем эстрада.

Она делала усилия держать голову прямо, а блеклые покрасневшие глаза открытыми. Вдруг она утратила уверенность и добавила примирительно и сконфуженно:

— Естественно, я понимаю, ей тоже нужно зарабатывать на жизнь.

Никто не ответил, и Матье страдал за нее: наверное, ей было трудно держать голову прямо. Лола невозмутимо посмотрела на Ивиш. Как будто думала: «Типичная девчонка из богатой семьи». Ивиш хихикнула.

— А мне танцевать не нужно, — пролепетала она шаловливо.

Тут ее смех прервался, и голова упала на грудь.

— Что это с ней?.. — спокойно спросил Борис. Лола с любопытством посмотрела на Ивиш. Через минуту она протянула маленькую пухлую ручку, схватила Ивиш за волосы и подняла ей голову. У Лолы был вид сестры милосердия.

— Что с нашим малышом? Мы много выпили?

Она отстраняла, как занавес, светлые волосы Ивиш, обнажая большую бледную щеку. Ивиш приоткрыла умирающие глаза, голова ее свалилась назад. «Сейчас ее стошнит», — равнодушно подумал Матье. Лола стала теребить Ивиш за волосы.

— Откройте глаза, ну же, откройте глаза! Посмотрите на меня!

Глаза Ивиш широко раскрылись, в них сверкала ненависть.

— Ну вот: я смотрю на вас, — произнесла она отчетливо ледяным голосом.

— Вот те на, — сказала Лола, — да вы не так уж и пьяны.

Она отпустила волосы Ивиш. Ивиш быстро подняла руки и сбила локоны на щеки. Было впечатление, будто она лепит маску, и действительно, треугольное лицо вновь появилось из‑под ее пальцев, но губы и глаза казались изнуренными. Несколько минут она оставалась неподвижной, с пугающим видом сомнамбулы, в это время оркестр заиграл медленный фокстрот.

— Ты меня приглашаешь? — спросила Лола.

Борис встал, и они пошли танцевать. Матье проводил их взглядом, ему не хотелось говорить.

— Эта женщина меня осуждает, — мрачно сказала Ивиш.

— Лола?

— Нет, за соседним столиком. Она меня осуждает.

Матье не ответил. Ивиш продолжала:

— Мне так хотелось сегодня вечером повеселиться, и... на тебе! Ненавижу шампанское!

«Она должна и меня ненавидеть, потому что это я ее заставил пить шампанское». Он с удивлением увидел, как Ивиш достала из ведерка бутылку и наполнила свой бокал.

— Что вы делаете? — удивился он.

— По‑моему, я недостаточно выпила. Надо дойти до определенного состояния, а потом становится хорошо.

Матье подумал, что следовало бы помешать ей пить, но так ничего и не предпринял. Ивиш поднесла бокал к губам и скривилась от отвращения.

— Как противно, — сказала она, поставив бокал.

Борис и Лола танцевали рядом с их столиком, они смеялись.

— Порядок, детка? — крикнула Лола.

— Теперь все в норме, — отозвалась, любезно улыбаясь, Ивиш.

Она снова взяла бокал с шампанским и залпом осушила его, не сводя глаз с Лолы. Лола ответила ей улыбкой, и пара, танцуя, удалилась. У Ивиш был зачарованный вид.

— Она прижимается к нему, — невнятно пробормотала она, — это... это смешно. У нее вид людоедки.

«Она ревнует, — сказал себе Матье. — Но кого из них?»

Ивиш была полупьяна, она улыбалась с видом одержимой, полностью занятая Борисом и Лолой, он же был для нее лишь помехой, в лучшем случае предлогом, чтобы поразмышлять вслух: ее улыбки, ее гримасы и все слова, которые она ему говорила, в сущности, предназначались ей самой. «Это должно быть для меня невыносимо, — подумал Матье, — а ведь, по правде говоря, нисколько меня не трогает».

— Потанцуем? — внезапно предложила Ивиш.

Матье вздрогнул.

— Но вы же не любите со мной танцевать.

— Сейчас это не имеет значения, — сказала Ивиш, — я пьяна.

Она, шатаясь, встала, тут же чуть не упала и схватилась за край стола. Матье обнял ее и увлек за собой, они вошли в паровую баню, толпа сомкнулась вокруг них, темная и пахучая. На мгновение Матье растерялся. Но сразу же сориентировался, он топтался на месте позади негра, он был один, с первых же тактов Ивиш испарилась, он ее больше не чувствовал.

— Какая вы легкая.

Он опустил глаза и увидел ноги танцующих. «Тут много таких, кто танцует не лучше меня», — подумал он. Он держал Ивиш на расстоянии, почти на длину руки, и не смотрел на нее.

— Вы танцуете правильно, — сказала она, — но чувствуется, что вам это не доставляет удовольствия.

— Меня это конфузит, — признался Матье.

Он улыбнулся.

— Вы удивительное создание, только что вы едва передвигали ноги, теперь танцуете, как профессионалка.

— Я могу танцевать мертвецки пьяной, — сказала Ивиш, — я могу танцевать всю ночь, это меня никогда не утомляет.

— Я бы тоже хотел так.

— Вы бы так не смогли.

— Знаю.

Ивиш лихорадочно огляделась.

— Я не вижу людоедки, — сказала она.

— Вы имеете в виду Лолу? Она слева, сзади вас.

— Пошли к ним, — предложила Ивиш.

Они толкнули тщедушную парочку, мужчина извинился, а женщина угрюмо смерила их взглядом; Ивиш, повернув голову назад, тянула, пятясь, за собой Матье. Ни Борис, ни Лола не заметили, как они приблизились, Лола закрыла глаза, веки ее были как два голубых пятна на суровом лице, Борис улыбался, затерянный в своей ангельской отрешенности.

— А теперь? — спросил Матье.

— Останемся здесь, тут больше места.

Ивиш заметно потяжелела, она почти не танцевала, неотступно глядя на брата и Лолу. Матье видел только кончик ее уха между двумя локонами. Борис и Лола, кружась в танце, приблизились. Когда они были совсем рядом, Ивиш ущипнула брата за предплечье.

— Здравствуй, мальчик с пальчик.

Борис удивленно вытаращил глаза.

— Эй! — сказал он. — Подожди, Ивиш! Почему ты меня так назвала?

Ивиш не ответила, она заставила Матье сделать крутой поворот и повернулась к Борису спиной. Лола открыла глаза.

— Ты понимаешь, почему она меня так назвала? — спросил у нее Борис.

— Догадываюсь, — ответила Лола.

Борис сказал еще несколько слов, но шквал аплодисментов заглушил его голос; джаз умолк, негры спешили собрать инструменты и уступить место аргентинскому оркестру.

Ивиш и Матье подошли к своему столику.

— Я безумно развлекаюсь! — воскликнула Ивиш. Лола уже сидела.

— Вы замечательно танцуете, — сказала она Ивиш. Та не ответила и лишь пристально посмотрела на Лолу.

— Я думал, вы вообще не танцуете, — сказал Борис Матье.

— Этого захотела ваша сестра.

— Такому здоровяку, как вы, скорее подошел бы акробатический танец, — заметил Борис.

Наступило гнетущее молчание. Ивиш безмолвствовала, одинокая и вызывающая. Никому не хотелось говорить. Над их головами возникло подобие неба, круглого, сухого и знойного. Снова зажглись лампочки. При первых тактах танго Ивиш наклонилась к Лоле и хрипло проговорила:

— Пойдемте.

— Я не умею вести.

— Я сама поведу, — сказала Ивиш. Оскалив зубы, она неприязненно добавила: — Не бойтесь, я веду, как мужчина.

Обе встали. Ивиш грубо обняла Лолу и подтолкнула к площадке.

— А они занятные, — набивая трубку, заметил Борис.

— Да.

Особенно занятно выглядела Лола: у нее был вид молодой барышни.

— Посмотрите, Матье, — сказал Борис.

Он вынул из кармана огромный нож с роговой рукояткой и положил его на стол.

— Это баскский нож, — объяснил Борис, — со стопорной насечкой.

Матье вежливо взял нож и попытался его открыть.

— Не так, несчастный! — вскрикнул Борис. — Вы себя убьете!

Он взял нож, открыл его и положил рядом со своим бокалом.

— Это нож каида [[4]](#footnote-4) , — пояснил он. — Видите коричневые пятна? Тип, который мне его продал, поклялся, что это кровь.

Они замолчали. Матье видел вдалеке трагическое лицо Лолы, скользящее над темным морем. «Я не знал, что она такая высокая». Он отвел глаза и увидел на лице Бориса наивное удовольствие, которое растопило сердце Матье. «Он радуется, потому что он со мной, — с раскаянием подумал он, — а мне, как всегда, нечего ему сказать».

— Посмотрите на женщину, которая только что вошла. Справа, за третьим столиком, — сказал Борис.

— Блондинка в жемчугах?

— Да, в фальшивых. Осторожно, она смотрит на нас. Матье украдкой бросил взгляд на высокую, красивую, надменную девушку.

— Как она вам?

— Так себе.

— В прошлый вторник она на меня положила глаз, она напилась и все время приглашала меня танцевать. Более того, она мне подарила свой портсигар, Лола взбесилась и отправила его через официанта обратно. — Он скромно добавил: — Портсигар был серебряный, украшен камнями.

— Она не сводит с вас глаз, — сказал Матье.

— Так я и думал.

— Как вы поступите?

— Никак, — презрительно ответил Борис. — Она содержанка.

— Ну и что? — удивленно спросил Матье. — С чего это вы вдруг стали таким пуританином?

— Да не в этом дело, — смеясь, проговорил Борис. — В конечном счете все эти шлюхи, танцовщицы, певички — всегда одно и то же. Что та, что эта — никакой разницы. — Он положил трубку и серьезно добавил: — К тому же в отличие от вас я человек целомудренный.

— Гм! — хмыкнул Матье.

— Вы в этом убедитесь, — сказал Борис, — вы в этом убедитесь, я вас еще удивлю: буду жить, как монах, как только брошу Лолу.

Он самодовольно потирал руки. Матье сказал:

— Лолу вы бросите не скоро.

— Первого июля. Хотите на спор? Что поставите?

— Ничего. Каждый месяц вы спорите со мной, что порвете с ней в следующем месяце, и каждый раз проигрываете. Вы мне уже должны сто франков, пару биноклей для скачек, пять сигар «Корона» и пароход, груженный бутылками, который мы видели на Сене. Вы никогда всерьез не собирались порвать с Лолой, вы слишком привязаны к ней.

— Вы мне наносите удар прямо в сердце.

— Просто это сильнее вас, — спокойно продолжал Матье. — Но вам тягостно чувствовать зависимость, это приводит вас в ярость.

— Да замолчите же! — зло и весело сказал Борис. — Вы еще побегаете за своими сигарами и пароходом.

— Не сомневаюсь. Вы никогда не платите долгов чести: вы маленький пройдоха.

— А вы посредственность! — выпалил Борис.

Лицо его просияло.

— Согласитесь, что это потрясающее оскорбление: месье, вы посредственность!

— Неплохо, — признал Матье.

— А можно еще лучше: месье, вы ничтожество!

— Нет, — сказал Матье, — не то, это куда слабее.

Борис добросовестно это признал.

— Вы правы, — сказал он, — вы отвратительны, потому что всегда правы.

Он снова старательно раскурил трубку.

— По правде говоря, у меня есть идея, — сказал он со смущенно‑одержимым видом, — я хотел бы иметь любовницей великосветскую даму.

— Вот как? — удивился Матье. — А почему?

— Не знаю. Думал, что это должно быть забавно, вероятно, они большие кривляки. И потом это лестно, некоторые из них упоминаются в «Вог». Разве я не прав? Покупаешь «Вог», смотришь фотографии, видишь: графиня де Рокамадур со своими шестью борзыми — и думаешь: «А я вчера с ней переспал». Потрясающе!

— А блондинка уже вам улыбается, — сказал Матье.

— Да. Она нахальная. Знаете, она это из чистого разврата, ей хочется увести меня у Лолы, она ее не переносит. Повернусь‑ка я к ней спиной, — решил он.

— А что с ней за тип?

— Приятель. Он танцует в «Альказаре». Как, по‑вашему, красивый? Посмотрите на эту рожу. Ему уже около тридцати пяти, а все корчит из себя Керубино.

— Ну и что? — сказал Матье. — Когда вам будет тридцать пять, вы тоже будете таким.

— В тридцать пять, — строго сказал Борис, — я уже давно сдохну.

— Вы любите об этом говорить.

— У меня туберкулез.

— Знаю (однажды Борис, чистя зубы, поцарапал десны и плевался кровью), знаю, ну и что?

— Мне безразлично, туберкулез у меня или нет, — сказал Борис. — Просто терпеть не могу лечиться. Я считаю, что не следует жить после тридцати, потом ты уже старый хрыч. — Он посмотрел на Матье и добавил: — Я говорю не о вас.

— Конечно, — сказал Матье, — но вы правы: после тридцати ты старый хрыч.

— Мне хотелось бы быть на два года старше и всю жизнь оставаться в этом возрасте: это было бы наслаждением.

Матье смотрел на него с оскорбленной симпатией. Молодость для Бориса была одновременно преходящим и дармовым качеством, которым следовало цинично пользоваться, и нравственной добродетелью, достоинством, соответственно которому следовало себя вести. Больше того, это было оправданием. «Пускай себе, — подумал Матье, — он умеет быть молодым». Быть может, он единственный из всех действительно был всецело здесь, в дансинге. «По существу, это не так уж глупо: прожить молодость до дна и отдать концы в тридцать лет. Как бы то ни было, после тридцати ты все равно покойник».

— У вас чертовски озабоченный вид, — сказал Борис.

Матье вздрогнул: Борис покраснел от смущения, но смотрел на Матье с тревожным участием.

— Это заметно? — спросил Матье.

— Еще как.

— У меня денежные неприятности.

— Вы не умеете жить, — нравоучительно сказал Борис. — Если б у меня было ваше жалованье, мне не пришлось бы одалживать. Хотите сто франков бармена?

— Нет, спасибо, мне нужно пять тысяч.

Борис понимающе свистнул.

— О, простите, — сказал он. — А разве вам не даст их ваш друг Даниель?

— Он не может.

— А ваш брат?

— Не хочет.

— Вот гадство! — опечаленно воскликнул Борис. — А что, если... — смущенно начал он.

— Если что?

— Ничего, просто я подумал: как глупо, ведь у Лолы в загашнике полно денег, и она не знает, что с ними делать.

— Я не хочу их одалживать у Лолы.

— Но клянусь вам, они лежат без движения. Если бы речь шла о счете в банке, я бы промолчал: она покупает акции, играет на бирже, по‑моему, она любит загребать монету. Но у нее уже четыре месяца при себе семь тысяч франков, она к ним не притронулась, даже не нашла времени снести их в банк. Они просто валяются у нее в шкатулке.

— Да поймите же, — рассердился Матье, — я не могу одалживать деньги у Лолы, она меня не выносит.

Борис засмеялся.

— Что да, то да! Она вас не выносит.

— Вот видите.

— Все равно это глупо, — сказал Борис. — Вы влипли, как вошь, из‑за каких‑то пяти тысяч, они у вас под рукой, а вы не хотите их взять. А что, если я попрошу их для себя?

— Нет, нет! Ни в коем случае! — живо запротестовал Матье. — Все равно она в конце концов узнает правду. Серьезно, — настойчиво сказал он, — мне было бы это очень неприятно.

Борис не ответил. Он взял нож двумя пальцами, медленно поднял его на уровень лба острием вниз. Матье чувствовал себя неловко. «Я подлец, — подумал он, — я не имею права корчить из себя порядочного человека за счет Марсель». Он повернулся к Борису, хотел сказать ему: «Валяйте, я согласен», — но кровь прилила к лицу, и он не смог выдавить из себя ни слова. Борис раздвинул пальцы, нож упал. Лезвие вонзилось в пол, и рукоятка завибрировала.

Ивиш и Лола вернулись. Борис поднял нож и положил его на стол.

— Что это за ужас? — спросила Лола.

— Это нож каида, — сказал Борис, — чтобы заставить тебя ходить по струнке.

— Ты просто гаденыш.

Оркестр заиграл другое танго. Борис мрачно посмотрел на Лолу.

— Пойдем танцевать, — процедил он сквозь зубы.

— От всех вас можно дать дуба, — сказала Лола. Но лицо ее озарилось, и она добавила со счастливой улыбкой: — А ты милый.

Борис встал, и Матье подумал: «Сейчас он все же попросит у нее денег». Он был раздавлен стыдом, но почувствовал приятное облегчение. Ивиш села рядом.

— Лола бесподобна, — сказала она хрипло.

— Да, она красива.

— Да!.. А какое тело! Это так волнует — изможденное лицо при цветущем теле. Я чувствовала, как утекает время, у меня было впечатление, что она увянет прямо в моих руках.

Матье следил за Борисом и Лолой. Борис еще не приступил к делу. Кажется, он шутил, а Лола ему улыбалась.

— Она симпатичная, — рассеянно сказал Матье.

— Симпатичная? Ну уж нет! — сухо отрезала Ивиш. — Это грязная баба, животное, самка. — Она гордо добавила: — Я ее смущала.

— Я видел, — сказал Матье. Он нервно, то так, то эдак, закидывал ногу на ноту.

— Хотите потанцевать? — спросил он.

— Нет, — отказалась Ивиш, — я хочу выпить. — Она до половины налила бокал и объяснила: — Хорошо пить, когда танцуешь, потому что танец мешает хмелю, а алкоголь поддерживает силы. — Она натянуто добавила: — Как прекрасно я развлекаюсь, я заканчиваю с блеском.

«Готово, — подумал Матье, — он с ней говорит». Борис стал серьезен, он говорил, не глядя на Лолу. Лола молчала. Матье почувствовал, что багровеет, он злился на Бориса. Плечи огромного негра на мгновение закрыли лицо Лолы, затем оно возникло снова — оно было непроницаемо; но тут музыка умолкла, толпа расступилась, Борис вышел из нее решительный и злой. Лола шла за ним, приотстав, вид у нее был недовольный. Борис склонился над Ивиш.

— Окажи мне услугу: пригласи ее, — быстро сказал он. Ивиш встала, не выказав удивления, и бросилась навстречу Лоле.

— Нет! — простонала Лола. — Нет, моя маленькая Ивиш, я так устала.

Некоторое время они препирались, и Ивиш все же Лолу увлекла.

— Она не хочет? — спросил Матье.

— Нет, — ответил Борис. — Но это ей дорого обойдется.

Он был бледен, его вяловато‑злобная мина придавала ему сходство с сестрой. Сходство было смутное и неприятное.

— Не делайте глупостей, — обеспокоенно сказал Матье.

— Вы на меня обижаетесь, да? — спросил Борис. — Вы же запретили мне с ней об этом говорить...

— Я был бы мерзавцем, если б обижался на вас: вы хорошо знаете, что я вам позволил... Так почему она отказала?

— Не знаю, — пожал плечами Борис. — Состроила мерзкую рожу и сказала, что деньги ей нужны самой. Вот так! — сказал он со злым удивлением. — Как только я у нее что‑нибудь попрошу... она встает на дыбы! Но она мне за это заплатит! Если женщина ее возраста хочет иметь молодого любовника...

— Как вы ей это преподнесли?

— Сказал, что это для приятеля, который хочет купить гараж. Я даже назвал ей фамилию: Пикар. Она его знает. Он действительно хочет купить гараж.

— Скорее всего она вам не поверила.

— Этого я не знаю, — сказал Борис, — зато точно знаю, что она мне сейчас за это заплатит.

— Успокойтесь, — попросил Матье.

— Все в порядке, — враждебно произнес Борис. — Это мое дело.

Он подошел к высокой блондинке и поклонился ей, та, слегка покраснев, поднялась со стула. Когда они начали танцевать, Лола и Ивиш прошли в танце рядом с Матье. Блондинка строила глазки, но ее улыбка была несколько настороженной. Лола хранила спокойствие, она величественно продвигалась вперед, и люди расступались перед ней, выказывая уважение. Ивиш двигалась спиной, закатив глаза к потолку, она ни о чем не подозревала. Матье взял нож Бориса за клинок и резкими, короткими ударами постучал рукояткой по столу. «Будет кровь», — подумал он. Впрочем, он плевал на это, он думал о Марсель: «Марсель, моя жена», — и что‑то с плеском сомкнулось над ним. «Она моя жена, она будет жить в моем доме». Вот так. Это естественно, абсолютно естественно, как дыхание, как глотание слюны. В нем неотступно звучало: «Иди, не раздражайся, будь уступчивым, будь естественным. В моем доме. Я ее буду видеть в любую минуту жизни». Он подумал: «Все ясно, у меня есть жизнь».

Жизнь. Он смотрел на все эти покрасневшие лица, на эти рыжие луны, скользящие на подушечках из облаков: «У них есть жизнь. У всех. У каждого своя. Эти жизни тянутся сквозь стены танцзала, сквозь парижские улицы, они пересекаются, перекрещиваются и остаются такими же строго индивидуальными, как зубная щетка, как бритва, как предметы туалета, которые не берут взаймы. Я знал, что у каждого есть своя жизнь. Но я не знал, что она есть и у меня. Я думал: я бездействую, я не поддамся внешнему. И что ж, я терял себя внутри». Он положил нож на стол, схватил бутылку, наклонил ее над бокалом, она была пустой. В бокале Ивиш осталось немного шампанского, он схватил ее бокал и выпил.

«Я зевал, читал, занимался сексом. И это оставляло следы! Каждый из моих поступков порождал нечто вне меня самого, порождал в будущем понемногу вызревающие упрямые ожидания. Эти ожидания и есть я сам, это я, тот самый, что ждет на перекрестках, на перепутьях, в большом зале мэрии XIV округа, это я там, в красном кресле, жду собственного прихода. Я буду весь в черном, с крахмальным пристежным воротничком, я приду туда, измученный пеклом, и скажу: да, да, я согласен взять ее в жены». Он энергично тряхнул головой, но его жизнь упорствовала вокруг него. «Медленно, но верно, по прихоти своего настроения, своей лени я оброс собственной скорлупой. Теперь кончено, я замурован со всех сторон! В центре существует моя квартира со мной внутри, среди кресел из зеленой кожи, извне существует улица де ла Гэтэ, я всегда на нее выхожу, проспект дю Мэн и весь Париж окрест меня, север впереди, юг сзади, Пантеон по правую руку, Эйфелева башня по левую, Порт‑Клиньянкур напротив, а посреди улицы Верцингеторига маленькое отверстие из розового атласа, спальня Марсель, моей жены, и там внутри — Марсель, голая, она меня ждет. А вокруг Парижа — Франция, пересеченная дорогами в одном направлении, а дальше моря, окрашенные в голубое или черное. Средиземное — в голубое, Северное — в черное, Ла‑Манш цвета кофе с молоком, а еще дальше страны, Германия, Италия — Испания белая, потому что я не отправился туда сражаться, — потом круглые города на определенных расстояниях от моей комнаты, Тимбукту, Торонто, Казань, Нижний Новгород, незыблемые, как межевые столбы. Я прихожу, ухожу, гуляю, плутаю, но, сколько бы я ни блуждал, это типичные каникулы преподавателя, всюду, куда я иду, я несу с собой свою раковину, я остаюсь у себя, в своей комнате, среди своих книг, я ни на один километр не приближаюсь к Марракешу или Тимбукту. Даже если я сяду в поезд, на пароход, в междугородный автобус, если поеду на каникулы в Марокко, если вдруг приеду в Марракеш, я все равно останусь в своей комнате, дома. И если я пойду прогуляться по площадям, на рынки, если сожму плечо какого‑нибудь араба, чтобы через него коснуться Марракеша, в Марракеше будет этот араб, но не я: я все‑таки останусь сидеть в своей комнате, спокойный и раздумчивый, каким я положил себе быть, в трех тысячах километров от марокканца и его бурнуса. В своей комнате. Навсегда. Навсегда бывший любовник Марсель, а теперь ее муж‑преподаватель, навсегда тот, кто так и не выучил английский, не вступил в компартию, не был в Испании, навсегда».

«Моя жизнь». Она его окружала — странный предмет без начала и конца и все‑таки не бесконечный. Он пробегал ее глазами от одной мэрии к другой, от мэрии XVIII округа, где он в октябре 1923 года проходил призывную комиссию, к мэрии XIV округа, где он женится на Марсель в августе или сентябре 1938 года; жизнь эта имела смысл, пусть расплывчатый и колеблющийся, как все естественное, вяжущую пресность, запах фиалок и пыли.

«Я влачил беззубое существование, — подумал он, — беззубую жизнь. Я никогда не кусался, я ждал, сохранял себя на потом и вот только что обнаружил, что у меня больше нет зубов. Что делать? Разбить раковину? Легко сказать! И тем не менее! Что останется? Маленькая клейкая камедь, которая будет ползти по пыли, оставляя за собой серебристую дорожку».

Он поднял глаза и увидел Лолу, на губах ее застыла недобрая усмешка. Он увидел Ивиш, она танцевала, откинув назад голову, она выглядела какой‑то потерянной, без возраста и будущего: «У нее нет раковины». Она танцевала, она была пьяна и не думала о Матье. Абсолютно. Как будто он никогда не существовал. Оркестр заиграл аргентинское танго. Матье хорошо его знал — «Mio caballo murrio» [[5]](#footnote-5) , но он смотрел на Ивиш, и ему казалось, что он слышит этот заунывный и жестокий мотив впервые. «Она никогда не будет моей, никогда не войдет в мою раковину». Он улыбнулся, чувствуя смиренное освежающее страдание, нежно созерцал он это маленькое, хрупкое и злобное тело, на которое напоролась его свобода. «Моя дорогая Ивиш, моя дорогая свобода». И вдруг поверх его растленного тела, поверх его жизни возникло чистое, беспримесное сознание, сознание без субъекта, просто немного теплого воздуха; оно витало и подобием взгляда глядело на липового шалопая, на мелкого буржуа, цепляющегося за свои удобства, на незадачливого интеллектуала, «не революционного, не восставшего», на абстрактного мечтателя, окруженного своей дряблой жизнью, оно пришло к выводу: «Это пропащий человек, так ему и надо». Оно не было солидарно ни с кем, оно вертелось в вертящемся пузыре, раздавленное, потерянное, страдающее там, на лице Ивиш, звучащее эфемерной и печальной музыкой. Красное сознание, мрачное маленькое ламенто, Mio caballo murrio, оно было способно на все, действительно отчаиваться за испанцев, решать все, что угодно. Если бы так могло длиться и дальше... Но это не могло длиться: сознание надувалось, надувалось, оркестр умолк, оно лопнуло. Матье очутился наедине с самим собой, в глубине своей жизни, сухой и суровый, он больше даже не осуждал себя, тем более не принимал себя, он был Матье, вот и все. «Одним экстазом больше. А что дальше?» Борис вернулся на свое место, у него был не слишком гордый вид.

— Черт!

— Что такое? — спросил Матье.

— Да эта блондинка. Чертова девка!

— Что она натворила?

Борис нахмурил брови и, не отвечая, вздрогнул. Ивиш вернулась и села рядом с Матье. Она была одна. Матье порыскал глазами по залу и обнаружил Лолу рядом с музыкантами, она говорила с Саррюньяном. Саррюньян выглядел озадаченным, затем он украдкой бросил взгляд в сторону высокой блондинки, небрежно обмахивающейся веером. Лола улыбнулась и пересекла зал. Когда она села, вид у нее был странный. Борис нарочито рассматривал свой правый туфель, нависло тяжелое молчание.

— Нет, это неслыханно! — вскричала блондинка. — Вы не имеете права, я никуда не уйду!

Матье вздрогнул, все обернулись. Саррюньян подобострастно склонился над блондинкой, как метрдотель, принимающий заказ. Он что‑то продолжал ей тихо и решительно говорить. Блондинка резко встала.

— Пошли! — сказала она своему спутнику.

Она порылась в сумочке. Уголки ее губ дрожали.

— Нет, нет, — сказал Саррюньян, — ни в коем случае.

Блондинка скомкала стофранковую купюру и бросила ее на стол. Ее спутник тоже встал и с сожалением посмотрел на купюру. Блондинка взяла его под руку, и они удалились с высоко поднятыми головами, вращая бедрами.

Саррюньян, посвистывая, подошел к Лоле.

— Будет жарко, когда она вернется, — сказал он с веселой улыбкой.

— Спасибо, — сказала Лола, — я и не думала, что это будет так легко.

Он ушел. Аргентинский оркестр покинул зал, по одному вернулись негры со своими инструментами. Борис устремил на Лолу гневный и восхищенный взгляд, затем резко повернулся к Ивиш:

— Пойдем танцевать.

Лола миролюбиво смотрела на них, пока они вставали. Но, как только они удалились, лицо ее сразу исказилось.

— В этом заведении вы делаете, что хотите, — сказал Матье.

— Я держу их в руках, — равнодушно заметила она. — Публика сюда приходит из‑за меня.

Ее глаза оставались беспокойными, она нервно забарабанила по столу. Матье не знал, что еще сказать. К счастью, через некоторое время она встала.

— Извините, — сказала она.

Матье увидел, как она прошлась по залу и исчезла. Он подумал: «Время принять наркотик». Он остался один, Ивиш и Борис танцевали, такие же чистые, как мелодия, но чуть менее беспощадные. Он отвернулся и посмотрел на свои туфли. Прошло некоторое время. Он больше ни о чем не думал. Нечто, похожее на хриплый стон, заставило его вздрогнуть. Вернулась Лола, она улыбалась с закрытыми глазами. «Получила свое», — подумал он. Лола открыла глаза и села, не переставая улыбаться.

— Вы знали, что Борису нужно пять тысяч франков?

— Нет, — сказал он. — Нет, не знал. А что, ему нужно пять тысяч?

Лола продолжала смотреть на него. Она раскачивалась взад‑вперед, Матье видел два огромных зеленых глаза с крошечными зрачками.

— Я ему отказала, — сказала Лола. — Он говорит, что это для Пикара. Но почему он не обратился к вам?

Матье засмеялся.

— Он знает, что у меня ни гроша.

— Значит, вы не в курсе? — недоверчиво спросила Лола.

— Конечно, нет!

—Вот как, — сказала Лола. — Странно. Создавалось впечатление, что сейчас она опрокинется, как старое, потерпевшее кораблекрушение судно, или же ее рот разорвется, исторгая истошный вопль.

— Он приходил к вам сегодня?

— Да, часа в три.

— Он вам ничего не сказал?

— А что здесь удивительного? Он мог встретить Пикара после.

— Он так и сказал.

— Ну и что?

Лола пожала плечами.

— Пикар весь день работает в Аржантее. Матье безразлично проговорил:

— Если Пикару нужны деньги, он мог зайти к Борису в гостиницу. Там он его не нашел, а потом, выйдя на бульвар Сен‑Мишель, случайно встретил его.

Лола посмотрела на него с иронией.

— Подумайте, как Пикар мог пойти к Борису за пятью тысячами, когда у того в месяц всего триста франков на карманные расходы?

— Право, не знаю, — раздраженно буркнул Матье. Ему хотелось сказать: «Эти деньги для меня». Таким образом все бы сразу закончилось. Но это было невозможно из‑за Бориса. «Она на него ужасно разозлится, она сочтет его моим сообщником». Лола барабанила по столу кончиками ярко‑красных ногтей, уголки ее губ резко приподнимались, подрагивали и опускались вновь. Она исподтишка следила за Матье с тревожной настойчивостью, но под этим настороженным гневом Матье угадывал большую мутную пустоту. Ему хотелось рассмеяться.

Лола отвела глаза.

— Может быть, это была проверка?

— Проверка? — удивленно переспросил Матье.

— Да, разве нет?

— Проверка? Какая странная мысль.

— Ивиш постоянно ему говорит, что я скупердяйка.

— Кто вам это сказал?

— Вас удивляет моя осведомленность? — торжествующе сказала Лола. — Просто он честный мальчик. Не следует воображать, будто можно говорить ему гадости обо мне, а я об этом не узнаю. Всякий раз я это понимаю уже по его глазам. Или по тому, как он меня о чем‑то спрашивает с самым невинным видом. Вот и подумайте, могу ли я не заметить, как он подбирается издалека. Это сильнее его, и когда он хочет что‑то выяснить, то непременно себя выдает.

— Ну и что?

— Он захотел убедиться, скупердяйка я или нет, и придумал эту историю с Пикаром. Если только его не надоумили.

— Кто же мог его надоумить?

— Не знаю. Многие считают, что я, старуха, вцепилась в мальчика. Достаточно посмотреть на рожи здешних проституток, когда они видят нас вместе.

— Вы думаете, его волнуют их пересуды?

— Нет. Но есть люди, которые полагают, что действуют ради его блага, когда восстанавливают его против меня.

— Послушайте, — сказал Матье, — не стоит церемониться: если вы намекаете на меня, то ошибаетесь.

— Что ж, — холодно произнесла Лола, — возможно. Наступило молчание, затем она резко спросила:

— Почему, когда вы с ним сюда приходите, всегда происходят сцены?

— Не знаю. Я ничего для этого не делаю. Кстати, сегодня я не хотел приходить... Думаю, что он привязан к каждому из нас поразному, и он нервничает, когда видит нас двоих одновременно.

Лола мрачно и напряженно смотрела перед собой. Наконец она сказала:

— Запомните хорошенько: я не хочу, чтоб его у меня отобрали. Я знаю, что не причиняю ему зла. Когда я ему надоем, он меня бросит, это случится довольно скоро. Но я не хочу, чтоб у меня его отняли другие.

«Она откровенничает», — подумал Матье. Безусловно, под влиянием наркотика. Но было и другое: она ненавидела Матье, и все‑таки то, что она ему сейчас говорит, она не посмела бы сказать другим. Между нею и им, несмотря на ненависть, было нечто вроде солидарности.

— Я тоже не хочу, чтобы его у вас отняли, — сказал он.

— Ой ли? — недоверчиво проговорила Лола.

— Ваши подозрения безосновательны. Ваши отношения с Борисом меня не касаются. А если бы они меня и касались, я бы их одобрил.

— У меня была такая мысль: он считает себя за Бориса ответственным, потому что он его преподаватель.

Она замолчала, и Матье понял, что не убедил ее. Казалось, она подыскивала слова.

— Я... я знаю, что я немолода, — с трудом вымолвила она, — я и без вас это понимаю. Но именно поэтому я могу ему помочь: есть кое‑что, чему я могу его научить, — с вызовом добавила она. — Да и кто вам сказал, что я слишком стара для него? Он меня любит такой, какая я есть, он счастлив со мной, когда ему не вбивают в голову обратного.

Матье молчал. Лола крикнула с горячечной неуверенностью:

— Вы, однако, должны бы знать, что он меня любит! Он вам непременно об этом сказал бы, потому что он вам говорит все.

— Я уверен, что он вас любит, — сказал Матье.

Лола устремила на него тяжелый взор.

— Я видывала виды и не строю иллюзий, но я вам вот что скажу: этот мальчик — мой последний шанс. А в общем, делайте, что хотите.

Матье ответил не сразу. Он смотрел на танцующих Бориса и Ивиш, он хотел сказать Лоле: «Не будем спорить, вы ведь сами видите, что мы одинаковы». Но это сходство, по правде говоря, вызывало у него отвращение; в любви Лолы, несмотря на ее неистовство, несмотря на ее стойкость, было нечто дряблое и ненасытное. Однако он пробормотал:

— Вы говорите это мне... Но я это знаю так же хорошо, как и вы.

— Почему так же хорошо, как и я?

— Мы с вами похожи.

— Что вы имеете в виду?

— Посмотрите на нас и посмотрите на них.

Лола презрительно скривилась.

— Мы не похожи, — отрезала она.

Матье пожал плечами, и, так и не примиренные, они замолчали. Оба смотрели на Бориса и Ивиш: те танцевали, они были жестокосердны, даже не зная об этом. А может быть, просто мало знали. Матье сидел рядом с Лолой, они не танцевали, потому что это совсем не подобало их возрасту. «Нас должны принимать за любовников», — подумал он. Он услышал, как Лола про себя шептала: «Если б только я была уверена, что это для Пикара».

Борис и Ивиш вернулись. Лола с усилием встала. Матье подумал, что сейчас она упадет, но она оперлась о стол и глубоко вздохнула.

— Пойдем, — сказала она Борису, — мне нужно с тобой поговорить.

— Ты не можешь сделать это здесь?

— Нет!

— Тогда подожди, когда заиграет оркестр, и мы потанцуем.

— Нет, — сказала Лола, — я устала. Пойдем в мою гримерную. Простите меня, моя маленькая Ивиш.

— Я пьяна, — любезно хихикнула Ивиш.

— Мы сейчас вернемся, — пообещала Лола, — впрочем, скоро мой выход.

Лола ушла, Борис неохотно последовал за ней. Ивиш упала на стул.

— Я правда пьяна, — сказала она, — на меня накатило во время танца. Матье промолчал.

— Почему они ушли? — спросила Ивиш.

— Им надо объясниться. И потом Лола только что приняла наркотик. Знаете, после первого приема в голове лишь одна мысль — принять еще.

— Думаю, мне понравились бы наркотики, — мечтательно проговорила Ивиш.

— Естественно.

— Ну и что? — возмутилась она. — Если я обречена всю жизнь оставаться в Лаоне, нужно ведь чем‑то увлекаться.

Матье замолчал.

— А‑а, поняла! — сказала она. — Вы на меня злитесь, потому что я пьяна.

— Нет.

— Да. Вы меня осуждаете.

— С чего бы? К тому же вы не так уж и пьяны.

— Я чу‑до‑вищ‑но пьяна, — с удовлетворением проскандировала Ивиш.

Люди начинали расходиться. Вероятно, было уже часа два ночи. В своей гримерной, грязной, обитой красным бархатом комнатенке со старым зеркалом в позолоченной раме, Лола угрожала и умоляла: «Борис! Борис! Борис! Ты меня сводишь с ума». А Борис опускал голову, боязливый и упрямый. Длинное черное платье, кружащееся среди красных стен, черное посверкиванье платья в зеркале, всплеск прекрасных белых рук, извивающихся со старомодной патетикой. А потом Лола внезапно зайдет за ширму и там, в самозабвении, запрокинув голову, как бы останавливая кровотечение из носа, вдохнет две щепотки белого порошка. Лоб Матье блестел от испарины, но он не смел его вытереть, ему было стыдно потеть в присутствии Ивиш; она без передышки танцевала, но оставалась бледной и сухой. Сегодня утром она сказала: «Мне противны эти влажные руки», — и он уже не знал, что делать со своими руками. Он чувствовал себя слабым и уставшим, у него не осталось ни одного желания, он ни о чем больше не думал. Время от времени он говорил себе, что скоро взойдет солнце, что нужно будет снова что‑то предпринимать, звонить Марсель, Саре, прожить от начала до конца новый день, и это казалось ему невероятным. Он предпочел бы бесконечно оставаться за этим столом, под этим искусственным освещением, рядом с Ивиш.

— Я развлекаюсь, — пьяным голосом сказала Ивиш.

Матье посмотрел на нее: она была в состоянии радостного возбуждения, которое из‑за любого пустяка могло обернуться яростью.

— Плевала я на экзамены, — сказала Ивиш, — если провалюсь, буду только рада. Сегодня вечером я хороню свою холостяцкую жизнь.

Она улыбнулась и восторженно сказала:

— Сверкает, как маленький бриллиант!

— Что сверкает, как маленький бриллиант?

— Это мгновенье. Оно круглое, оно подвешено в пустоте, как маленький бриллиант, я никогда не умру.

Она взяла нож Бориса за рукоятку, прижала лезвие к краю стола и забавлялась, сгибая его.

— Что с ней? — вдруг спросила она.

— С кем?

— С женщиной в черном рядом со мной. Она не перестает осуждать меня, с тех пор как пришла сюда.

Матье повернул голову: женщина в черном искоса смотрела на Ивиш.

— Ну что? — спросила Ивиш. — Разве не так?

— Думаю, что да.

Он увидел злую приплюснутую мордочку Ивиш, злопамятные и туманные глаза и подумал: «Лучше помолчу». Женщина в черном хорошо поняла, что они говорили о ней: она приняла величественный вид, ее муж проснулся и посмотрел на Ивиш, широко раскрыв глаза. «Как это неприятно», — подумал Матье. Он почувствовал себя утомленным и трусливым, он все бы отдал, только б не возникло скандала.

— Эта женщина меня презирает, потому что она благопристойная, — пробормотала Ивиш, обращаясь к ножу. — Я не благопристойна, я развлекаюсь, напиваюсь, я провалю экзамены. Ненавижу благопристойность! — вдруг выкрикнула она.

— Замолчите, Ивиш, прошу вас.

Ивиш смерила его ледяным взглядом.

— Кажется, вы останавливаете меня? — сказала она. — Правильно, вы тоже благопристойный. Потерпите: когда я проведу десять лет в Лаоне с матерью и отцом, то буду благопристойней вас.

Она развалилась на стуле, упрямо прижимая лезвие ножа к столу и тупо пытаясь согнуть его. Наступило тяжелое молчание, потом женщина в черном повернулась к мужу.

— Не понимаю, как можно вести себя так, как эта девушка.

— М‑да! — хмыкнул тот, опасливо покосившись на широкие плечи Матье.

— Это не совсем ее вина, — продолжала женщина, — виноваты те, кто ее привел сюда.

«Начинается, — подумал Матье, — вот и скандал». Ивиш, безусловно, все это слышала, но ничего не сказала, внезапно она присмирела. Слишком присмирела: она как будто что‑то замышляла; когда она подняла голову, вид у нее был одержимо‑бесшабашный.

— Что такое? — встревожился Матье.

— Ничего. Я... я совершу еще одну неблагопристойность, чтобы несколько развлечь мадам. Хочу посмотреть, как она переносит вид крови.

Соседка Ивиш издала легкий вскрик и заморгала. Матье поспешно посмотрел на руки Ивиш. Она держала нож в правой руке и старательно резала ладонь левой. Кожа раскрошись от большого пальца до основания мизинца, начала сочиться кровь.

— Ивиш! — закричал Матье. — Что вы делаете?!

Ивиш неопределенно усмехнулась.

— Думаете, она отведет глаза? — спросила она.

Матье протянул руку, и Ивиш без сопротивления отдала ему нож. Матье был в отчаянии, он смотрел на худые пальцы Ивиш, уже окровавленные, и думал о том, как ей больно.

— Вы с ума сошли! — сказал он. — Я отведу вас в туалет, там вас перевяжут.

— Меня перевяжут! — Ивиш зло рассмеялась. — Вы соображаете, что говорите?

Матье встал.

— Пошли, Ивиш. Прошу вас, пошли скорее.

— Очень приятное ощущение, — не вставая, сказала Ивиш. — Мне казалось, что моя рука была куском масла.

Она подняла левую руку к носу и критически рассматривала ее. Кровь текла повсюду и была похожа на муравьиные вереницы.

— Это моя кровь, — сказала Ивиш. — Мне нравится смотреть на свою кровь.

— Хватит! — возмутился Матье.

Он схватил Ивиш за плечи, но она резко высвободилась, большая капля крови упала на скатерть. Ивиш смотрела на Матье сверкающими от ненависти глазами.

— И вы смеете меня опять трогать? — спросила она и с оскорбительным смехом добавила: — Я должна была предвидеть, что для вас это слишком. Вас шокирует, что можно забавляться, пуская себе кровь.

Матье почувствовал, что бледнеет от бешенства. Он сел, положил на стол левую руку и нежно сказал:

— Чрезмерным? Нет, Ивиш, по‑моему, это прелестно. Видимо, это такая игра для благородных девиц?

Он резким ударом вонзил нож в ладонь и почти ничего не почувствовал. Когда он отпустил нож, тот остался в его плоти, совершенно прямой, с рукояткой вверху.

— Ай! Ай! — с отвращением вскричала Ивиш. — Выньте его! Выньте!

— Видите, — сквозь зубы сказал Матье, — это доступно всем.

Он почувствовал себя расслабленным и отяжелевшим и немного боялся потерять сознание. Он испытывал упрямое и язвительное удовлетворение. Нет, он нанес себе удар ножом не только для того, чтобы бросить вызов Ивиш, это был также вызов Жаку, Брюне, Даниелю, всей его жизни: «Я кретин, — подумал он, — Брюне прав, говоря, что я старый младенец». Но он, помимо воли, испытывал удовлетворение. Ивиш смотрела на руку Матье, как будто прибитую к столу, кровь растекалась вокруг лезвия. Потом она посмотрела на Матье и изменилась в лице. Она мягко сказала:

— Почему вы это сделали?

— А вы? — напряженно спросил Матье. Слева от них поднялся маленький угрожающий переполох: общественное мнение. Но Матье наплевать на него хотел, он смотрел на Ивиш.

— Я... я так сожалею, — сказала Ивиш.

Переполох нарастал, дама в черном завизжала:

— Они пьяные! Они себя покалечат! Нужно им помешать! Я не могу смотреть на это!

Повернулось несколько голов, подбежал официант.

— Мадам что‑нибудь желает?

Женщина в черном прижала ко рту платочек и, не говоря ни слова, показала на Матье и Ивиш. Матье быстро выдернул нож из раны, это было очень больно.

— Мы поранились ножом.

Официант видывал и не такое.

— Если господа соизволят пройти в туалетную комнату, — невозмутимо сказал он, — то служительница сделает все необходимое.

На этот раз Ивиш послушно встала. Они пересекли зал, следуя за официантом, каждый с поднятой рукой, это было так комично, что Матье расхохотался. Ивиш беспокойно посмотрела на него, потом засмеялась тоже. Она так сильно смеялась, что рука ее задрожала. Две капли крови упали на паркет.

— Я развлекаюсь, — сказала Ивиш.

— Боже мой! — вскричала служительница в туалетной комнате. — Бедная барышня, что вы с собой сделали? Бедный месье!

— Мы играли с ножом, — сказала Ивиш.

— И вот! — возмущенно воскликнула женщина. — Вот и доигрались! Это наш нож?

— Нет.

— А! Я так и думала... Какая глубокая рана, — сказала она, осматривая руку Ивиш. — Не беспокойтесь, я все сделаю.

Она открыла шкаф, и половина ее тела исчезла в нем. Матье и Ивиш улыбнулись друг другу. Ивиш, казалось, протрезвела.

— Не думала, что вы на такое решитесь, — сказала она Матье.

— Видите, не все потеряно.

— Теперь мне больно.

— Мне тоже.

Он был счастлив. Он прочел надписи «Для дам» и «Для месье» золотыми буквами на двух дверях, покрытых жирной серой эмалевой краской, он посмотрел на пол в белых плитках, вдохнул анисовый запах дезинфекции, и сердце его наполнилось радостью.

— Должно быть, не так уж неприятно быть служительницей в туалетной комнате, — с чувством сказал он.

— Конечно! — расцвела Ивиш.

Она смотрела на него с диковатой нежностью; немного поколебавшись, она вдруг приложила ладонь своей левой руки к раненой ладони Матье. Раздался мягкий хлопок.

— Это смешение крови, — пояснила она. Матье молча сжал ее руку и почувствовал резкую боль, ему показалось, что на его ладони раскрылся зев.

— Вы мне делаете больно, — сказала Ивиш.

— Знаю.

Женщина вылезла из шкафа, немного побагровевшая. Она открыла ящичек из белой жести.

— Здесь все, что нужно, — сказала она.

Матье увидел бутылочку с йодом, иголки, ножницы, бинты.

— Вы хорошо оснащены, — сказал Матье.

Она важно кивнула.

— Бывают дни, когда не до шуток. Позавчера какая‑то женщина швырнула бокал в голову одному из наших постоянных клиентов. У него текла кровь, у этого месье, я испугалась за его глаза: я вынула у него из брови большой осколок стекла.

— Черт! — вскрикнул Матье.

Женщина суетилась вокруг Ивиш.

— Потерпите, милочка, будет немного жечь, это настойка йода. Вот и все.

— Вы... вы меня не сочтете нескромной? — вполголоса спросила Ивиш.

— Да нет, говорите.

— Я хотела бы знать, о чем вы думали, когда я танцевала с Лолой?

— Вот сейчас?

— Да, когда Борис пригласил блондинку. Вы остались один.

— Наверно, о себе, — сказал Матье.

— Я смотрела на вас, вы были... почти красивы. Если бы вы могли навсегда сохранить такое лицо!

— Но нельзя же все время думать о себе.

Ивиш засмеялась.

— А я, по‑моему, всегда думаю о себе.

— Дайте вашу руку, месье, — сказала служительница. — Потерпите, будет жечь. Вот так! Ничего страшного.

Матье почувствовал сильное жжение, но не обратил на это внимания, он смотрел на Ивиш, которая неловко причесывалась перед зеркалом, поддерживая локоны забинтованной рукой. В конце концов она отбросила волосы назад, и ее широкое лицо заголилось. Матье почувствовал, что набухает от внезапного и безнадежного желания.

— Вы прекрасны, — сказал он.

— Нет, — смеясь, сказала Ивиш, — наоборот, я ужасно некрасива. Это мое тайное лицо.

— Но оно мне еще больше нравится, — признался Матье.

— Хорошо, завтра я причешусь именно так, — сказала Ивиш.

Матье не нашелся, что ответить. Он склонил голову и замолчал.

— Готово, — сказала служительница.

Матье заметил у нее светлые усики.

— Большое спасибо, мадам, вы умелы, как сестра милосердия.

Женщина покраснела от удовольствия.

— Что вы! — сказала она. — Это естественно. В нашем ремесле нужна сноровка.

Матье положил десять франков на блюдце, и они вышли, с удовлетворением посматривая на свои окоченевшие забинтованные руки.

— У меня рука как деревянная, — сказала Ивиш.

Танцзал был почти пуст. Лола стояла посреди площадки и собиралась петь. Борис сидел за столиком, он ждал их. Дама в черном и ее муж исчезли. На их столике стояли два полупустых бокала, рядом лежала дюжина сигарет в открытой пачке.

— Это бегство, — заметил Матье.

— Да, — сказала Ивиш, — я одержала над ней победу.

Борис весело посмотрел на них.

— Вы организовали между собой резню?

— Это все твой чертов нож, — недовольно проворчала Ивиш.

— На вид он должен хорошо резать, — сказал, с интересом глядя на их руки, Борис.

— А как там с Лолой?

Борис помрачнел.

— Все плохо. Я сморозил глупость.

— Какую?

— Я сказал, что Пикар пришел ко мне и что я его принял в своей комнате. Кажется, в первый раз я сказал что‑то другое, но хоть убей не помню что.

— Вы сказали, что встретили его на бульваре Сен‑Мишель.

— Черт! — вскрикнул Борис.

— Она злится?

— Не то слово! Как разъяренный вепрь. Вы только посмотрите на нее.

Матье взглянул на Лолу. У нее было озлобленное и скорбное лицо.

— Простите меня, — сказал Матье.

— Вам незачем извиняться: это моя вина. Знаете, все уладится, я привык. Все в конце концов улаживается.

Они замолчали. Ивиш нежно разглядывала свою забинтованную руку. Сон, свежесть, серая заря неосязаемо проскользнули в зал, в танцзале запахло ранним утром. «Бриллиант, — подумал Матье, — она сказала: маленький бриллиант». Он был счастлив, он больше не думал о себе, ему казалось, что он сидит снаружи, на скамейке: снаружи, вне танцзала, вне своей жизни. Он улыбнулся: «Она еще кое‑что сказала. Она сказала: я никогда не умру...»

Лола начала петь.

XII

«В десять часов в кафе «Дом"«. Матье проснулся. Этот маленький холмик из белого бинта на кровати был его левой рукой. Она побаливала, но в остальном он чувствовал себя бодро. «В десять часов в кафе «Дом"«. Она сказала: «Я приду раньше вас, я ночью глаз не сомкну». Было девять, он спрыгнул с кровати. «Она изменит прическу», — подумал Матье.

Он толкнул ставни: улица была пустынной, небо низким и серым, было не так тепло, как накануне, настоящее утро. Он открыл кран умывальника и подставил голову под воду: я тоже из утра. Собственная жизнь упала к его ногам тяжелыми складками, она его еще окружала, она сковывала его щиколотки, но он через нее перешагнет, он оставит ее после себя, как мертвую кожу. Кровать, письменный стол, лампа, зеленое кресло: теперь они были не его сообщниками, но анонимными предметами из железа и дерева, домашней утварью, он провел ночь как бы в гостиничном номере. Матье оделся и, насвистывая, спустился по лестнице.

— Вам письмо по пневматической почте, — сказала консьержка.

Марсель! Во рту у Матье появился горький привкус. Он совсем забыл о Марсель. Консьержка протянула ему желтый конверт: письмо было от Даниеля.

«Дорогой Матье, — писал Даниель, — я искал среди знакомых, но так и не смог собрать сумму, которую ты у меня просишь. Поверь, я сожалею. Можешь зайти ко мне в полдень? Мне нужно поговорить с тобой о твоем деле. Дружески твой».

«Хорошо, — подумал Матье, — я пойду к нему. Он не хочет расстаться с деньгами, но он придумает какой‑нибудь выход». Жизнь ему казалась легкой, она должна такой быть: в любом случае Сара добьется, чтобы врач потерпел несколько дней; при необходимости вышлем ему деньги в Америку.

Ивиш была в кафе, в темном углу. Сначала он увидел ее забинтованную руку.

— Ивиш! — нежно позвал он.

Она подняла глаза и посмотрела на него, у нее было непроницаемое треугольное лицо, воплощение злой невинности, локоны закрывали половину щек: она не подняла волосы вверх.

— Вы мало спали? — грустно спросил Матье.

— Вообще не спала.

Он сел. Она увидела, что он смотрит на их перебинтованные руки, медленно убрала свою и спрятала ее под стол. Подошел официант, он хорошо знал Матье.

— Все в порядке, месье? — спросил он.

— Да, — сказал Матье, — дайте, пожалуйста, чай и два яблока.

Наступило молчание, которым Матье воспользовался, чтобы похоронить свои ночные воспоминания. Как только он почувствовал, что сердце его пусто, он поднял голову.

— У вас неважный вид. Это из‑за экзамена?

Ивиш ответила презрительной гримасой, и Матье замолчал, он смотрел на пустые скамейки. Женщина, став на колени, мыла каменный пол. «Дом» понемногу пробуждался, было утро. Можно будет лечь спать только через пятнадцать часов! Ивиш заговорила тихим голосом с измученным видом:

— Он назначен на два часа, — сказала она. — А уже девять. Я чувствую, как эти часы обрушиваются на меня.

Она снова принялась одержимо теребить локоны: это было невыносимо. Она спросила:

— Как вы думаете, возьмут меня продавщицей в универсальный магазин?

— Даже не думайте об этом, Ивиш, это чертовски трудно.

— А манекенщицей?

— Вы ростом маловаты, но можно попытаться...

— Я сделаю все что угодно, только бы не возвращаться в Лаон. Я готова пойти хоть в посудомойки.

Она добавила по‑стариковски с озабоченным видом:

— В таких случаях, кажется, дают объявления в газетах?

— Послушайте, Ивиш, у нас еще будет время к этому вернуться. Ведь пока вы еще не провалились. Ивиш пожала плечами, и Матье живо продолжал:

— Даже если вы провалитесь, для вас не все потеряно. К примеру, вы могли бы месяца на два вернуться домой, а за это время я вам что‑нибудь подыщу.

Он говорил с добродушной убедительностью, но у него не было никакой надежды: даже если он ей найдет какую‑то работу, через неделю ее оттуда выгонят.

— Два месяца в Лаоне! — с гневом вскричала Ивиш. — Сразу видно, что вы об этом понятия не имеете. Это... это невыносимо.

— Так или иначе вы бы провели там каникулы.

— Да. Но как они меня примут после провала?

Она замолкла. Матье молча смотрел на нее: как всегда по утрам, у нее был желтый цвет лица. Ночь, казалось, только скользнула по ней. «Ничто не оставляет на ней следов», — подумал Матье. Он не смог удержаться от вопроса:

— Вы так и не приподняли волосы?

— Вы прекрасно видите, что нет, — сухо ответила Ивиш.

— Но ведь вчера вечером вы мне пообещали, — немного раздраженно сказал он.

— Я была пьяна, — сказала она. — И настойчиво повторила, будто желая смутить его: — Я была совершенно пьяна.

— Вы не выглядели такой уж пьяной, когда мне это обещали.

— Ладно! — нетерпеливо сказала она. — Что из того? Люди легко дают обещания.

Матье не ответил. У него было впечатление, что ему без остановки задавали неотложные вопросы: как до вечера найти пять тысяч франков? Как сделать так, чтобы Ивиш вернулась в Париж в следующем году? Как теперь вести себя с Марсель? У него не было времени собраться, вернуться к вопросам, составлявшим основу его мыслей со вчерашнего дня: кто я? Что я сделал со своей жизнью? Когда Матье отвернулся, чтобы сбросить с себя эту новую обузу, он увидел вдалеке высокий нерешительный силуэт Бориса, казалось, ищущего их на террасе.

— Вот и Борис! — с досадой сказал он. И тут же спросил, охваченный неприятным подозрением:

— Это вы его попросили прийти?

— Нет, — изумленно ответила Ивиш. — Я должна была встретить его в полдень, потому что... потому что он провел ночь с Лолой. Да вы только посмотрите на него!

Борис их заметил и направился к ним. Глаза его были широко открыты и неподвижны, он был мертвенно бледен, но улыбался.

— Привет! — крикнул Матье.

Борис поднял к виску два пальца, чтобы изобразить свое привычное приветствие, но не смог завершить этот шутливый жест. Он уперся обеими руками в стол и начал раскачиваться на пятках, не говоря ни слова и по‑прежнему улыбаясь.

— Что с тобой? — спросила Ивиш. — Ты похож на Франкенштейна.

— Лола умерла, — сказал Борис. Он глупо уставился прямо перед собой. Какое‑то время Матье ничего не понимал, потом изумился:

— Что?..

Он посмотрел на Бориса: не нужно его сразу расспрашивать. Матье схватил его за руку и заставил сесть рядом с Ивиш. Борис машинально повторил:

— Лола умерла!

Ивиш обратила на брата широко раскрытые глаза. Она немного отодвинулась, будто боялась до него дотронуться.

— Лола покончила с собой? — спросила она. Борис не ответил, его руки задрожали.

— Скажи, — нервно повторила Ивиш, — она покончила с собой? Она покончила с собой?

Улыбка Бориса перешла в нервную гримасу, губы его подергивались. Ивиш пристально смотрела на него, теребя локоны. «Она ничего не понимает», — раздраженно подумал Матье.

— Хорошо, — сказал он, — вы нам все расскажете позже. А пока молчите.

Внезапно Борис начал смеяться. Он сказал:

— Если вы... если вы...

Матье резко ударил его кончиками пальцев по щеке. Борис перестал смеяться и, бормоча, посмотрел на него, затем немного обмяк и замер, глупо приоткрыв рот. Все трое молчали, а между ними стояла смерть, безымянная и священная. Это было не событие, скорее мутная среда, сквозь которую Матье видел свою чашку, мраморный столик и благородное злое лицо Ивиш.

— Что для месье? — спросил официант.

Он с иронией посмотрел на Бориса.

— Быстро принесите коньяку, — сказал Матье. И добавил как можно естественнее: — Месье спешит.

Официант удалился и скоро вернулся с бутылкой и рюмкой. Матье чувствовал себя вялым и пустым, только теперь он начал ощущать ночную усталость.

— Пейте, — велел он Борису.

Борис послушно выпил. Поставил рюмку и сказал как бы самому себе:

— Тут уж не до смеха.

— Бедный дурачок! — сказала Ивиш, придвигаясь к нему. — Бедный мой дурачок!

Она нежно ему улыбнулась, схватила за волосы и потрясла его голову.

— Ты со мной, у тебя такие теплые руки, — облегченно вздохнул Борис.

— Теперь рассказывай! — сказала Ивиш. — Ты уверен, что она умерла?

— Сегодня ночью она приняла наркотик, — с трудом проговорил Борис. — Мы опять поцапались.

— Значит, она отравилась? — живо спросила Ивиш.

— Не знаю, — ответил Борис.

Матье изумленно смотрел на Ивиш: она ласково гладила руку брата, но ее верхняя губа странным образом поднялась, оскалив мелкие зубы. Борис заговорил глухим голосом. Казалось, он обращался к кому‑то еще.

— Мы поднялись к ней в номер, и она приняла наркотик. Первый раз она приняла у себя в гримерной, когда мы спорили.

— На самом деле это был второй раз, — заметил Матье. — Помоему, первый раз она приняла, когда вы танцевали с Ивиш.

— Пусть так, — устало отозвался Борис. — Значит, три раза. Она никогда столько не принимала. Мы легли, не разговаривая. Она вертелась в кровати, и я не мог заснуть. Потом она вдруг успокоилась, и я уснул.

Он выпил коньяк и продолжал:

— Утром я проснулся, потому что задыхался. Из‑за ее руки. Она лежала на одеяле, придавив меня. Я сказал ей: «Убери руку, ты меня душишь». Она не убрала. Я подумал, что это жест примирения, и взял ее за руку — она была ледяной. Я спросил Лолу: «Что с тобой?» Она ничего не ответила. Тогда я изо всех сил оттолкнул ее руку, Лола чуть не скатилась с кровати, я встал, взял ее за запястье и потянул вверх, чтобы усадить ее. Глаза у нее были открыты. Я увидел ее глаза, — добавил он с какой‑то злостью, — никогда не смогу их забыть.

— Мой бедный дурачок, — сказала Ивиш.

Матье пытался пожалеть Бориса, но это ему не удавалось. Борис приводил его в замешательство еще больше, чем Ивиш. Можно было подумать, что он злится на Лолу за то, что она умерла.

— Я схватил свои шмотки и оделся, — монотонно продолжал Борис. — Я не хотел, чтобы меня обнаружили у нее в номере. Меня не видели, когда я выходил: у кассы никого не было. Я взял такси и приехал сюда.

— Ты огорчен? — мягко спросила Ивиш. Она наклонилась к нему без особого сочувствия, просто она хотела это знать. Она сказала:

— Посмотри на меня! Ты огорчен?

— Я... — начал Борис. Он посмотрел на нее и быстро ответил: — Я в ужасе.

Он подозвал идущего мимо официанта:

— Еще коньяку.

— Так же срочно, как и первый раз? — улыбаясь, спросил тот.

— Да. Обслужите быстро, — сухо сказал Матье.

Борис был ему немного противен. В нем больше не осталось ничего от обычного суховатого, чуть неуклюжего изящества. Такое его лицо слишком походило на лицо Ивиш. Матье стал думать о теле Лолы, распростертом на кровати в гостиничном номере. Господа в котелках зайдут в номер, будут смотреть на это роскошное тело со смесью вожделения и профессионального интереса, отбросят одеяло и поднимут ночную рубашку, ища раны и попутно думая, что у профессии полицейского бывают и хорошие стороны. Матье вздрогнул.

— Она там совсем одна? — спросил он.

— Да, думаю, ее обнаружат к полудню, — с озабоченным видом сказал Борис. — Горничная всегда будит ее к этому времени.

— Значит, через два часа, — заключила Ивиш.

Она вновь обрела повадку старшей сестры. Она гладила волосы брата с жалостливым и торжествующим видом. Борис позволял себя ласкать; вдруг он вскрикнул:

— Мать твою!

Ивиш вздрогнула. Борис охотно употреблял жаргонные словечки, но никогда не ругался.

— В чем дело? — с беспокойством спросила Ивиш.

— Мои бумажки, — сказал Борис.

— Что?

— Бумажки, я идиот, оставил их там. Матье не понимал.

— Письма, которые вы ей писали?

— Да.

— Ну и что?

— А то!.. Придет врач, и станет известно, что она умерла от отравления.

— В письмах вы упоминали о наркотиках?

— Конечно, — мрачно сказал Борис.

Матье показалось, что он ломает комедию.

— Вы что, принимали наркотики? — спросил он. Он был немного задет, так как Борис никогда ему об этом не говорил.

— Я... случалось. Один или два раза, из любопытства. К тому же я упоминал в письмах о типе, который их продает, тип этот с Буль‑Бланш, я однажды покупал у него порошок для Лолы. Я не хочу, чтоб его накрыли из‑за меня.

— Борис, ты с ума сошел! — воскликнула Ивиш. — Как ты мог такое писать!

Борис поднял голову.

— Представляете себе, какой разразится скандал!

— Но может быть, их не найдут? — предположил Матье.

— Первым делом их и найдут. В лучшем случае меня вызовут как свидетеля.

— Ой! Отец узнает! — перепугалась Ивиш. — Вот он взбеленится!

— Он может отозвать меня в Лаон и тут же засадить в банк.

— Что ж, составишь мне компанию, — мрачно сказала Ивиш.

Матье с сожалением посмотрел на них. «Вот, значит, они какие!» Ивиш утратила победоносный вид: прижавшись друг к другу, бледные, с искаженными лицами, они казались двумя старушонками. Наступило молчание, потом Матье заметил, что Борис искоса смотрит на него. На губах его читалась хитрость, жалкая обезоруживающая хитрость. «Он что‑то замышляет», — раздраженно подумал Матье.

— Вы говорите, что горничная будит ее в полдень? — спросил он.

— Да. Она стучит, пока Лола ей не ответит.

— Что ж, сейчас половина одиннадцатого. У вас есть время спокойно туда вернуться и забрать письма. Если хотите, возьмите такси, но можно поспеть и на автобусе.

Борис отвел глаза.

— Я не могу туда вернуться.

«Приехали!» — подумал Матье. Он спросил:

— Почему?

— Не могу.

Матье увидел, что Ивиш смотрит на него.

— Где письма? — спросил он.

— В черном сундучке у окна. На сундучке чемодан, нужно только его снять. Внутри куча писем. Мои перевязаны желтой лентой.

Он сделал паузу и безразличным тоном добавил:

— Там лежат и бабки.

Бабки! Матье тихо присвистнул, он подумал: «Мальчишка не дурак: все продумал, даже способ оплаты».

— Сундучок заперт на ключ?

— Да, ключ в сумочке, сумочка на ночном столике. Там в связке есть плоский ключик. Это он.

— Какой номер комнаты?

— Двадцать один, на четвертом этаже, вторая слева.

— Хорошо, — сказал Матье, — я пойду.

Он встал. Ивиш все еще смотрела на него. Борис, казалось, успокоился. Он с прежней грациозностью отбросил назад волосы и, слабо улыбаясь, сказал:

— Если вас сцапают, то скажете, что вы к Боливару, это негр из «Камчатки», я его знаю. Он тоже живет на четвертом.

— Ждите меня здесь оба, — велел Матье.

Он невольно заговорил начальственным тоном. Потом мягко добавил:

— Я вернусь через час.

— Мы будем вас ждать, — заверил Борис. И проговорил с восхищением и безмерной благодарностью.

— Вам цены нет!

Матье зашагал по бульвару Монпарнас, он был рад остаться один. В это время Борис и Ивиш начнут шептаться, они воссоздадут свой душный драгоценный мирок. Но это его не тревожило. Его обступили вчерашние заботы: любовь к Ивиш, беременность Марсель, деньги и еще, в центре всего, слепое пятно — смерть. Он несколько раз произнес «уф», проводя руками по лицу и растирая щеки. «Бедная Лола», — подумал он, — она мне так нравилась». Но не ему надо о ней сожалеть: эта смерть — проклятая, потому что не получила никакой высшей санкции, и не ему ее санкционировать. Она тяжело упала в маленькую ошалевшую душу и слепо кружила там. Только на эту маленькую душу легла непосильная ноша — обдумать ее и искупить. Если б только у Бориса было хоть сколько‑нибудь печали... Но он испытал только ужас. Смерть Лолы навеки останется за бортом человеческих отношений, как чей‑то вердикт: «Собаке — собачья смерть!» Эта мысль была невыносима.

— Такси! — крикнул Матье.

Сев в такси, он почувствовал себя спокойней. У него даже появилось чувство хладнокровного превосходства, как будто он вдруг простил себе, что он не одних лет с Ивиш, или, вернее, как будто молодость внезапно потеряла свою ценность. «Они зависят от меня», — подумал он с некоторой гордостью. Лучше, если такси остановится не перед гостиницей.

— На углу улицы Наварен и улицы де Мартир, пожалуйста.

Матье смотрел на вереницу унылых зданий бульвара Распай. Он повторял: «Они зависят от меня». Он чувствовал себя сильным и немного медлительным. Потом стекла такси потемнели: оно въехало в узкий проход улицы дю Бак, и вдруг Матье осознал — Лола умерла; он войдет в ее номер, увидит ее широко открытые глаза и белое тело. «Не буду на нее смотреть», — решил он. Она мертва. Сознание ее уничтожено. Но не жизнь. Покинутая ласковым и нежным зверем, который так долго в ней жил, эта одинокая жизнь просто остановилась, она витала, полная криков без эха и бесплодных надежд, темных высверков, прежних лиц и запахов, она как бы невзначай витала на задворках мира, незабвенная и окончательная, несокрушимей минерала, и ничто уже не сможет помешать ее былому существованию, она подверглась последней метаморфозе: ее будущее бесповоротно застыло. «Жизнь, — подумал Матье, — включает в себя будущее, как тела включают в себя пустоту». Он наклонил голову: он думал о своей собственной жизни. Будущее проникло в него до самого сердца, все там было в движении, в отсрочке. Давняя пора его детства, день, когда он сказал себе: «Я буду свободен», — день, когда он сказал себе: «Я буду великим человеком», — еще сегодня включали в себя некое будущее, как маленькое личное небо, совсем круглое, и это будущее стало им, таким, каков он сейчас, усталым и созревающим, те дни притязали на него все минувшие годы, они повторяли свои требования, и его часто мучили изнурительные угрызения совести, потому что его настоящее, беспечное и пресыщенное, было воплощенным будущим давно минувших дней. Эти дни ждали его двадцать лет, это от него, утомленного человека, былой жестокий ребенок требовал осуществить его надежды: от него зависело, чтобы эти детские клятвы остались пустыми словами или чтоб они стали первыми вестниками судьбы. Его прошлое непрерывно подвергалось исправлениям настоящего; каждый день все явственней не оправдывал его прежние мечты о величии, каждый день имел новое будущее; и так, от ожидания к ожиданию, от будущего к будущему, влачилась его жизнь... К чему?

А ни к чему. Он подумал о Лоле: она умерла, и ее жизнь, как и жизнь Матье, прошла в ожидании. В каком‑то давнем былом жила маленькая девочка с рыжими кудряшками, поклявшаяся стать великой певицей, а приблизительно в двадцать третьем году была молодая певица, упивающаяся славой, запечатленной на афишах. И ее любовь к Борису, эта великая любовь старухи, от которой она столько страдала, с первого дня была всего лишь отсрочкой. Еще вчера эта любовь, темная и смутная, ждала какого‑то будущего, еще вчера Лола думала, что будет жить и что Борис ее когда‑нибудь полюбит; самые полновесные мгновения, самые нежные ночи любви, которые казались ей вечными, были всего лишь ожиданиями.

А ждать было нечего: смерть подкралась с тыла всех ожиданий и остановила их, они остались недвижными и немыми, без цели, без смысла. Ждать было нечего: никто никогда не узнает, смогла бы Лола заставить Бориса себя полюбить, теперь этот вопрос не имел смысла. Лола умерла, незачем больше суетиться, не осталось ласки, не осталось мольбы: не осталось ничего, кроме ожидания ожиданий, ничего, кроме в одночасье сникшей жизни, окрашенной в серо‑буро‑малиновый цвет и имевшей опору только в себе самой. «Если я сегодня умру, — вдруг подумал Матье, — никто никогда не узнает, был ли я человеком пропащим или у меня был какой‑нибудь шанс спастись».

Такси остановилось, и Матье вышел. «Подождите меня», — сказал он шоферу. Он наискось пересек мостовую, толкнул дверь гостиницы, вошел в мрачный, пропитанный тяжелыми запахами вестибюль. Над стеклянной дверью слева висел эмалированный треугольник: «Дирекция». Матье бросил взгляд через стекло: комната казалась пустой, слышно только тиканье часов. Обычные постояльцы гостиницы — певицы, танцовщики, негры из джаза — поздно возвращались и поздно вставали: все еще спало. «Нельзя подниматься по лестнице слишком быстро», — подумал Матье. Он услышал, как стучит его сердце, ноги его стали ватными. Он остановился на площадке четвертого этажа и огляделся. Ключ был в двери. «А вдруг там кто‑то есть?» Он прислушался и постучал. Никто не ответил. На пятом этаже кто‑то смыл унитаз, Матье услышал клокотание воды, сопровождаемое текучим и мелодичным шумом. Матье толкнул дверь и вошел.

Комната была темной и еще хранила влажный запах сна. Матье обшарил сумерки взглядом, он жаждал прочесть смерть в чертах Лолы, как будто это было человеческое чувство. Кровать стояла справа, в глубине комнаты. Матье увидел Лолу, очень бледную, она смотрела на него неподвижными глазами. «Лола!» — тихо позвал он. Лола не ответила. У нее было необыкновенно выразительное, но абсолютно непроницаемое лицо; грудь была обнажена, одна ее прекрасная рука неподвижно лежала поперек кровати, другая была под одеялом. «Лола!» — повторил Матье, подходя к кровати. Он не мог оторвать взгляд от этой гордой груди, ему хотелось до нее дотронуться. Он некоторое время стоял у края кровати, нерешительный, взволнованный, его тело было отравлено острым желанием, потом он отвернулся и быстро схватил с ночного столика сумочку. Плоский ключ был в ней: Матье взял его и направился к окну. Серый день сочился сквозь шторы, комната была заполнена неподвижным присутствием; Матье стал на колени перед сундучком, ощущая спиной неукоснительное присутствие Лолы. Он вставил ключ в скважину. Поднял крышку, погрузил обе руки в сундучок, и бумаги зашуршали под его пальцами. Это были банкноты. Их было много. Тысячные купюры. Под стопкой квитанций и записок Лола прятала пачку писем, перевязанную желтой шелковой ленточкой. Матье поднес пачку к свету, изучил почерк и вполголоса сказал: «Это они», — затем сунул письма в карман. Но он не мог уйти, он стоял на коленях, уставившись на деньги. Через какое‑то время, отвернувшись, он нервно порылся в бумагах, отбирая их не глядя, на ощупь. «Мне за платили», — подумал он. Там, сзади, лежала длинная белая женщина с удивленным лицом, руки, казалось, еще могли протянуться и красные ногти оцарапать. Матье встал, отряхнул колени правой ладонью. Левая рука сжимала пачку банкнот. Он подумал: «Мы вышли из положения», — озадаченно рассматривая деньги. «Мы вышли из положения...» Невольно напрягая слух, он вслушивался в молчаливое тело Лолы и почувствовал себя пригвожденным к месту. «Ладно!» — смиренно прошептал он. Его пальцы разжались, и деньги, кружась, упали в сундучок. Матье закрыл крышку, повернул ключ, положил его в карман и крадучись вышел из комнаты.

Свет ослепил его. «Я не взял деньги», — озадаченно сказал он себе.

Матье неподвижно стоял, положив руку на перила лестницы, он подумал: «Я слабак!» Он пытался возмутиться собой, но понастоящему себя осудить трудно. Вдруг он подумал о Марсель, об отвратительной бабке с руками душительницы и на самом деле испугался. «Сущий пустяк, малое движение, и Марсель спасена от страдания, избавлена от всей этой мерзости, которая оставит на ней неизгладимое клеймо. А я не смог, этакий чистюля! Ничего не скажешь, храбрец! После этого, — подумал он, глядя на свою перебинтованную руку, — я могу сколько угодно кромсать руку ножом и корчить из себя рокового мужчину перед девицами: больше никогда я не смогу принимать себя всерьез». Марсель пойдет к бабке, другого выхода нет: это она должна будет проявить храбрость, бороться с тревогой и ужасом, а он в это время будет восстанавливать силы, попивая ром в ближайшем бистро. «Нет, — вздрогнув, подумал он. — Она не пойдет. Я женюсь на ней, потому что только на это я и способен». Он подумал: «Я женюсь на ней», — прижимая раненую руку к перилам, и ему показалось, что он тонет. Он прошептал: «Нет! Нет!» — откинув назад голову, сделал глубокий вдох, повернулся, пересек коридор и вернулся в комнату. Как и в первый раз, он прислонился спиной к двери и постарался приучить глаза к полумраку.

Он до конца не был уверен, что у него хватит смелости украсть деньги. Он сделал несколько неуверенных шагов и различил наконец серое лицо и широко раскрытые глаза Лолы, глядящие на него.

— Кто здесь? — спросила Лола.

Голос был слабый, но злой. Матье затрепетал с головы до пят. «Этот идиот Борис!» — подумал он.

— Это я, Матье.

Наступило долгое молчание, потом Лола спросила:

— Который час?

— Без четверти одиннадцать.

— У меня болит голова, — сказала Лола. Она натянула одеяло до подбородка и застыла, не сводя глаз с Матье. У нее все еще был вид покойницы.

— Где Борис? — спросила она. — Что вы здесь делаете?

— Вы были больны, — поспешно объяснил Матье.

— Что со мной было?

— Вы застыли с широко открытыми глазами. Борис с вами разговаривал, вы ему не отвечали, и он испугался.

Казалось, Лола не слышала. Внезапно она саркастически засмеялась, но тут же осеклась.

— Он решил, что я умерла? — с трудом проговорила она.

Матье не ответил.

— А? Ведь так? Он решил, что я умерла?

— Он испугался, — уклончиво сказал Матье.

— Уф! — выдохнула Лола.

Снова наступило молчание. Она закрыла глаза, подбородок ее дрожал. Казалось, она делала отчаянные усилия, чтобы взять себя в руки. Не открывая глаз, она сказала:

— Дайте мою сумочку: она на ночном столике.

Матье протянул ей сумочку: она вынула пудреницу и с отвращением посмотрела на свое лицо.

— И правда, у меня вид покойницы, — сказала она.

Она с усталым вздохом положила сумочку на кровать и добавила:

— Впрочем, большего я не стою.

— Вы себя скверно чувствуете?

— Довольно скверно. Но мне знакомо это состояние, к вечеру пройдет.

— Вам что‑нибудь нужно? Хотите, я позову врача?

— Нет. Успокойтесь. Значит, вас послал Борис?

— Да. Он был ошеломлен.

— Он внизу? — чуть приподнявшись, спросила Лола.

— Нет... Я... я был в кафе на Домской набережной, понимаете, он меня там встретил. Я тут же взял такси и примчался сюда.

Голова Лолы упада на подушку.

— Все‑таки спасибо.

Она начала смеяться. Смех был задыхающийся и мучительный.

— Короче говоря, ангелочек сдрейфил. Недолго думая он смылся. А вас сюда прислал, чтобы вы убедились, действительно ли я умерла.

— Лола! — сказал Матье.

— Да ладно, — отрезала Лола, — только не надо трепотни.

Она закрыла глаза, и Матье подумал, что сейчас она потеряет сознание. Но через несколько секунд она суховато проговорила:

— Скажите ему, чтоб не тревожился. Я вне опасности. Эти недомогания случаются, когда я... Короче, он знает почему. Немного сдает сердце. Скажите ему, чтоб он сейчас же пришел сюда. Я его жду. Я буду здесь до вечера.

— Договорились, — сказал Матье. — Вам действительно ничего не нужно?

— Нет, сегодня к вечеру я поправлюсь и буду петь.

Она добавила:

— Со мной еще не покончено.

— Тогда до свиданья.

Он направился к двери, но Лола позвала его. Она умоляюще сказала:

— Пообещайте, что вы заставите его прийти. Мы... мы немного поспорили вчера вечером, скажите ему, что я на него не сержусь, что ни о чем таком не будет и речи. Но пусть он придет! Умоляю вас, пусть он придет! Мне невыносима мысль, что он считает меня мертвой.

Матье был растроган. Он сказал:

— Понятно. Я его пришлю.

Он вышел. Пачка писем во внутреннем кармане тяжело давила на грудь. «Ну и физиономия у него будет! — подумал Матье. — Нужно вернуть ему ключ, он исхитрится снова положить его в сумочку». Матье попытался весело повторить про себя: «Чутье предостерегло меня не брать денег!» Но он не был весел, то, что его трусость имела благие последствия, ничего не значило, принималось в расчет только то, что деньги он взять не смог. «И все‑таки я рад, — подумал он, — что она не умерла».

— Эй, месье! — закричал шофер. — Сюда!

Матье растерянно обернулся.

— В чем дело? А, это вы? — сказал он, узнавая такси. — Ладно, отвезите меня к кафе «Дом».

Он сел, машина тронулась. Матье попытался вытеснить мысль о своем унизительном поражении. Он взял пачку писем, развязал узел и начал читать. Это были коротенькие сухие записки Бориса, написанные из Лаона во время каникул. Иногда речь шла о кокаине, но так завуалированно, что Матье с удивлением подумал: «А я и не знал, что он так осторожен». Все письма начинались с обращения «Моя дорогая Лола», — потом шли короткие отчеты о его времяпрепровождении. «Я хожу купаться. Поругался с отцом. Познакомился с бывшим борцом, который научит меня американской борьбе. Я выкурил «Генри Клей» до конца, не уронив пепла на пол». Борис заканчивал все письма одинаково: «Обожаю тебя и целую. Борис». Матье без труда представил себе, с какими чувствами должна была Лола все это читать, ее предугаданное и тем не менее всегда новое разочарование, усилие, которое она делала, чтобы бодро себя уверить: «В сущности, он меня любит, но просто не умеет этого выразить». Он подумал: «И все‑таки она их хранила». Матье тщательно завязал узел и сунул связку писем в карман: «Борису надо будет незаметно положить их на место». Когда такси остановилось, Матье ощущал себя естественным союзником Лолы. Но он не мог о ней думать иначе, чем в прошедшем времени. Когда он входил в кафе, ему казалось, что сейчас он будет защищать доброе имя покойной.

Можно было подумать, что Борис не шелохнулся с того момента, как ушел Матье. Он так и сидел: понурив плечи, открыв рот и сжав ноздри. Ивиш что‑то оживленно говорила ему на ухо, но замолчала, как только увидела Матье. Матье подошел и бросил связку писем на стол.

— Вот они, — сказал он.

Борис взял письма и быстро спрятал их в карман. Матье недружелюбно посмотрел на него.

— Это было не очень трудно? — спросил Борис.

— Совсем не трудно; только дело в том, что Лола не умерла.

Борис изумленно поднял на него глаза.

— Лола не умерла... — глупо повторил Борис.

Он еще больше поник и казался подавленным. «Черт возьми, — подумал Матье, — он уже начал к этому привыкать».

Глаза Ивиш сверкали.

— Я так и знала! — воскликнула она. — Что с ней было?

— Простой обморок, — напряженно ответил Матье.

Они замолчали. Борис и Ивиш медленно переваривали новость. «Какой фарс», — подумал Матье. Наконец Борис поднял голову, глаза его остекленели.

— Это... это она вернула вам письма? — спросил он.

— Нет. Она была еще без сознания, когда я их взял. Борис сделал глоток коньяка и поставил рюмку на стол.

— Вот как! — воскликнул он, как бы обращаясь к самому себе.

— Она сказала, что с ней это случается после наркотиков и что вы сами это знаете.

Борис не ответил. Ивиш, казалось, взяла себя в руки.

— Что еще она сказала? Она, должно быть, всполошилась, когда увидела вас у изножья кровати? — спросила она.

— Не очень. Я сказал, что Борис испугался и попросил меня о помощи. И, естественно, я пришел посмотреть, что же случилось. Запомните это, — сказал Матье Борису. — Постарайтесь не запутаться. А потом попробуйте незаметно положить письма на место.

Борис провел рукой по лбу.

— Я не могу... — сказал он. — Она для меня мертвая.

Матье все это надоело.

— Она просила, чтобы вы сразу же пришли к ней.

— Я... я думал, что она умерла, — как бы извиняясь, прошептал Борис.

— Ну так вот, она не умерла! — раздраженно воскликнул Матье. — Возьмите такси и поезжайте к ней. Борис не пошевелился.

— Вы слышите? — спросил Матье. — Это очень несчастная женщина.

Он потянулся, пытаясь схватить Бориса за руку, но тот отчаянным рывком высвободился.

— Нет! — закричал он так громко, что женщина на террасе обернулась. Он продолжал тише, с вялым, но неодолимым упрямством: — Я туда не пойду.

— Но со вчерашней ссорой покончено, — удивленно сказал Матье. — Она обещала, что об этом не будет и речи.

— Да что мне вчерашняя ссора! — сказал Борис, пожимая плечами.

— Так в чем же дело?

Борис зло посмотрел на него.

— Она мне внушает ужас.

— Потому что вы решили, что она умерла? Послушайте, Борис, возьмите себя в руки, вся эта история смахивает на дурную комедию. Вы ошиблись, вот и все: с этим покончено.

— А я считаю, что Борис прав, — живо возразила Ивиш. Голос ее приобрел непонятную Матье интонацию. — Я... на его месте поступила бы так же.

— Вы что, не понимаете? Так он действительно доведет ее до гибели.

Ивиш покачала головой, у нее было мрачное, рассерженное лицо. Матье бросил на нее неприязненный взгляд. «Она его настраивает против Лолы», — подумал он.

— Если он к ней вернется, то только из жалости, — сказала Ивиш. — Нельзя от него этого требовать: невозможно представить себе что‑нибудь более отвратительное, даже для нее.

— Пусть он хотя бы попытается ее увидеть. А там станет ясно.

Ивиш нетерпеливо скривилась.

— Кое‑что вы просто не в состоянии понять, — сказала она.

Матье в нерешительности замолчал, и Борис использовал это преимущество.

— Я не хочу ее видеть, — упрямо заявил он. — Для меня она мертва.

— Но это глупо! — воскликнул Матье. Борис мрачно посмотрел на него.

— Я не хотел вам говорить, но если я ее увижу, то должен буду к ней прикоснуться. А уж этого, — с отвращением добавил он, — я не смогу.

Матье ощутил свою беспомощность. Он устало смотрел на два жестоких полудетских лица.

— Что ж, — предложил он, — тогда немного подождите... пока сотрутся ваши воспоминания. Обещайте мне, что вы увидитесь завтра или послезавтра.

Борис вздохнул с облегчением.

— Хорошо, — сказал он ненатурально, — пусть будет завтра.

Матье чуть не сказал ему: «По крайней мере позвоните и предупредите, что вы сегодня не сможете прийти». Но он сдержался, подумав: «Он все равно этого не сделает. Позвоню сам». Он встал.

— Мне нужно идти к Даниелю, — обратился он к Ивиш. — Когда будут результаты? В два часа?

— Да.

— Хотите, я зайду узнать их?

— Нет, спасибо, зайдет Борис.

— Когда я вас увижу?

— Не знаю.

— Сразу же пошлите мне письмо по пневматической почте, чтобы я узнал о результате.

— Хорошо.

— Не забудьте, — сказал он, удаляясь. — Пока!

— Пока! — разом ответили оба.

Матье спустился в полуподвал кафе и заглянул в телефонный справочник. Бедная Лола! Завтра Борис, безусловно, снова пойдет в «Суматру». «Но этот день, который она проведет в ожидании!.. Не хотел бы я быть на ее месте».

— Дайте, пожалуйста, Трюден 00‑35, — попросил он толстую телефонистку.

— Обе кабины заняты, — ответила она. — Вам придется подождать.

Матье ждал, он видел через две открытые двери белый кафельный пол туалетной комнаты. Вчера вечером он стоял перед другой дверью с надписью «Туалет»... Странное любовное воспоминание.

Его переполняла обида на Ивиш. «Они боятся смерти, — сказал он себе. — Напрасно они стараются быть свеженькими и чистенькими, у них мелкие, гнусные душонки, потому что они всего боятся. Боятся смерти, болезни, старости. Они цепляются за свою молодость, как умирающий за жизнь. Сколько раз я видел, как Ивиш ощупывает лицо перед зеркалом: она уже трепещет от мысли, что у нее появились морщинки. Они проводят время, пережевывая свою молодость, они строят только краткосрочные планы, как будто им осталось жить всего лишь пять или шесть лет. А потом... Ивиш говорит, что потом она покончит с собой, но я спокоен, она никогда не осмелится: они будут бесконечно ворошить прах. В конечном счете у меня морщины, у меня крокодиловая шкура, утратившие гибкость мышцы, но мне еще жить и жить... Я уже думаю, что именно мы были молодыми. Мы хотели изображать из себя настоящих мужчин, мы были смешными, но, может, единственное средство спасти свою молодость — это не забывать ее?» И все‑таки ему было не по себе, он чувствовал, что наверху они, голова к голове, шепчутся, они сообщники, и, что ни говори, они прелестны.

— Ну, как там телефон? — спросил Матье.

— Минутку, месье, — нелюбезно ответила толстая телефонистка. — Клиент вызвал Амстердам.

Матье повернулся и прошелся туда‑сюда. «Я не смог взять деньги!» По лестнице быстро и легко спускалась женщина, одна из тех, кто говорит с невинным личиком: «Я пойду сделать пи‑пи». Она увидела Матье, замешкалась, затем снова пошла большими скользящими шагами и — само дуновение, само благоухание — исчезла в туалете. «Я не смог взять деньги, моя свобода — миф. Миф, Брюне был прав, и моя жизнь подспудно строится с механической точностью. Ничто, горделивая и мрачная мечта о том, чтобы стать ничем, быть всегда отличным от того, что я есть. Чтобы быть вне своего возраста, я вот уже год играюсь с этими двумя ребятишками; и напрасно: я мужчина, взрослый человек, и этот взрослый человек, этот господин целовал в такси маленькую Ивиш. Чтобы быть вне своего класса, я пишу в левых газетах; напрасно: я буржуа, я не смог взять деньги Лолы, социальные табу внушают мне страх. Чтобы убежать от своей жизни, я с разрешения Марсель направо и налево завожу интрижки, упорно отказываюсь предстать перед мэром; и напрасно: фактически я уже женат, я живу в семье». Он схватил телефонный справочник и, рассеянно листая его, прочел: «Ольбек, драматург. Норд 77‑80». У него защемило сердце: «Быть самим собой — вот единственная свобода, которая мне остается. Моя единственная свобода— жениться на Марсель». Он так устал чувствовать себя колеблющимся между двумя противоположными течениями, что был почти утешен. Он сжал кулаки и внутренне произнес с серьезностью взрослого человека, буржуа, обывателя, главы семейства: «Я х о ч у  жениться на Марсель».

Фу! Это были только слова, детский и тщетный выбор. «Это тоже, — подумал он, — это тоже ложь: мне не нужно желания, чтобы жениться, мне остается всего лишь плыть по течению». Он закрыл телефонный справочник и удрученно воззрился на руины своего человеческого достоинства. И вдруг ему показалось, что он в и д и т  свою свободу. Она была вне досягаемости, жестокая, молодая и капризная, как озаренье: она приказывала ему попросту бросить Марсель. Но это был только миг: эту необъяснимую свободу, принявшую видимость преступления, он увидел только мельком, она его пугала, и, кроме того, она была далеко. Он замешкался на своем слишком гуманном желании, на этих слишком гуманных словах: «Я на ней женюсь».

— Ваша очередь, месье, — сказала телефонистка. — Вторая кабина.

— Спасибо.

Он вошел в кабину.

— Снимите трубку, месье.

Матье послушно снял трубку.

— Алло! Трюден 00‑35? Я хотел бы передать кое‑что для мадам Монтеро. Нет, не беспокойте ее. Поднимитесь к ней и передайте, что месье Борис не сможет сегодня прийти.

— Месье Морис?

— Нет, не Морис: Борис. «Б» — Бернар, «О» — Октав. Он не сможет прийти. Да. Правильно. Спасибо, мадам, до свиданья.

Он вышел и подумал, почесывая голову: «Марсель, должно быть, сейчас как на иголках, надо бы позвонить ей, пока я здесь». Он нерешительно посмотрел на телефонистку.

— Хотите еще позвонить? — спросила она.

— Да...Дайте Сегюр 25‑64.

Это был номер Сары.

— Алло, Сара? Это Матье, — сказал он.

— Здравствуйте, — ответил грубоватый голос Сары. — Ну как? Все устроилось?

— Отнюдь, — сказал Матье. — Увы, люди прижимисты. У меня к вам просьба: не могли бы вы попросить этого типа дать отсрочку до конца месяца?

— Но в конце месяца он уедет.

— Я отошлю ему деньги в Америку.

Наступило недолгое молчание.

— Могу попытаться, — без энтузиазма сказала Сара. — Но вряд ли получится. Он старый скряга, к тому же у него сейчас кризис суперсионизма: с тех пор, как его прогнали из Вены, он ненавидит всех не евреев.

— Все‑таки попытайтесь, если не трудно.

— Мне вовсе не трудно. После завтрака сразу пойду к нему.

— Спасибо, Сара, вы золото!

XIII

— Он слишком несправедлив, — сказал Борис.

— Да, — согласилась Ивиш, — если он воображает, будто оказал Лоле услугу!..

Она коротко засмеялась, и Борис удовлетворенно замолчал: никто его не понимал так хорошо, как сестра. Он повернул голову к лестнице, ведущей к туалетным комнатам, и сурово подумал: «Он хватил лишку. Нельзя говорить так, как он говорил со мной. Я ему не Уртигер». Он смотрел на лестницу и надеялся, что, поднимаясь, Матье улыбнется ему. Матье появился, он вышел, не глядя на них, и у Бориса екнуло сердце.

— У него гордый вид, — заметил он.

— У кого?

— У Матье. Он только что прошел.

Ивиш не ответила. Она безучастно смотрела на свою перевязанную руку.

— Он сердится на меня, — сказал Борис. — Он считает меня аморальным.

— Да, — подхватила Ивиш, — но это у него пройдет. — Она пожала плечами. — Не люблю, когда он строит из себя моралиста.

— А я люблю, — сказал Борис и после раздумья добавил: — Но я нравственнее его.

— Пф! — фыркнула Ивиш. Она немного раскачивалась на скамейке и выглядела глуповатой и толстощекой. Она сказала озорным тоном: — Я на мораль плюю с высокой колокольни. С высокой колокольни.

Борис почувствовал себя одиноко. Он хотел бы приблизиться к Ивиш, но между ними все еще был Матье. Борис сказал:

— Он несправедлив. Он мне не дал объясниться.

По обыкновению, Борис не стал возражать, но он считал, что Матье, когда тот в духе, можно все объяснить. Борису всегда казалось, что они с Ивиш говорят о разных людях: Матье в представлении Ивиш бьш каким‑то бесцветным.

Ивиш улыбнулась.

— Какой у тебя упрямый вид, мой маленький ослик. Борис не ответил, он пережевывал то, что должен был сказать Матье: он вовсе не подлый эгоист, он испытал ужасное потрясение, когда решил, что Лола умерла. Он даже смутно предвидел момент, когда начнет страдать, и это его покоробило. Борис считал страдание аморальным, к тому же он действительно был не в силах его переносить. Он себя к нему принуждал — из моральных соображений, но на этот раз что‑то заклинило, произошел какой‑то сбой, и теперь нужно было ждать, чтобы то состояние вернулось.

— Забавно, — сказал он, — когда я теперь думаю о Лоле, она мне кажется старушкой.

Ивиш засмеялась, и Борис недовольно скривился. Он добавил справедливости ради:

— Да, сейчас ей невесело.

— Надо думать.

— Не хочу, чтоб она страдала.

— Что ж, тогда отправляйся к ней, — певуче произнесла Ивиш.

Он понял, что она расставляет ему ловушку, и быстро ответил:

— Нет, не пойду. Прежде всего она... я все время вижу ее мертвой. И потом не хочу, чтоб Матье воображал, будто он может вертеть мною, как каким‑нибудь остолопом.

В этом он не уступит, он не какой‑нибудь Уртигер. Ивиш мягко сказала:

— Пожалуй, это правда, он вертит тобой, как остолопом.

Это была подлость; Борис констатировал это без злости: у Ивиш были добрые намерения, она хотела, чтобы он порвал с Лолой ради его же блага. Все всегда действовали ради блага Бориса. Только это благо видоизменялось вместе с персонами благожелателей.

— Я только делаю вид, что это так, — спокойно возразил он. — Такова моя тактика с ним.

Борис был задет за живое и поэтому злился на Матье. Он поерзал на скамейке, Ивиш с беспокойством посмотрела на него.

— Дурачок мой, ты слишком впечатлителен, — сказала она. — Тебе просто нужно представить, что она действительно умерла.

— Да, это было бы удобно, но я так не могу, — признался Борис.

— Чудно, — весело сказала она, — а я могу. У меня так: с глаз долой — из сердца вон.

Борис восхитился сестрой и замолчал: он чувствовал себя неспособным к такой душевной силе. Через некоторое время он сказал:

— Интересно, взял ли он деньга? Вот было бы здорово!

— Какие деньги?

— Деньги Лолы. Ему нужно пять тысяч франков.

— Да ну!

У Ивиш был заинтригованный и недовольный вид. Борис подумал, что лучше б было попридержать язык. Вообще‑то они условились говорить друг другу все, но время от времени можно было делать маленькое исключение из правила.

— Ты, кажется, сердишься на Матье? — заметил он.

Ивиш поджала губы.

— Он действует мне на нервы, — сказала она. — Сегодня утром он пытался корчить из себя мужчину.

— Ага... — кивнул Борис.

Он не совсем понял, что Ивиш хотела этим сказать, но не подал виду: они должны понимать друг друга с полуслова, иначе очарование исчезнет. Наступило молчание, затем Ивиш резко произнесла:

— Пойдем отсюда. Терпеть не могу это кафе.

— Я тоже.

Они встали и вышли. Ивиш взяла Бориса за руку. Бориса явно подташнивало.

— Ты считаешь, он долго будет злиться? — спросил Борис.

— Да нет же, нет, — нетерпеливо заверила его Ивиш.

Борис с ехидцей сказал:

— Кстати, он злится и на тебя.

Ивиш засмеялась:

— Вполне возможно. Но об этом я пожалею позже. А пока что у меня другие заботы.

— Это верно, — смущенно проговорил Борис. — Ты здорово волнуешься?

— Чертовски.

— Из‑за экзамена?

Ивиш передернула плечами и не ответила. Они прошли несколько шагов в молчании. Борис думал: действительно ли это из‑за экзамена? Он бы этого хотел: так было бы нравственнее.

Он поднял глаза и увидел бульвар Монпарнас, осиянный сероватым светом, во всем его великолепии. Можно было подумать, что на дворе октябрь. Борис очень любил этот месяц. Он подумал: «В прошлом октябре я не был знаком с Лолой». И тут он почувствовал облегчение: «Она жива». В первый раз с тех пор, как он оставил ее труп в темной комнате, он почувствовал, что она жива, это было похоже на воскрешение. Он подумал: «Матье не будет на меня долго сердиться, ведь она не умерла». До этой минуты он знал, что она страдала, что она с тревогой ждала его, но это страдание и эта тревога казались ему какими‑то застывшими и непоправимыми, как тревога и страдание умерших в отчаянии. Но здесь не то: Лола жила, лежала с открытыми глазами на своей кровати, в ней обитал живой гнев, подобный тому, который ею овладевал каждый раз, когда он опаздывал на свидание. Гнев, как и всякий другой, ну разве что чуть более сильный. Борис не имеет по отношению к ней тех неопределенных и грозных обязательств, которые налагают мертвые, но некие обязательства, смахивающие на семейные, все же были. Теперь Борис мог вспоминать лицо Лолы без ужаса. Это было не лицо покойницы, всплывающее в памяти, но лицо молодое и разгневанное, которое она обратила к нему вчера, крича: «Ты меня обманул, ты не видел Пикара!» В то же время он затаил злобу на эту мнимую покойницу, вызвавшую такие потрясения. Он сказал:

— Я не вернусь в свою гостиницу: она вполне способна туда заявиться.

— Тогда переночуй у Клода.

— Так я и сделаю.

У Ивиш возникла идея.

— Напиши ей. Это более пристойно.

— Лоле? Ну уж нет!

— Напиши.

— Я не знаю что.

— Я тебе составлю письмо, дурачок.

— Но для чего?

Ивиш удивленно поглядела на него.

— Как, разве ты не хочешь с ней порвать?

— Не знаю.

Ивиш казалась раздраженной, но не стала настаивать. Она никогда не настаивала, это было ее особенностью. Но так или иначе между Матье и Ивиш Борис должен был играть осторожно: сейчас желания потерять Лолу у него было не больше, чем ее увидеть.

— Посмотрим, — сказал он. — А пока нечего думать об этом.

На бульваре было хорошо, люди выглядели добряками, он их почти всех знал в лицо. На витринах «Клозри де Лила» играл веселый солнечный зайчик.

— Хочу есть, — сказала Ивиш, — пойду позавтракаю. Она вошла в бакалейный магазин Демариа. Борис ждал ее на улице. Он чувствовал себя слабым и растроганным, точно выздоравливающий, и прикидывал, о чем бы подумать, чтобы доставить себе маленькую радость. Внезапно его выбор пал на «Исторический и этимологический словарь воровского жаргона и арго». И он возрадовался. Словарь лежал теперь на его ночном столике, заполняя его целиком. «Это часть обстановки, — вдохновенно подумал он, — я искусно провел операцию». И поскольку счастье никогда не приходит одно, он подумал о ноже, вынул его из кармана и открыл. «Я везучий!» Он купил его только накануне, но этот нож уже имел свою историю, он пронзил плоть двух самых дорогих для него людей. «Он чертовски хорошо режет», — подумал Борис.

Мимо прошла какая‑то женщина и пристально посмотрела на Бориса. Она была просто потрясающе хорошо одета. Борис обернулся, чтобы увидеть ее со спины: она тоже обернулась, и они с симпатией поглядели друг на друга.

— Вот и я, — сказала Ивиш.

В руках у нее были два больших яблока. Она потерла одно о свой зад и, когда оно стало совсем блестящим, впилась в него зубами, протянув другое Борису.

— Нет, спасибо, — отказался Борис. — Я не хочу есть. Он добавил:

— Ты меня шокируешь.

— Почему?

— Ты вытираешь яблоки о зад.

— Чтобы до блеска.

— Посмотри на ту женщину, ту, которая уходит, — сказал Борис. — Я ей понравился.

Ивиш с добродушным видом жевала.

— Где? — спросила она с набитым ртом.

— Вон там, — сказал Борис, — сзади тебя.

Ивиш обернулась и подняла брови.

— Красивая, — спокойно признала она.

— Видела, какие на ней шмотки? Клянусь тебе, у меня обязательно будет такая женщина, из высшего света. Это должно быть потрясающе.

Ивиш смотрела на удаляющуюся женщину. В каждой руке у Ивиш было по яблоку, казалось, она ей их протягивает.

— Когда я от нее устану, то передам ее тебе, — великодушно сказал Борис. Ивиш укусила яблоко.

— Еще чего!

Она взяла его за руку и резко увлекла за собой. На другой стороне бульвара Монпарнас был японский магазин. Они пересекли мостовую и остановились у витрины.

— Посмотри на те маленькие бокалы, — сказала Ивиш.

— Это для саке, — пояснил Борис.

— Что это?

— Рисовая водка.

— Я их куплю и сделаю из них чайные чашки.

— Они слишком маленькие.

— А я буду наливать много раз подряд.

— Или все шесть сразу.

— Да! — восторженно согласилась Ивиш. — Передо мной будет шесть маленьких чашечек, и я буду пить то из одной, то из другой.

Она слегка отошла назад и сквозь зубы страстно выдохнула:

— Так бы и закупила всю лавку!

Борис порицал вкус сестры, ее любовь к подобным безделушкам. И все‑таки он захотел войти в магазин, но Ивиш его удержала.

— Не сегодня. Пошли.

Они направились вверх по улице Данфер‑Рошро, и Ивиш сказала:

— Чтобы иметь полную — до краев! — комнату таких маленьких штучек, я бы продалась какому‑нибудь старику.

— Ты не сумеешь, — строго ответил Борис. — Это целое ремесло. Ему надо учиться.

Они шли медленно, это были минуты счастья; Ивиш определенно забыла об экзамене, она была весела. В подобные мгновения Борису казалось, что они составляют одно целое. На голубом фоне неба плыли белые курчавые облака; листва деревьев отяжелела от дождя, пахло дымом, как на главной деревенской улице.

— Я люблю такую погоду, — сказала Ивиш, принимаясь за другое яблоко. — Немного влажно, но не липко. И потом не режет глаза. Я чувствую, что могу пройти километров двадцать.

Борис незаметно удостоверился, есть ли поблизости кафе. Не было еще случая, чтобы Ивиш незамедлительно не захотела есть, когда она заговаривала о двадцатикилометровом пешем переходе.

Она посмотрела на Льва Бельфора [[6]](#footnote-6) и восторженно воскликнула:

— Этот лев мне нравится! Он похож на колдуна.

— Гм! — хмыкнул Борис.

Он уважал вкусы сестры, даже если не разделял их. Впрочем, Матье однажды сказал Борису: «У вашей сестры дурной вкус, но это лучше, чем самый верный вкус: у нее органически дурной вкус». А раз так, то не стоило и спорить. Что до самого Бориса, то он скорее был восприимчив к красоте классической.

— Пойдем по бульвару Араго? — предложил Борис.

— А где он?

— Вон тот.

— Пойдем, — согласилась Ивиш, — он весь так и сияет. Они шли молча. Борис заметил, что сестра понемногу мрачнеет и начинает нервничать. Она шла, нарочно заплетая ногами.

«Сейчас начнется агония», — подумал он с покорным испугом. У Ивиш агония начиналась каждый раз, когда она ждала результатов экзамена. Он поднял глаза и увидел четырех рабочих: те шли им навстречу и, посмеиваясь, смотрели на них. Борис привык к этим смешкам, он смотрел на рабочих с симпатией. Ивиш опустила голову, делая вид, что не видит их. Поравнявшись с ними, молодые люди разделились: двое шли слева от Бориса, двое других — справа от Ивиш.

— Привет прокладкам! — пошутил один из них.

— Грубиян, — вежливо сказал Борис.

Ивиш подскочила и пронзительно взвизгнула, но тут же смолкла, прикрыв рот ладонью.

— Я веду себя, как кухарка, — сказала она, краснея от смущения. Молодые рабочие были уже далеко.

— Что случилось? — удивился Борис.

— Он меня ущипнул, — с отвращением пояснила Ивиш. — Грязный ублюдок. Она сурово добавила:

— И все равно я не должна была кричать.

— Который из них? — всполошился Борис.

— Прошу тебя, успокойся. Их четверо. А я и без того была достаточно смешна.

— Дело не в том, что он тебя ущипнул, — горячился Борис. — Я не могу выносить, если с тобой так поступают, когда я рядом. Ведь когда ты с Матье, к тебе не пристают. Неужели я так выгляжу, что...

— Да, мой дурачок, — грустно сказала Ивиш. — Я тоже тебя не оберегаю. Вид у нас с тобой не слишком внушительный.

Это была правда. Борис часто этому удивлялся: когда он смотрелся в зеркало, то казался сам себе довольно грозным.

— Да, не слишком внушительный, — повторил он.

Они прижались друг к другу и почувствовали себя сиротами.

— Что это? — через некоторое время спросила Ивиш.

Она показала на длинную глухую стену, черневшую сквозь зелень каштанов.

— Это Сантэ, — ответил Борис. — Тюрьма.

— Потрясающе! — воскликнула Ивиш. — Никогда не видела ничего более зловещего. Оттуда бегут?

— Редко, — сказал Борис. — Я читал, что как‑то один заключенный перемахнул через стену. Он уцепился за толстую ветку каштана и потом дал деру.

Ивиш подумала и показала пальцем на каштан.

— Наверное, этот, — предположила она. — Сядем вон на ту скамейку. Я устала. А вдруг увидим, как прыгает еще один беглец?

— Возможно, — с сомнением сказал Борис. — Но знаешь, они вообще‑то это делают ночью.

Они пересекли мостовую и сели. Скамейка была влажная. Ивиш с удовлетворением отметила:

— Свежо.

Она сразу же стала вертеться и теребить себе волосы. Борис похлопал ее по руке, чтоб она не оборвала прядей.

— Пощупай мою руку, — предложила Ивиш, — она ледяная.

Это была правда. Ивиш сделалась мертвенно‑бледной, вид у нее был невероятно страдающий; ее всю била мелкая дрожь. Борис увидел сестру такой печальной, что из сочувствия попытался перевести мысли на Лолу.

Ивиш резко подняла голову и спросила у него с мрачной решимостью:

— Кости с тобой?

— Да.

Матье как‑то подарил Ивиш игру «в пять костей», кубики хранились в маленьком кожаном мешочке. Ивиш передарила его Борису. Они часто играли вдвоем.

— Сыграем? — предложила она.

Борис вынул кубики из мешочка. Ивиш добавила:

—Две партии и одну решающую. Начинай. Они отодвинулись друг от друга. Борис присел на корточки и бросил кости на скамейку. У него получился королевский набор.

— Набор! — объявил он.

— Я тебя ненавижу, — пробормотала Ивиш.

Она нахмурила брови и перед тем, как бросить кости, дунула на пальцы, прошептав что‑то вроде заклинания. «Это серьезно, — подумал Борис, — она играет на результат экзамена». Ивиш бросила кости и проиграла.

— Вторую партию, — сказала она, глядя на Бориса сверкающими глазами.

На этот раз королевский набор выпал у нее.

— Набор! — в свою очередь объявила она. Борис бросил кости. У него тоже выпал набор. Но, как только кости упали, он протянул руку под предлогом, что хочет их собрать, и незаметно перевернул две кости указательным и средним пальцем.

— Осечка! — воскликнул он раздосадованно.

— Я выиграла, — торжествующе заявила Ивиш. — Теперь решающую.

Борис подумал: не заметила ли она, как он сплутовал? Но это не имело особого значения: Ивиш интересовалась только результатом. На сей раз она выиграла без его вмешательства.

— Прекрасно! — довольно сказала она.

— Хочешь сыграть еще?

— Нет, хватит. Знаешь, я играла, чтобы узнать, приняли меня или нет.

— Вот как! Ну, значит, приняли.

Ивиш пожала плечами.

— Не верю.

Они замолкли и сидели бок о бок, опустив головы. Борис не смотрел на Ивиш, но чувствовал, что она дрожит.

— Мне жарко, — сказала Ивиш, — какой ужас: у меня влажные руки, я вся от волнения влажная.

Действительно, ее правая рука, только что такая холодная, теперь пылала. Левая, неподвижная и забинтованная, лежала на коленях.

— Эта повязка вызывает у меня отвращение, — сказала она. — У меня вид раненого на войне, мне хочется ее сорвать.

Борис не ответил. Вдалеке один раз пробили часы. Ивиш вздрогнула.

— Это... это половина первого? — растерянно спросила она.

— Половина второго, — сказал Борис, взглянув на свои часы.

Они посмотрели друг на друга, и Борис сказал:

— Ну вот, теперь мне пора идти.

Ивиш приникла к нему, обняла его за плечи.

— Не ходи, Борис, дурачок мой, я ничего не хочу знать, я сегодня вечером уеду в Лаон, и я... Я не хочу ничего знать.

— Не мели чепухи, — нежно возразил Борис. — Перед тем как увидеть родителей, ты должна знать все как есть. Ивиш опустила руки.

— Тогда иди, — сказала она. — Но возвращайся как можно быстрее, я подожду тебя здесь.

— Здесь? — озадаченно спросил Борис. — Разве ты не хочешь пойти со мной? Ты бы меня подождала в кафе в Латинском квартале.

— Нет, — отрезала Ивиш, — я буду ждать тебя здесь.

— Как хочешь. А если начнется дождь?

— Борис, не терзай меня, иди быстрее. Я останусь здесь, пусть хоть дождь, пусть хоть землетрясение, я не смогу встать на ноги, у меня нет сил и пальцем пошевелить.

Борис встал и торопливо удалился. Пересекая улицу, он обернулся. Он видел Ивиш со спины: съежившись на скамейке, вобрав голову в плечи, она была похожа на старую нищенку. «В конце концов, возможно, ее и приняли», — сказал он себе. Он сделал несколько шагов и вдруг представил себе лицо Лолы. Настоящее. Он подумал: «Она несчастна!» — и сердце его забилось сильнее.

XIV

Через мгновение. Через мгновение он снова пустится на свои бесплодные поиски; через мгновение, преследуемый злыми измученными глазами Марсель, скрытным лицом Ивиш, посмертной маской Лолы, он ощутит горький привкус во рту, тревога скрутит ему желудок. Через мгновение. Он сел в кресло, зажег трубку: он был пуст и спокоен, он отдавался темной прохладе бара. Столами здесь служили лакированные бочки, по стенам развешаны фотографии актрис и матросские береты, невидимый радиоприемник журчит, как фонтан, в глубине зала красивые богатые господа курят сигары и попивают портвейн — последние посетители, деловые люди, другие уже давно ушли завтракать; была половина второго, но легко можно представить себе, что еще утро; однако это был день, спокойный, как безопасное море. Матье растворился в этом безмятежном море, он был едва различимой мелодией негритянского спиричуэла, разноголосым шумом, желтоватым ржавым светом, покачиванием всех этих красивых, хирургически чистых рук, держащих сигары, рук, похожих на каравеллы, груженные пряностями. Он хорошо осознавал, что ему всего лишь давали взаймы этот крохотный кусочек безмятежной жизни, который предстоит скоро вернуть, но он пользовался им без жадности: пропащим людям мир припасает малую толику крохотного счастья, это для них он хранит большую часть своих мимолетных милостей при условии, чтоб они наслаждались ими смиренно. Даниель сидел слева от него, торжественный и молчаливый. Матье мог в свое удовольствие созерцать его красивое лицо арабского шейха, это тоже было маленькой радостью для глаз. Матье вытянул ноги и про себя улыбнулся.

— Попробуй их херес — не пожалеешь, — сказал Даниель.

— Идет. Только, чур, ты меня угощаешь: я без гроша.

— Хорошо, угощаю, — живо ответил Даниель. — Но скажи: хочешь, одолжу тебе двести франков? Право, мне неловко предлагать тебе так мало...

— Брось! — оборвал его Матье. — Об этом не стоит и говорить.

Даниель повернул к нему большие ласковые глаза. Он настаивал:

— Прошу тебя. У меня четыреста франков до конца недели, мы их разделим.

Нужно было решительно отказаться, этого требовали правила игры.

— Нет, — сказал Матье. — Спасибо, ты очень любезен.

Даниель устремил на него отягощенный заботой взор.

— Тебе действительно ничего не нужно?

— Нужно, — возразил Матье, — мне нужно пять тысяч франков. Но не сейчас. Сейчас мне нужны херес и твоя беседа.

— Хотелось бы, чтоб моя беседа была на уровне хереса, — сказал Даниель.

Он не проронил ни слова о своем письме по пневматической почте и о причинах, которые его толкнули вызвать Матье. Матье по‑своему был ему за это благодарен: так или иначе скоро все прояснится.

— Знаешь, я вчера видел Брюне.

— Правда? — вежливо поинтересовался Даниель.

— Думаю, на этот раз между нами все кончено.

— Вы поспорили?

— Не поспорили. Хуже.

Даниель напустил на себя сокрушенный вид, и Матье не смог удержать улыбки.

— Тебе плевать на Брюне? — спросил он.

— Знаешь ли... я никогда не был с ним так близок, как ты, — ответил Даниель. — Я его очень уважаю, но, будь моя воля, набил бы его соломой и выставил в антропологическом музее, в зале «Двадцатый век».

— Он бы там неплохо смотрелся, — заметил Матье.

Даниель покривил душой: когда‑то он очень любил Брюне. Матье попробовал херес и сказал:

— Хорош.

— Да, — согласился Даниель. — Это у них лучший. Но их запасы истощаются, а обновить нечем из‑за войны в Испании.

Он поставил свой пустой бокал и взял с блюдца оливку.

— Знаешь, я хочу тебе исповедаться, — начал Даниель.

Конечно: смиренное и легкое счастье ускользает. Матье скосил на Даниеля глаза: у того был благородный и проникновенный вид.

— Давай, — ободрил его Матье.

— Я только думаю: какое впечатление это на тебя произведет? — неуверенным тоном продолжал Даниель. — Я буду огорчен, если ты рассердишься.

— Говори и ты будешь избавлен от неуверенности, — улыбнулся Матье.

— Так вот... Угадай, кого я видел вчера вечером?

— Кого ты видел вчера вечером? — разочарованно повторил Матье. — Откуда мне знать; ты много кого мог видеть.

— Марсель Дюффе.

— Марсель? Вот как.

Матье не был удивлен: Даниель и Марсель виделись нечасто, но, кажется. Марсель симпатизировала Даниелю.

— Тебе повезло, — сказал он. — Она ведь никуда не выходит. Где ты ее встретил?

— У нее дома... — улыбаясь, ответил Даниель. — Где ж еще, раз она не выходит.

Скромно потупившись, он добавил:

— Если быть откровенным до конца, время от времени мы видимся.

Наступило молчание. Матье смотрел на длинные черные ресницы Даниеля, которые слегка трепетали. Часы дважды пробили, негр тихо пел «There's a cradle in Carolina» [[7]](#footnote-7). «Время от времени мы видимся». Матье отвел взгляд и пристально посмотрел на красный помпон матросского берета.

— Вы видитесь, — повторил он, не совсем понимая. — Но... где?

— У нее, я же тебе только что сказал, — проговорил Даниель с оттенком раздражения.

— У нее? Ты хочешь сказать, что ты к ней ходишь?

Даниель не ответил. Матье спросил:

— Что тебе взбрело в голову? Как это случилось?

— Очень просто. Я всегда очень симпатизировал Марсель Дюффе. Я восхищался ее мужеством и благородством.

Он помолчал, и Матье удивленно повторил:

— Мужество Марсель, ее благородство. Это были не те качества, которые больше всего ценил в ней он. Даниель продолжал:

— Однажды мне было скучно, у меня возникло желаний зайти к ней, и она меня очень любезно приняла, вот и все; с тех пор мы и начали видеться. Мы виноваты лишь в том, что скрыли это от тебя.

Матье погрузился в тяжелый аромат, во влажный воздух розовой комнаты: вот Даниель сидит в кресле, смотрит на Марсель большими глазами лани, и Марсель неловко улыбается, как будто ее сейчас будут фотографировать. Матье затряс головой: это не лезло ни в какие ворота, просто абсурд, у этих двоих не было абсолютно ничего общего, как они могли друг друга понимать?

— Ты ходишь к ней, и она от меня это скрыла?

Он спокойно поинтересовался:

— Ты меня разыгрываешь?

Даниель поднял глаза и мрачно посмотрел на Матье.

— Матье, — сказал он своим самым глубоким голосом, — ты должен признать, что я никогда не позволял себе ни малейшей шутки относительно твоих отношений с Марсель, они слишком бесценны.

— Я этого и не говорю, — согласился Матье, — и все же на сей раз ты шутишь.

Даниель обескураженно опустил руки.

— Ну хорошо, — сказал он грустно, — поставим на этом точку.

— Нет, нет, — сказал Матье, — продолжай, это очень забавно, но я не слишком верю твоему розыгрышу — только и всего.

— Ты мне не облегчаешь задачу, — с упреком заметил Даниель. — Мне и без того достаточно тягостно виниться перед тобой. — Он вздохнул. — Я бы предпочел, чтобы ты поверил мне на слово. Но раз тебе нужны доказательства...

Он вынул из кармана бумажник, туго набитый ассигнациями. Матье увидел купюры и подумал: «Какой мерзавец». Но как‑то лениво, по инерции.

— Смотри, — сказал Даниель.

Он протянул Матье письмо. Матье взял его; он узнал почерк Марсель и прочел:

«Вы, как всегда, правы, мой дорогой Архангел. Это был действительно барвинок. Но я не понимаю ничего из того, что вы мне пишете. Раз вы завтра заняты, приходите в субботу. Мама говорит, что будет вас сильно бранить за конфеты. Приходите скорее, дорогой Архангел, мы с нетерпением ждем вашего визита. Марсель». Матье посмотрел на Даниеля. Он сказал:

— Значит... это правда?

Даниель кивнул; он держался прямо, мрачный и корректный, как секундант на дуэли. Матье прочитал письмо от начала до конца. Оно было датировано двадцать вторым апреля. «Это написала она». Этот галантный и игривый стиль так мало ей подходил. Он озадаченно потер нос, потом расхохотался.

— Архангел! Она тебя называет Архангелом, никогда бы не додумался! Скорее уж падший архангел, что‑то вроде Люцифера. И к тому же ты навещаешь и мамашу — полный набор.

Даниель казался растерянным.

— Тем лучше, — сказал он сухо. — А я боялся, что ты рассердишься.

Матье повернулся и неуверенно посмотрел на него, он понял, что Даниель рассчитывал на его гнев.

— Действительно, — сказал он, — я должен был рассердиться, это было бы нормально. Заметь: возможно, это еще придет. Но сейчас я просто ошарашен.

Он осушил бокал, сам удивляясь тому, что не особенно сердится.

— И часто ты у нее бываешь?

— Нерегулярно, примерно раза два в месяц.

— Но о чем вы говорите?

Даниель вздрогнул, глаза его заблестели.

— Ты что, собираешься предложить нам темы для бесед? — вымолвил он мягчайшим тоном.

— Не сердись, — примирительно сказал Матье. — Это так ново, так неожиданно... это меня почти забавляет. Но у меня нет дурных намерений. Значит, это правда? Вы любите беседовать? Ну не злись, прошу тебя, я пытаюсь понять, о чем же вы говорите?

— Обо всем, — холодно сказал Даниель. — Очевидно, Марсель не ждет от меня слишком возвышенных разговоров. Зато она просто отдыхает.

— Но это невероятно, вы такие разные.

Ему не удавалось отделаться от диковинной картины: Даниель со своими китайскими церемониями, притворными комплиментами и благородством в стиле Калиостро, со своей широкой африканской улыбкой, а напротив него — Марсель, напряженная, неловкая и преданная... Преданная? Напряженная? Нет, не так уж она напряжена: «Приходите, Архангел, мы ждем вашего визита». И это написала Марсель; это она упражнялась в неповоротливых любезностях. Впервые Матье почувствовал, что его коснулось что‑то вроде гнева. «Она мне врала, — ошеломленно подумал он. — Она мне врет уже полгода». Он продолжал:

— Меня так удивляет, что Марсель что‑то от меня скрыла...

Даниель не ответил.

— Это ты попросил ее молчать? — спросил Матье.

— Я. Я не хотел, чтобы ты направлял наши отношения. Но теперь, когда я ее достаточно давно знаю, это уже не так важно.

— Значит, это ты попросил ее молчать? — немного спокойнее повторил Матье. — И она охотно согласилась?

— Это ее очень удивило.

— Да. Но она не отказалась.

— Нет. Она не видела в этом ничего преступного. Помню, она засмеялась и сказала: «Это вопрос совести». Она считает, что я люблю окружать себя тайной, — добавил он со скрытой иронией, которая была очень неприятна Матье. — Сначала она называла меня Лоэнгрином. Потом, как видишь, ее выбор остановился на Архангеле.

— Да, — буркнул Матье. Он подумал: «Даниель смеется над ней» — и почувствовал себя униженным за Марсель. Трубка его погасла, он протянул руку и машинально взял оливку. Это было серьезно: он не чувствовал себя достаточно удрученным. Его охватило умственное оцепенение — так случается, когда вдруг обнаруживаешь, что ошибался сразу во всем... Но раньше в нем было нечто живое, и оно бы закровоточило. Он тусклым голосом произнес:

— Мы друг другу говорили все...

— Это ты так думаешь, — возразил Даниель. — Разве можно говорить все?

Матье раздраженно пожал плечами. Но злился он главным образом на себя.

— А это письмо! — сказал он. — «Мы ждем вашего визита»! Мне кажется, что я открываю для себя другую Марсель.

Даниель испугался.

— «Другую Марсель», куда тебя занесло! Послушай, не будешь же ты из‑за какого‑то ее ребячества...

— Ты сам меня недавно упрекнул в том, что я слишком серьезно все воспринимаю.

— Ты бросаешься из одной крайности в другую, — упрекнул Даниель. Он продолжал с видом сердечного понимания: — Ты слишком доверяешь своим суждениям о людях. Эта маленькая история доказывает только, что Марсель сложнее, чем ты думал.

— Может быть, — проговорил Матье. — Но тут есть другое...

Марсель была виновата, и он боялся дать волю гневу: нельзя терять доверия к ней именно сегодня, когда он, вероятно, будет вынужден принести ей в жертву свою свободу. Ему необходимо уважать ее, иначе все слишком осложнится.

— Впрочем, — сказал Даниель, — мы все время собирались тебе признаться, но так нелепо было выглядеть заговорщиками, что мы откладывали это со дня на день.

«Мы»! Он говорил «мы»; другой мог употреблять «мы», говоря ему о Марсель. Матье неприязненно посмотрел на Даниеля: наступило время его ненавидеть. Но Даниель был, как всегда, обезоруживающе мил. Матье резко спросил:

— Почему она так поступила?

— Но я же тебе говорил, — ответил Даниель, — потому что я ее об этом попросил. И потом ее, видимо, забавляло, что у нее есть от тебя тайна.

Матье покачал головой.

— Нет. Здесь что‑то другое. Она не просто так это сделала. Почему она так поступила?

— Но... — начал Даниель, — я полагаю, что не всегда удобно жить в твоем сиянии. Она нашла для себя тенистый уголок.

— Она считает, что я ее подавляю?

— Она мне не сказала этого определенно, но так я ее понял. Чего ты хочешь, ты сила, — добавил он, улыбаясь. — Заметь, что она восхищается тобой, она восхищается твоим принципом жить в прозрачном доме и постоянно оглашать то, о чем обычно молчат; но это ее истощает. Она тебе не говорила о моих визитах, потому что боялась, что ты вторгнешься в ее чувства ко мне, заставишь ее дать им название, разрушишь их и потом будешь выдавать по крохам. Ты ведь знаешь: чувства нуждаются в тайне... Это нечто смутное, трудноопределимое...

— Она тебе так сказала?

— Да. Она мне так сказала. Она мне сказала: «Меня забавляет, что с вами я совсем не знаю, куда иду. С Матье я это знаю всегда».

«С Матье я это знаю всегда». Совсем как Ивиш: «С вами никогда не боишься непредвиденного». Матье затошнило от отвращения.

— Почему она никогда не говорила обо всем этом со мной?

— По ее словам, только потому, что ты у нее никогда не спрашиваешь.

Это была правда. Матье опустил голову: каждый раз, когда нужно было углубиться в чувства Марсель, его охватывала неодолимая лень. Заметив тень в ее глазах, он только пожимал плечами: «Полно! Если б что‑то было, она бы мне сказала, она мне говорит все. И это я называл своей верой в нее. Я сам во всем виноват».

Он встряхнулся и резко сказал:

— Почему ты признался мне именно сегодня?

— Но ведь все равно рано или поздно пришлось бы. Этот уклончивый ответ как бы подстегивал его любопытство. И Матье хорошо понял намерение Даниеля.

— Почему сегодня и почему ты? — продолжал он. — Было бы... естественнее, если бы первой мне сказала она.

— Ну, — Даниель деланно растерялся, — возможно, я ошибся, но ... я подумал, что речь идет о ваших общих интересах.

Хорошо. Матье напрягся: «Готовься к неприятностям, Матье, это только начало». Даниель продолжил:

— Я хочу тебе сказать правду: Марсель не знает, что я тебе все рассказал, и еще вчера была не уверена, что так скоро введет тебя в курс дела. Ты очень меня обяжешь, если тщательно скроешь от нее наш разговор. Матье невольно рассмеялся.

— Вот ты и обнаружил себя, Люцифер! Ты повсюду сеешь тайны. Еще вчера ты сговаривался с Марсель против меня, а сегодня просишь моего сообщничества против нее. Из тебя получается оригинальный предатель.

Даниель улыбнулся.

— Во мне нет ничего от Люцифера. А признаться меня побудило беспокойство, которое я испытал вчера вечером. Мне показалось, что между вами возникло серьезное недоразумение. Естественно, Марсель слишком горда и сама не скажет тебе об этом.

Матье крепко сжал бокал: он начинал понимать.

— Это по поводу вашей... — Даниель стыдливо запнулся, — вашей неприятности.

— А! — протянул Матье. — Ты сказал ей, что знаешь?

— Нет‑нет. Я ей ничего не сказал. Она заговорила первой.

— Ага. — «Еще вчера, разговаривая со мной по телефону, она опасалась, что я ему скажу. И в тот же вечер сама ему все открыла. Одной комедией больше». — Так что?

— Все не так просто.

— Что дает тебе основание так думать? — сдавленно спросил Матье.

— Ничего определенного... ну, может, то, как она мне представила события.

— А что такое? Она сердится, что я ей сделал ребенка?

— Не думаю. Тут другое. Скорее твое позавчерашнее поведение. Она говорила о нем с обидой.

— Что же я такого сделал?

— Не могу сказать в точности. Слушай, вот что она сказала среди прочего: «Решает всегда он, а если я с ним не согласна, значит, я против — так у нас условлено. Но все решается в его пользу, потому что его мнение уже сложилось и он не оставляет мне времени сформировать свое». Не ручаюсь за точность изложения.

— Но мне не нужно было принимать решения, — удивился Матье. — Мы всегда были согласны по поводу того, как поступать в подобных случаях.

— Да. Но ты не побеспокоился узнать ее мнение позавчера?

— Это верно, — признал Матье. — Но я был уверен, что она со мной согласна.

— Но ты все‑таки у нее ни о чем не спросил. Когда вы последний раз обсуждали такую... ситуацию?

— Не знаю. Два или три года назад.

— Два или три года. А ты не думаешь, что Марсель с тех пор могла изменить свое мнение?

Господа в глубине зала встали и, смеясь, прощались друг с другом, посыльный принес их шляпы — три черные фетровые и один котелок. Они вышли, обменявшись дружескими жестами с барменом, и официант выключил радио. Бар погрузился в суховатую тишину, в воздухе витал запашок бедствия. «Это плохо кончится», — подумал Матье. Он не совсем понимал, что именно плохо кончится: этот бурный день, история с абортом, его отношения с Марсель? Нет, что‑то более неопределенное, более значительное: его жизнь, Европа, этот зловещий и пошлый мир. Он представил себе рыжие волосы Брюне: «В сентябре будет война». В такой момент в пустынном и темном баре начинаешь в это почти верить. Этим летом в его жизнь проникла какая‑то гнильца.

— Она боится операции? — спросил он.

— Не знаю, — отстраненно сказал Даниель.

— Она хочет, чтобы я на ней женился? Даниель засмеялся.

— Чего не знаю — того не знаю. Ты слишком многого от меня хочешь. Во всяком случае, все не так просто. Знаешь что? Ты должен сегодня вечером с ней поговорить. Разумеется, не намекая на меня, просто как будто у тебя появились сомнения. Судя по вчерашнему ее виду, даже странно, почему она сама тебе всего не скажет: у нее тяжело на сердце.

— Хорошо. Попытаюсь вызвать ее на откровенность. Наступило молчание, потом Даниель смущенно добавил:

— Ну вот, я тебя уведомил.

— Да. Спасибо и на том, — сказал Матье.

— Ты на меня сердишься?

— Отнюдь. Ты мне оказал именно такую услугу, о которой говорят: как кирпич на голову.

Даниель расхохотался: он так широко открывал рот, что видны были ослепительные зубы и гортань.

«Я не должна была, — думала она, положив руку на телефонную трубку, — я не должна была, мы всегда друг другу говорили все, он теперь думает: Марсель мне говорила все, да, он это думает, он теперь з н а е т, он знает, в его голове мрачное недоумение, и этот неслышный голос в его голове. Марсель всегда мне говорила все, в этот момент он д у м а е т  обо мне, это невыносимо, в сто раз лучше, если б он меня ненавидел, но он сидел там, на скамейке кафе, расставив руки, как будто что‑то уронил, устремив взгляд на пол, как будто там что‑то разбилось. Свершилось, разговор п р о и з о ш е л, я ничего не видела, ничего не слышала, меня там не было, я ничего не знала, а разговор состоялся, он был, все слова сказаны, а я ничего не знаю, его сдержанный голос поднимался, как дым, к потолку кафе, голос придет оттуда, звучный серьезный голос, от которого всегда дрожит мембрана трубки, он выйдет из нее, он скажет: свершилось; Боже мой. Боже мой, что он мне скажет? Я обнажена, я беременна, а этот голос выйдет полностью одетым из белой трубки, мы не должны были, мы не должны были, — она почти сердилась на Даниеля, если бы было возможно на него сердиться, — он был так великодушен, он один беспокоится обо мне, он взял мое дело в свои руки. Архангел, он говорил о моем деле своим прекрасным голосом. Женщина, слабая женщина, совсем слабая и  з а щ и щ е н н а я   в этом мире живых людей только мрачным и теплым голосом, голос выйдет оттуда, он скажет: «Марсель мне говорила все», — бедный Матье, милый Архангел!» Она подумала: «Архангел», — и ее глаза увлажнились, сладкие слезы, слезы изобилия и плодородия, слезы н а с т о я щ е й женщины после восьми засушливых дней, слезы нежной, нежной защищенной женщины. «Он меня обнял, погладил, защитил с мерцающей влагой в глазах, с лаской в извивающейся бороздке на щеках и дрожащей улыбкой на губах». Восемь дней она смотрела пустыми и сухими глазами в одну точку вдалеке: «Они мне его убьют, восемь дней я была Марсель ясная, Марсель твердая, Марсель благоразумная, Марсель‑мужчина, он говорил, что я мужчина, и вот влага, слабая женщина с дождем в глазах, к чему сопротивляться, завтра я снова буду твердой и благоразумной, один‑единственный раз слезы и муки, сладкая жалость к себе и еще более сладкое смирение, эти бархатные руки на моих бедрах, на моих ягодицах, ей хотелось обнять Матье, на коленях попросить у него прощения: бедный Матье, мой бедный крепыш. Один раз, один‑единственный раз быть защищенной и прощенной, как это хорошо. Вдруг некая мысль резко сдавила ей горло, уксус тек в ее жилах, сегодня вечером, когда он войдет ко мне, когда я обниму его за шею, поцелую, он все будет знать, и нужно будет делать вид, будто я не знаю о том, что он знает. Ах! Мы обманываем его, — в отчаянии подумала она, — мы еще обманываем его, мы ему говорим все, но наша искренность отравлена. Он знает, он войдет сегодня вечером, я увижу его добрые глаза, я буду думать: он знает, и как я смогу это вынести, мой крепыш, мой бедный крепыш, в первый раз за всю мою жизнь я тебе сделала больно, ах, я соглашусь на все, я пойду к бабке, я убью ребенка, мне стыдно, я сделаю все, что он захочет, все, что ты захочешь».

Под ее пальцами зазвонил телефон, она сжала трубку.

— Алло! — сказала она. — Алло, это Даниель?

— Да, — ответил бархатный, спокойный голос. — Кто у телефона?

— Марсель.

— Здравствуйте, дорогая моя Марсель.

— Здравствуйте, — сказала Марсель. Сердце ее гулко билось.

— Вы хорошо спали? — Серьезный голос отозвался у нее в животе, это было сладостно и невыносимо. — Вчера вечером я ушел от вас ужасно поздно. Мадам Дюффе, наверно, отругала бы меня. Но, надеюсь, она ничего не знает.

— Нет, — задыхаясь, проговорила Марсель, — она ничего не знает. Она очень крепко спала, когда вы уходили...

— А вы? — настаивал нежный голос. — Как спали вы?

— Я? Ну... неплохо... Я, знаете, волнуюсь...

Даниель засмеялся, это был царственный, роскошный смех, спокойный и громкий. Марсель немного расслабилась.

— Не нужно волноваться, — сказал он. — Все прошло отменно.

— Все... это правда?

— Правда. Даже лучше, чем я ожидал. Дорогая Марсель, мы недооценивали Матье.

Марсель почувствовала острый укол совести.

— Правда? Правда, что мы его недооценивали?

— Он меня остановил при первых же словах, — заговорил Даниель. — Он сказал мне, что догадался о ваших переживаниях, и это терзало его весь вчерашний день.

— Вы... вы ему объяснили, что мы видимся? — сдавленным голосом спросила Марсель.

— Естественно, — удивился Даниель. — Разве мы на этот счет не условились?

— Да... да... Как он это воспринял?

Даниель, казалось, колебался.

— Очень хорошо. В конечном счете очень хорошо. Сначала он не мог поверить...

— Наверняка он вам сказал: «Марсель мне говорила все».

— Так и есть. — Даниель как будто развеселился. — Он мне сказал именно это.

— Даниель! — воскликнула Марсель. — Меня мучат угрызения совести!

Она снова услышала глубокий веселый смех.

— Какое совпадение: его тоже. Он ушел, терзаемый муками совести. А раз вы оба в таком расположении духа, я бы очень хотел спрятаться где‑нибудь в вашей комнате, когда он к вам придет. Это может быть восхитительно.

Он снова засмеялся, и Марсель подумала со смиренной благодарностью: «Он смеется надо мной». Но его голос стал уже совсем серьезным, и трубка завибрировала, как орган.

— Поверьте, Марсель, все идет превосходно: я рад за вас. Он не дал мне говорить, он остановил меня на первых же словах и сказал: «Бедная Марсель, я страшно перед ней виноват, я ненавижу себя, но я это исправлю; как ты считаешь, могу я еще что‑то исправить?» И глаза у него покраснели. Как он вас любит!

— О, Даниель! О, Даниель!.. О, Даниель... — твердила Марсель.

Наступило молчание, потом Даниель добавил:

— Он сказал, что сегодня вечером хочет с вами поговорить с открытым сердцем: «Мы вскроем нарыв». Теперь все в ваших руках, Марсель. Он сделает все, что вы захотите.

— Вы были так добры, так... Я хотела бы увидеть вас как можно скорее, мне столько нужно вам сказать, а я не могу с вами общаться, не видя вашего лица. Сможете завтра?

Голос показался ей суше, он потерял свою гармоничность.

— Завтра — нет! Естественно, я тоже хотел бы вас увидеть... Послушайте, Марсель, я вам позвоню.

— Договорились, — сказала Марсель, — звоните поскорее. Ах, Даниель, дорогой мой Даниель...

— До свиданья. Марсель. Будьте сегодня вечером ловкой...

— Даниель! — закричала она. Но их уже разъединили.

Марсель положила трубку и провела платком по влажным глазам. «Архангел! Он быстро упорхнул — из опасения, что я буду его благодарить!» Она подошла к окну и посмотрела на прохожих: женщины, дети, рабочие казались ей счастливыми. Молодая женщина бежала по мостовой: на руках у нее был ребенок, она на бегу, задыхаясь, говорила с ним и смеялась. Марсель проследила за ней, затем подошла к зеркалу и с удивлением на себя посмотрела. На полочке умывальника в стакане для полоскания зубов стояли три красные розы. Марсель неуверенно взяла одну и робко повертела ее в пальцах, потом закрыла глаза и воткнула розу в свои черные волосы. «Роза в моих волосах...» Она открыла глаза, посмотрела в зеркало, взбила прическу и смущенно себе улыбнулась.

XV

— Извольте подождать здесь, месье, — сказал человечек.

Матье сел на кушетку. Он был в сумрачном, пахнущем капустой небольшом холле, слева поблескивала застекленная дверь. Позвонили, человечек пошел открывать. Вошла молодая женщина, одетая с благопристойной бедностью.

— Извольте присесть, мадам.

Он проводил женщину, слегка касаясь ее, до кушетки, и она села, подобрав ноги.

— Я уже приходила, — сказала молодая женщина. — По поводу займа.

— Да, мадам, конечно. Человечек говорил ей в лицо:

— Вы служащая?

— Не я. Мой муж.

Женщина стала рыться в сумочке; она была, пожалуй, недурна собой, но вид у нее был унылый и загнанный; человечек рассматривал ее взглядом гурмана. Она вынула из сумочки две или три старательно сложенные бумаги; он взял их, подошел к застекленной двери, чтобы лучше все рассмотреть, и долго их изучал.

— Очень хорошо, — сказал он, возвращая бумаги. — Очень хорошо. У вас двое детей? Вы так молодо выглядите... Детей всегда ждут с нетерпением, не правда ли? Но когда они появляются, то несколько дезорганизуют семейные финансы. У вас сейчас немного стесненные обстоятельства?

Молодая женщина покраснела, человечек потер руки.

— Ну что ж, — добродушно сказал он, — мы все уладим, мы все уладим, для того мы и работаем.

Некоторое время он с улыбкой задумчиво смотрел на нее, потом удалился. Молодая женщина бросила на Матье недружелюбный взгляд и принялась щелкать замком сумочки. Матье стало не по себе: он проник в мир настоящих бедняков, это их деньги он собирался отнять, деньги блеклые и серые, пахнущие капустой. Он опустил голову и посмотрел на пол под ногами: он вспомнил шелковистые ароматные банкноты из сундучка Лолы; то были совсем другие деньги.

Застекленная дверь открылась, и появился высокий господин с седыми усами. У него были серебристые волосы, старательно зачесанные назад. Матье проследовал за ним в кабинет. Господин приветливо указал ему на кресло из потертой кожи, и оба сели. Господин положил локти на стол и сплел красивые белые пальцы. На нем был темно‑зеленый галстук, скромно украшенный жемчужной булавкой.

— Вы желаете прибегнуть к нашим услугам? — по‑отечески спросил он.

— Да.

Он посмотрел на Матье: его светло‑голубые глаза были немного навыкате.

— Месье?..

— Деларю.

—Месье Деларю, вам известно, что устав нашего общества предусматривает услуги займа исключительно государственным служащим?

Голос был красивый и невыразительный, немного жирный, как и руки.

— Я служащий, — сказал Матье. — Преподаватель.

—А‑а! — с интересом произнес господин. — Мы особенно счастливы помогать университетским. Вы преподаватель лицея?

— Да. Лицея Бюффон.

— Великолепно, — непринужденно продолжал господин. — Ну что ж, для начала выполним обычные формальности... Есть ли у вас с собой удостоверение личности, все равно какое: паспорт, военный билет, избирательная карточка...

Матье протянул ему документы. Господин взял их и некоторое время рассеянно изучал.

— Хорошо. Очень хорошо, — заключил он. — А на какую ссуду вы рассчитываете?

— Я хотел бы шесть тысяч франков, — сказал Матье. Потом немного подумал и уточнил: — Нет, пожалуй, семь тысяч.

Матье был приятно удивлен. Он подумал: «Никогда бы не поверил, что все решится так быстро».

— Вы знаете наши условия? Мы даем ссуду на шесть месяцев без продления срока. Мы вынуждены брать двадцать процентов, так как у нас огромные расходы и мы подвергаемся большому риску.

— Хорошо! Хорошо! — поспешил заверить его Матье.

Господин достал из ящика два отпечатанных бланка.

— Соблаговолите заполнить эти анкеты. Внизу подпишитесь.

Это была просьба о ссуде в двух экземплярах. Нужно было указать фамилию, возраст, семейное положение, адрес. Матье начал писать.

— Прекрасно, — сказал господин, пробегая взглядом по листкам. — Родился в Париже... в 1905 году... от отца и матери французского происхождения... Ну что ж, пока это все. При отчислении семи тысяч франков мы попросим вас подписать на гербовой бумаге долговое обязательство. Гербовый сбор за ваш счет.

— При отчислении? Вы разве не дадите их мне сейчас?

Господин, казалось, очень удивился.

— Сейчас? Нет, дорогой месье, нам потребуется по крайней мере две недели, чтобы собрать сведения.

— Какие сведения? Вы же видели мои документы...

Господин посмотрел на Матье с веселой снисходительностью.

— Да! — сказал он. — Университетские все одинаковы! Все идеалисты. Заметьте, месье, что в данном частном случае я не подвергаю сомнению ваше слово. Но вообще ничто нам не доказывает, что предъявленные бумаги не фальшивка. — Он грустно усмехнулся. — Когда имеешь дело с деньгами, учишься недоверию. Это низкое чувство, здесь я согласен с вами, но мы не имеем права быть доверчивыми. Так вот, — заключил он, — нам нужно провести собственное маленькое расследование; мы обратимся непосредственно в ваше министерство. Не беспокойтесь, с надлежащим соблюдением тайны. Но, между нами говоря, вы ведь знаете, что такое чиновники: я сильно сомневаюсь, что вы сможете получить нашу помощь раньше пятого июля.

— Это невозможно, — сдавленным голосом проговорил Матье. — Мне нужны деньги сегодня вечером или самое позднее — завтра утром, мне нужны деньги срочно, А нельзя ли... под более высокие проценты?

Господин, казалось, был возмущен, он воздел красивые руки.

— Но мы же не какие‑нибудь ростовщики, дорогой месье! Наше общество получило поддержку министерства общественного труда. Это, так сказать, официальная организация, мы берем нормальные проценты, которые были установлены с учетом наших расходов и риска, и мы не можем идти на такие сделки.

Он строго добавил:

— Если вам нужно так срочно, надо было прийти раньше. Вы разве не читали наши правила?

— Нет, — признался Матье, вставая. — Я был застигнут врасплох.

— Тогда сожалею... — холодно произнес господин. — Разорвать заполненные вами анкеты?

Матье подумал о Саре: «Она наверняка добьется отсрочки».

— Не рвите, — попросил он, — я постараюсь найти выход.

— Конечно, — приветливо отозвался господин, — всегда найдется друг, который вам одолжит на две недели то, что нужно. Значит, это ваш адрес, — сказал он, указывая пальцем на анкету, — улица Югенс, 12?

— Да.

— В первых числах июля мы вышлем вам вызов. Он встал и проводил Матье до двери.

— До свиданья, — сказал Матье, — спасибо.

— Счастлив оказать услугу, — кланяясь, отвечал господин. — Рад буду увидеть вас снова.

Матье широкими шагами пересек холл. Молодая женщина все еще была там; она растерянно покусывала перчатку.

— Соблаговолите зайти, мадам, — произнес господин за спиной Матье.

На улице в сером воздухе подрагивали зеленоватые отблески растений. Но теперь Матье не покидало ощущение, что он заперт в четырех стенах. «Еще одна неудача», — подумал он. Вся надежда была только на Сару. Он дошел до Севастопольского бульвара, зашел в кафе и попросил у стойки жетон.

— Телефоны в глубине, справа.

Набирая номер, Матье прошептал: «Только бы ей удалось! Только бы ей удалось!» Это было что‑то вроде заклинания.

— Алло, — сказал он, — алло, Сара?

— Да, — отозвался голос. — Это Веймюллер.

— Это Матье Деларю. Могу я поговорить с Сарой?

— Она вышла.

— А? Обидно... Не знаете, когда она вернется?

— Не знаю. Что‑нибудь передать?

— Нет. Просто скажите, что я звонил.

Он повесил трубку и вышел. Его жизнь больше от него не зависела, она была в руках Сары, оставалось только ждать. Он подал знак водителю автобуса, вошел и сел около старой женщины, кашлявшей в платок. «Евреи всегда между собой договариваются», — подумал он. Он согласится, он определенно согласится.

— До Данфер‑Рошро, пожалуйста.

— Три билета, — сказал кондуктор.

Матье взял три билета и принялся смотреть в окно; он с грустной обидой думал о Марсель. Стекла дрожали, старуха кашляла, цветы подрагивали на ее черной соломенной шляпке. Шляпка, цветы, старуха, Матье — все уносилось огромной машиной; старуха не поднимала носа от платка и тем не менее кашляла на углу улицы Урс и Севастопольского бульвара, кашляла на улице Реомюр, кашляла на улице Монторгёй, кашляла на Новом мосту над серой и спокойной водой. «А если еврей не согласится?» Но и эта мысль не вывела его из оцепенения; он превратился в мешок с углем на других мешках в кузове грузовика. «Тем хуже, тогда все будет кончено, я ей скажу сегодня вечером, что женюсь на ней». Автобус, как огромная детская игрушка, уносил его, заставлял клониться направо, налево, сотрясал, кидал, события кидали его к спинке сиденья, к стеклу, он был убаюкан скоростью своей жизни, он думал: «Моя жизнь больше мне не принадлежит, моя жизнь — это просто повороты судьбы»; он смотрел, как возникают одно за другим огромные черные здания улицы Сен‑Пэр, он смотрел на свою жизнь, которая неслась под откос. Жениться, не жениться: «Теперь это от меня не зависит, орел или решка».

Резко скрипнули тормоза, и автобус остановился. Матье выпрямился и с волнением посмотрел на спину водителя: вся его свобода вновь хлынула на него. Он подумал: «Нет, нет, только не орел и решка. Что бы ни произошло, все должно произойти по моей воле».

Даже если он позволит обстоятельствам себя унести, растерявшегося, отчаявшегося, как уносят старый мешок угля, он сам выберет свою погибель: он свободен, свободен для всего, свободен валять дурака или действовать, как автомат, свободен соглашаться, свободен отказывать, свободен прибегать к уверткам; жениться, бросать, годами влачить этот груз, прикованный к ноге: он мог делать то, что хотел, никто не имел права ему советовать. Добро и Зло существовали для него лишь в том случае, если он сам их для себя придумывал. Вокруг него сгруппировались кругом предметы, они ждали, не подавая знака, не давая ни малейшего указания. Он был один среди чудовищной тишины, вне помощи и оправдания, осужденный решать раз и навсегда без возможности обжалования, обреченный до конца оставаться свободным.

— Данфер‑Рошро! — крикнул кондуктор. Матье встал и вышел; он зашагал по улице Фруадво. Он был усталым и нервничал, он беспрестанно вспоминал открытый сундучок в темной комнате, а в сундучке — душистые и мягкие банкноты; это было как угрызение совести. «Эх! Я должен был их взять», — подумал он.

— Для вас пневматическая почта, — сказала консьержка. — Только что пришла.

Матье взял письмо и надорвал конверт; в это мгновение стены, окружавшие его, рухнули, и ему показалось, что переменился весь мир. Посередине страницы было три слова крупным нисходящим почерком:

«Провалилась. В беспамятстве. Ивиш».

— Что, плохая новость?

— Нет.

— Хорошо. А то у вас стало такое удрученное лицо.

— Один из моих бывших учеников провалился на экзамене.

— А, мне говорили, что сейчас учиться стало труднее.

— Гораздо труднее.

— Подумать только! Молодые люди сдают экзамены, — сказала консьержка. — И вот они уже с дипломами. А что потом?

— Я тоже задаю себе этот вопрос. Он в четвертый раз перечитал послание Ивиш. Он был поражен его красноречивым отчаянием. Провалилась. В беспамятстве... «Сейчас она способна сделать что‑то непоправимое, — подумал он. — Это ясно как день, она способна на что угодно».

— Который час?

— Шесть.

«Шесть часов. Она узнала о результатах в два. Вот уже четыре часа, как она одна посреди Парижа». Он сунул письмо в карман.

— Мадам Гарине, одолжите мне пятьдесят франков, — сказал он консьержке.

— Ой, не знаю, найдется ли у меня, — удивилась консьержка. Она порылась в ящике своего рабочего стола. — Послушайте, есть только бумажка в сто франков, принесите мне тогда сдачу вечером.

— Договорились, — сказал Матье, — спасибо. Он вышел; он думал: «Где она может быть?» Голова у него была пустой, руки дрожали. Свободное такси проезжало по улице Фруадво. Матье остановил его.

— Женское общежитие, улица Сен‑Жак, 173, поскорее.

— Хорошо, — сказал шофер.

«Где она может быть? В лучшем случае уже уехала в Лаон в худшем... я опоздал на четыре часа», — подумал он. Он нагнулся вперед и непроизвольно нажимал правой ногой на коврик, как бы прибавляя машине ход.

Такси остановилось. Матье вышел и позвонил в дверь общежития.

— Мадемуазель Ивиш Сергина здесь? Дама недоверчиво покосилась на него

— Сейчас посмотрю, — сказала она. Дама быстро вернулась.

— Мадемуазель Сергина не возвращалась с самого утра. Ей что‑нибудь передать?

— Нет.

Матье снова сел в такси.

— Гостиница «Полонь», улица Соммрар.

Вскоре он приник к окну.

— Здесь, здесь! Гостиница слева.

Он выскочил и толкнул застекленную дверь.

— Месье Сергин здесь?

Толстый слуга‑альбинос был у кассы. Он узнал Матье и улыбнулся ему.

— Он еще не вернулся с ночи.

— А его сестра... молодая блондинка, она здесь сегодня была?

— Да я хорошо знаю мадемуазель Ивиш, — сказал парень. — Нет, она не приходила, звонила только мадам Монтеро два раза, просила передать месье Борису, чтобы он пришел к ней сразу же, как вернется; если вы его увидите, можете ему передать.

— Хорошо, — согласился Матье.

Он вышел. Где она могла быть? В кино? Вряд ли. Слонялась по улицам? Во всяком случае, она еще не уехала из Парижа, иначе она бы зашла в общежитие за чемоданами. Матье вынул из кармана письмо и изучил конверт: отправлено из почтового отделения на улице Кюжа, но это еще ничего не доказывало.

— Куда едем? — спросил шофер.

Матье неуверенно посмотрел на него, и вдруг его осенило: «Чтобы так написать, нужно быть не в себе. Она определенно напилась».

— Послушайте, — сказал он, — поезжайте медленно по бульвару Сен‑Мишель, начиная с набережной Я ищу одного человека, мне нужно осмотреть все кафе.

Ивиш не было ни в «Биаррице», ни в «Ла Суре», ни в «д'Аркур», ни в «Биар», ни в «Пале дю кафе». В «Ка‑пуладе» Матье заметил китайского студента, который знал Ивиш. Он подошел. Китаец пил портвейн, взгромоздившись на табурет подле бара.

— Извините, — начал Матье, приблизившись к нему. — Мне кажется, вы знаете мадемуазель Сергину. Вы ее сегодня видели?

— Нет, — ответил китаец. Он говорил с трудом. — С ней случилось несчастье.

— С ней! Несчастье! — закричал Матье.

— Нет, — пояснил китаец, — я спрашиваю, не случилось ли с ней несчастье.

— Не знаю, — отмахнулся Матье, повернувшись к нему спиной.

Он больше даже не мечтал защитить Ивиш от нее самой, у него была лишь острая и болезненная необходимость увидеть ее. «А что если она попыталась убить себя? У нее на это ума хватит», — в ярости подумал он. Помимо всего прочего, она может быть просто где‑нибудь на Монпарнасе.

— На перекресток Вавен, — сказал он.

Он снова сел в такси. Руки его дрожали: он засунул их в карманы. Такси сделало вираж вокруг фонтана Медичи, и Матье заметил Ренату, итальянскую подругу Ивиш. Она выходила из Люксембургского сада с портфелем под мышкой.

— Остановите! Остановите! — закричал Матье шоферу. Он выпрыгнул из такси и подбежал к ней.

— Вы не видели Ивиш?

Рената сурово посмотрела на него.

— Здравствуйте, месье, — сказала она.

— Здравствуйте. Вы видели Ивиш?

— Ивиш? — переспросила Рената. — Конечно.

— Когда?

— Приблизительно час назад. — Где?

— В Люксембургском саду. Она была в странной компании, — немного натянуто пояснила Рената. — Вы знаете, что ее не приняли, бедняжку?

— Да. Куда она пошла?

— Они хотели пойти на танцы. По‑моему, в «Тарантул».

— Где это?

— На улице Месье‑ле‑Пренс. Вы увидите, там магазин грампластинок, а танцзал в полуподвале.

— Спасибо.

Матье сделал несколько шагов, потом вернулся.

— Извините. Попрощаться с вами я тоже забыл.

— До свиданья, месье, — ответила Рената.

Матье вернулся к машине.

— Улица Месье‑ле‑Пренс, это в двух шагах отсюда. Езжайте медленно, я вас остановлю.

«Хоть бы она была еще там! Я обойду все танцульки Латинского квартала».

— Остановите, это здесь. Подождите меня немного.

Матье вошел в магазин грампластинок.

— Где «Тарантул»? — спросил он.

— В полуподвале. Спуститесь по лестнице.

Матье спустился, вдохнул прохладный и заплесневелый воздух, толкнул створку обитой кожей двери и вздрогнул, будто его ударили под ложечку: Ивиш была там, она танцевала. Он прислонился к дверному косяку и подумал: «Она здесь».

Это был пустой вычищенный подвал с ровными стенами. Яркий свет падал из‑под промасленных бумажных плафонов. Матье увидел полтора десятка покрытых скатертями столиков, затерянных в глубине этого мертвого светового моря. По бежевым стенам расклеены куски разноцветного картона с изображениями экзотических растений, но картон коробился из‑за сырости, кактусы надулись пузырями. Невидимый проигрыватель играл пасодобль, и эта скрытая музыка делала зал еще более пустым.

Ивиш положила голову на плечо своему партнеру и тесно прижималась к нему. Он хорошо танцевал. Матье узнал его: тот высокий молодой брюнет, который сопровождал вчера Ивиш на бульваре Сен‑Мишель. Он вдыхал запах волос Ивиш и время от времени целовал их. Бледная, закрыв глаза, она отбрасывала волосы назад и смеялась, в то время как он шептал ей что‑то на ухо; они танцевали одни. В глубине зала четыре молодых человека и сильно накрашенная девушка хлопали в ладоши и кричали: «Давай!» Высокий брюнет подвел Ивиш к их столику, обнимая ее за талию, студенты суетились вокруг нее и весело приветствовали; у них был странный вид, одновременно фамильярный и чопорный; они обволакивали ее на расстоянии округлыми и нежными движениями. Накрашенная женщина держалась сдержанно. Она стояла, тяжелая и вялая, с неподвижным взглядом. Потом она закурила сигарету и задумчиво сказала:

— Давай!

Ивиш рухнула на стул между молодой женщиной и маленьким блондином с круглой бородкой. Она безумно смеялась.

— Нет! Нет! — кричала она, размахивая руками перед лицом. — Нет алиби! Не нужно алиби!

Бородач услужливо уступил стул красивому брюнету: «Дальше некуда, — подумал Матье, — за ним уже признают право сидеть рядом с ней». Красивый брюнет, казалось, считал это совершенно естественным; впрочем, он единственный из всей компании выглядел довольным. Ивиш показала пальцем на бородача.

— Он убегает, потому что я обещала его поцеловать, — смеясь, сказала она.

— Позвольте, — с достоинством молвил бородач, — вы мне не обещали, вы мне этим грозили.

— Что ж, я тебя не поцелую, — сказала Ивиш. — Я поцелую Ирму!

— Вы хотите меня поцеловать, моя маленькая Ивиш? — удивилась польщенная молодая женщина.

— Да, давай. — Ивиш властно потянула ее за руку.

Остальные изумленно расступились, кто‑то сказал мягко и укоризненно: «Послушайте, Ивиш!» Красивый брюнет смотрел на нее с тонкой усмешкой; он ее подстерегал. Матье почувствовал себя униженным: для этого элегантного молодого человека Ивиш была только добычей, он ее раздевал опытным и чувственным взглядом, она была уже голой перед ним, он угадывал ее грудь, бедра, запах ее тела... Матье резко встряхнулся и на ватных ногах подошел к Ивиш: он заметил, что в первый раз постыдно желал ее через желание другого.

Ивиш сделала множество гримас, прежде чем поцеловать свою соседку. В конце концов она взяла ее голову двумя руками, поцеловала в губы и сильно оттолкнула.

— От тебя пахнет аптекой, — сказала она укоризненно.

Матье стал у их столика.

— Ивиш! — позвал он.

Она посмотрела на него, открыв рот, он не был уверен, узнает ли она его. Ивиш медленно подняла левую руку и показала ему ее.

— Это ты, — сказала она. — Посмотри.

Она уже сорвала повязку. Матье увидел красноватую липкую корочку с маленькими пузырьками желтого гноя.

— А ты свою повязку оставил, — разочарованно сказала Ивиш. — Ах да, ты же осторожный.

— Она ее сорвала, хотя мы пытались ее остановить, — извиняющимся тоном сказала женщина. — Она просто чертенок.

Ивиш резко встала и мрачно посмотрела на Матье.

— Уведите меня отсюда. Я унижаю себя.

Молодые люди переглянулись.

— Знаете, — сказал бородач, — мы ее не заставляли пить. Скорее мы пытались ей помешать.

— Это правда, — с отвращением сказала Ивиш. — Маменькины сынки, вот кто они такие.

— Кроме меня, Ивиш, — возразил красивый танцор, — кроме меня.

Он заговорщицки посмотрел на нее. Ивиш повернулась к нему и сказала:

— Да, кроме вот этого наглеца.

— Пойдемте, — мягко сказал Матье. Он взял ее за плечи и увлек за собой; он услышал за спиной ошеломленный ропот.

Посреди лестницы она стала тяжелее.

— Ивиш, — умоляюще сказал он. Она весело тряхнула волосами,

— Я хочу сесть здесь, — сказала она.

— Прошу вас, пойдемте.

Ивиш, давясь от смеха, подняла юбку выше колен.

— Я хочу сесть здесь.

Матье поднял ее за талию и понес. Когда они оказались на улице, он ее отпустил: Ивиш больше не отбивалась. Она сощурилась и с мрачным видом огляделась.

— Хотите вернуться к себе? — предложил Матье. — Нет! — во весь голос крикнула Ивиш.

— Хотите, отвезу вас к Борису?

— Его нет дома.

— Где же он?

— Черт его знает.

— Куда вы хотите поехать?

— Откуда я знаю? Вам решать, вы же меня увели. Матье немного подумал.

— Хорошо, — сказал он.

Он поддерживал ее до такси и сказал шоферу:

— Улица Югенс, 12.

— Я вас везу к себе, — сказал он. — Вы сможете прилечь на моем диване, а я заварю вам чай.

Ивиш не возражала. Она с трудом забралась в такси и рухнула на заднее сиденье.

— Вам плохо?

Она была мертвенно бледна.

— Я больна, — сказала Ивиш.

— Я попрошу его остановиться у аптеки, — предложил Матье.

— Нет! — выкрикнула она.

— Тогда вытянитесь и закройте глаза, — сказал Матье. — Мы скоро приедем.

Ивиш слабо застонала. Вдруг она позеленела и высунулась через окно наружу. Матье увидел, как ее узкая худая спина сотрясается от рвоты. Он протянул руку и вцепился в ручку дверцы: он боялся, что дверца откроется. Через некоторое время приступ прекратился. Матье быстро откинулся назад, взял трубку и сосредоточенно набил ее. Ивиш упала на сиденье, и Матье положил трубку в карман.

— Приехали, — сказал он.

Ивиш с трудом выпрямилась.

— Мне стыдно! — простонала она.

Матье вышел первым и протянул ей руки. Но она их оттолкнула и легко спрыгнула на мостовую. Он поспешно заплатил шоферу и повернулся к Ивиш. Она безразлично смотрела на него: кислый запах рвоты исходил у нее изо рта. Матье жадно вдохнул этот запах.

— Вам лучше?

— Я больше не пьяна, — мрачно сообщила Ивиш. — Но у меня башка трещит.

Матье осторожно повел ее по лестнице.

— Каждый шаг отдается в голове, — враждебно сказала она. На второй площадке она ненадолго остановилась, чтобы перевести дыхание. — Теперь я все вспомнила.

— Что именно?

— Все. Я разъезжала с этими подонками и выставляла себя напоказ. И я... я провалилась на экзамене.

— Пойдемте, — сказал Матье. — Остался только один этаж.

Они молча поднялись. Вдруг Ивиш спросила:

— Как вы меня нашли?

Матье наклонился, чтобы вставить ключ в скважину.

— Я вас долго искал, — объяснил он. — А потом встретил Ренату.

Ивиш бормотала за его спиной:

— Я все время надеялась, что вы придете.

— Прошу, — посторонясь, пригласил Матье. Она слегка задела его, проходя, и у него появилось желание обнять ее.

Ивиш сделала несколько неуверенных шагов, вошла в комнату и с мрачным видом огляделась.

— Это ваша квартира?

— Да, — сказал Матье. Он впервые принимал ее у себя. Матье посмотрел на свои зеленые кожаные кресла и на рабочий стол: он их видел глазами Ивиш, и ему стало за них стыдно. — Вот диван, — показал он, — прилягте.

Ивиш, не говоря ни слова, бросилась на диван.

— Хотите чаю?

— Мне холодно, — пожаловалась Ивиш. Матье принес плед и накрыл ей ноги. Ивиш закрыла глаза и положила голову на подушку. Она страдала, на лбу, у переносицы, прорезались три вертикальные морщины.

— Хотите чаю?

Она не ответила. Матье взял электрический чайник и пошел наполнить его из крана. В буфете он нашел высохшую половинку лимона, почти остекленевшую, но, если хорошо нажать, может, удастся извлечь из него слезинку‑другую. Он положил его на поднос с двумя чашками и вернулся в комнату.

— Я поставил чайник, — сказал он.

Ивиш не ответила: она спала. Матье пододвинул к дивану стул и бесшумно сел. Три морщинки Ивиш исчезли, лоб был гладким и чистым, она улыбалась с закрытыми глазами. «Как она молода!» — подумал Матье. Всю свою надежду он вложил в этого ребенка. Она была такой слабой, такой легкой на этом диване: она никому не могла помочь; наоборот, нужно было ей как‑то помочь жить. А Матье помочь не мог. Ивиш уедет в Лаон, там она одичает за зиму или две, а потом появится какой‑нибудь субъект — молодой, конечно, — и уведет ее. «А я женюсь на Марсель». Матье встал и бесшумно пошел посмотреть, не кипит ли чайник, затем вернулся и сел рядом с Ивиш; он нежно глядел на это маленькое больное и оскверненное тело, которое оставалось во сне таким благородным; он подумал, что любит Ивиш, и был удивлен, что любовь его не ощущалась так, как ощущается особое волнение или какой‑то другой радостный порыв: нет, это скорее было предвестие несчастья, неподвижный знак проклятия на линии горизонта. В чайнике закипела вода, и Ивиш открыла глаза.

— Я вам готовлю чай, — пояснил Матье. — Хотите?

— Чай? — недоуменно спросила Ивиш. — Но вы же не умеете готовить чай.

Она ладонями надвинула волосы на щеки и встала, протирая глаза.

— Дайте пачку, — распорядилась она, — я вам приготовлю чай по‑русски. Но для этого нужен самовар.

— У меня только чайник, — сказал Матье, протягивая ей пачку.

— Э‑э, еще и чай цейлонский! Тем хуже.

Она засуетилась вокруг чайника.

— А заварной?

— Минуту, — сказал Матье. И помчался в кухню.

— Благодарю.

По‑прежнему мрачная Ивиш несколько оживилась. Она налила воду в заварной чайник и через несколько минут села.

— Пусть настоится, — решила она.

Наступило молчание, затем Ивиш снова заговорила:

— Мне не нравится ваша квартира.

— Я так и думал, — ответил Матье. — Но когда вы немного придете в себя, мы сможем выйти.

— А куда идти? — удивилась Ивиш. — Нет, мне приятно быть здесь. Все эти кафе мелькают перед глазами, там везде люди, это какой‑то кошмар. Здесь некрасиво, но спокойно. Не могли бы вы задернуть шторы? Мы зажжем эту маленькую лампу.

Матье закрыл жалюзи и развязал шнуры. Тяжелые зеленые шторы медленно сомкнулись. Он зажег лампу на письменном столе.

— Ночь...— зачарованно проговорила Ивиш.

Она откинулась на подушки дивана.

— Как уютно, такое впечатление, что день кончился: я хотела бы, чтоб было темно, когда я выйду отсюда, я боюсь снова увидеть снаружи день.

— Вы останетесь, сколько захотите, — сказал Матье. — Ко мне никто не должен прийти. Даже если кто‑то и придет, мы не откроем. Я совершенно свободен.

Это было неправдой: в одиннадцать часов его ждала Марсель. Он злобно подумал: «Ничего, подождет».

— Когда вы уезжаете? — спросил он.

— Завтра. Двенадцатичасовым поездом.

Некоторое время Матье молчал. Затем сказал, следя за своим голосом:

— Я провожу вас на вокзал.

— Нет! — отрезала Ивиш. — Ненавижу эти дряблые прощания, они тянутся, как резина. К тому же я буду подыхать от усталости.

— Как хотите, — сказал Матье. — Вы телеграфировали родителям?

— Нет. Я... Это хотел сделать Борис, но я ему помешала.

— Но тогда вам самой нужно известить их.

Ивиш опустила голову.

— Да.

Наступило молчание. Матье смотрел на поникшую голову Ивиш и ее хрупкие плечи: ему казалось, что она мало‑помалу покидает его.

— Итак, — произнес он, — это наш последний вечер года.

— Ха! — иронически засмеялась она. — Года!..

— Ивиш, — сказал Матье, — вы не должны... Я ведь приеду к вам в Лаон.

— Ни в коем случае. Все, что имеет отношение к Лаону, так гнусно...

— Уверен, что вы еще вернетесь.

— Нет.

— В ноябре будет сессия, неужели ваши родители...

— Вы их не знаете.

— Верно, не знаю. Но не станут же они из‑за проваленного экзамена коверкать вам всю жизнь, чтобы наказать вас.

— Они и не подумают меня наказывать, — сказала Ивиш. — Будет хуже: они всего‑навсего потеряют ко мне интерес, просто выбросят меня из головы. Впрочем, этого я и заслуживаю! — сказала она запальчиво. — Я неспособна овладеть специальностью и лучше останусь на всю жизнь в Лаоне, чем снова начну поступать на ФХБ.[[8]](#footnote-8)

— Не говорите так, — встревожился Матье. — Не отчаивайтесь заранее. Вы же ненавидите Лаон.

— Да! Я его ненавижу, — процедила Ивиш сквозь зубы.

Матье встал, чтобы пойти за заварным чайником и чашками. Вдруг кровь ударила ему в лицо: он вернулся к Ивиш и, не глядя на нее, пробормотал:

— Послушайте, Ивиш, завтра вы уедете, но я даю вам слово, что вы вернетесь в конце октября. До тех пор я все улажу.

— Уладите? — устало удивилась она. — Но нечего, решительно нечего улаживать. Я вам сказала, что неспособна овладеть специальностью.

Матье осмелился поднять на нее глаза, но не почувствовал себя успокоенным; как найти слова, которые бы ее не обидели?

— Я не это хотел сказать... Если бы... Если бы вы позволили мне вам помочь...

Ивиш, казалось, все еще не понимала. Матье добавил:

— У меня будет немного денег.

Ивиш так и подскочила.

— А, значит, вот что! — изумилась она. И сухо добавила: — Это совершенно невозможно.

— Да нет же, — горячо сказал Матье, — это вполне возможно. Послушайте, во время каникул я отложу немного денег; Одетта и Жак каждый год приглашают меня провести август на их вилле в Жуан‑ле‑Пен, я там никогда не был, но нужно хоть раз им уступить. В этом году я туда поеду, это меня развеет, к тому же я немного сэкономлю... Не отказывайтесь с ходу, — живо сказал он, — это будет взаймы.

Он остановился. Ивиш поникла и зло посмотрела на него исподлобья.

— Не смотрите на меня так, Ивиш!

— Уж не знаю, как я на вас смотрю, но точно знаю, что у меня болит голова, — мрачно проворчала Ивиш. Она опустила глаза. — Спать я должна вернуться к себе.

— Прошу вас, Ивиш! Послушайте: я непременно найду деньги, а вы снова будете жить в Париже, только не говорите «нет»; умоляю, не говорите «нет», не подумав. Деньги не должны вас смущать, вы вернете мне долг, когда станете зарабатывать.

Ивиш пожала плечами, и Матье быстро предложил:

— Ну хорошо, пусть мне их отдаст Борис.

Ивиш не ответила, она запустила руки в волосы. Матье стоял перед ней истуканом, злой и несчастный.

— Ивиш!

Она продолжала молчать. У Матье возникло желание взять ее за подбородок и силой поднять ей голову.

— Ивиш! Ответьте мне наконец! Почему вы не отвечаете?

Ивиш молчала. Матье начал ходить взад‑вперед; он думал: «Она согласится, я не отпущу ее, пока она не согласится. Я... я буду давать частные уроки или займусь корректорской работой».

— Ивиш, — сказал он, — почему вы не соглашаетесь?

Ивиш можно было доконать, если утомить ее, засыпая вопросами, постоянно меняя тон.

— Почему вы не соглашаетесь? — настаивал он. — Ну, скажите, почему?

Наконец Ивиш пробормотала, не поднимая головы:

— Я не хочу брать у вас деньги.

— Но почему? Вы же берете деньги у родителей.

— Это совсем другое.

— Действительно, другое. Вы мне сто раз говорили, что ненавидите родителей.

— Но почему я должна брать у вас деньги?

— Но ведь их деньги вы принимаете.

— Мне не нужны благодетели. К отцу по крайней мере мне не придется испытывать признательности.

— Но откуда такая гордыня? — воскликнул Матье. — Вы не имеете права из‑за самолюбия портить себе жизнь. Подумайте о том существовании, которое вы будете влачить в Лаоне. Ежедневно и ежечасно вы будете сожалеть, что не воспользовались случаем.

У Ивиш исказилось лицо.

— Перестаньте! — вскрикнула она. — Перестаньте! Она добавила хриплым, низким голосом:

— О, что за мука не быть богатой! В какие отвратительные ситуации попадаешь!

— Но я вас не понимаю, — мягко сказал Матье. — Еще в прошлом месяце вы мне сказали, что деньги — это нечто низменное, пустячное. Вы тогда говорили: «Мне безразлично, откуда они, лишь бы они у меня были».

Ивиш пожала плечами. Матье видел только ее темя и полоску шеи между локонами и воротничком блузки. Шея была смуглее, чем кожа лица.

— Разве вы этого не говорили?

— Я не хочу брать у вас деньги.

Матье потерял терпение.

— А, вы не хотите брать деньги у мужчины, — нервно усмехнулся он.

— О чем вы? — удивилась Ивиш. Во взгляде ее промелькнула холодная ненависть. — Вы меня оскорбляете. Я об этом даже не думала, и... и мне на это плевать. У меня и в мыслях не было...

— Но тогда что? Подумайте: впервые в жизни вы будете абсолютно свободной; вы будете жить, где захотите, будете делать все, что заблагорассудится. Вы мне сказали, что хотели бы получить лиценциат по философии. Так вот, вы можете попытаться; мы с Борисом вам поможем.

— Почему вы хотите сделать мне добро? — недоумевала Ивиш. — Я его никогда вам не делала. Я... я всегда была с вами несносна, а теперь вы меня жалеете.

— Я вас не жалею.

— Тогда почему вы мне предлагаете деньги?

Матье поколебался, затем, отвернувшись, сказал:

— Я не могу смириться с мыслью, что больше вас не увижу.

Наступило молчание, потом Ивиш неуверенно спросила:

— Вы... вы хотите сказать... что делаете это из эгоизма?

— Из чистого эгоизма, — сухо заверил ее Матье, — я хочу снова вас увидеть — вот и все.

Наконец он решился повернуться к ней. Ивиш смотрела на него, подняв брови и открыв рот. Затем вдруг расслабилась.

— Тогда я, может быть, соглашусь, — безразлично сказала она. — В этом случае вы лицо заинтересованное, так ведь? А кроме того, вы правы: пусть деньги приходят, а откуда — не важно.

Матье вздохнул. «Готово!» — подумал он. Но облегчения не почувствовал: Ивиш по‑прежнему выглядела угрюмой.

— Как вы преподнесете это родителям? — спросил он, чтобы закрепить успех.

— Что‑нибудь придумаю, — уклонилась от ответа Ивиш. — Они мне либо поверят, либо нет. Какое это имеет значение, раз платить будут не они?

Она мрачно понурилась.

— А пока что надо туда вернуться, — сказала она.

Матье постарался подавить раздражение.

— Но вы ведь снова будете здесь!

— Ну, это так нереально... — сказала она. — Я говорю «нет», я говорю «да», но мне не слишком верится. Все это так не скоро. А в Лаоне я буду уже завтра вечером.

Она притронулась к горлу и сказала:

— Это у меня засело вот тут. К тому же нужно собирать чемоданы, сборы займут целую ночь.

Она встала.

— Чай уже готов. Прошу.

Ивиш налила чай в чашки. Он был черный, как кофе.

— Я буду вам писать, — сказал Матье.

— Я тоже, — пообещала она. — Хотя мне нечего будет вам сказать.

— Вы мне опишете ваш дом, вашу комнату. Я бы хотел иметь возможность вообразить вас там.

— Ну уж нет! — возразила она. — Я не хочу все это описывать. Достаточно того, что я буду там жить.

Матье вспомнил о сухих, коротких письмах, которые Борис посылал Лоле. Но только на мгновение: он посмотрел на руки Ивиш, на ее пурпурные заостренные ногти, на худые запястья и подумал: «Я ее снова увижу».

— Какой странный чай, — сказала Ивиш, ставя чашку на стол.

Матье вздрогнул: позвонили во входную дверь. Он ничего не сказал: надеялся, что Ивиш не услышала.

— Что это? Кто‑то звонит? — спросила она.

Матье приложил палец к губам.

— Мы ведь договорились, что не откроем, — прошептал он.

— Нет! Нет! — громко сказала Ивиш. — Возможно, это что‑то важное, откройте побыстрее.

Матье направился к двери. Он думал: «Она не хочет быть в сговоре со мной». Он открыл дверь, когда Сара уже намеревалась звонить вторично.

— Здравствуйте, — запыхавшись, сказала Сара. — Вы меня заставили поторопиться. Маленький министр передал, что вы звонили, и я побежала к вам, даже шляпку не успела надеть.

Матье с ужасом смотрел на нее: плотно облегающий кошмарный костюм ядовито‑зеленого цвета, улыбка, обнажающая все ее испорченные зубы, растрепанные волосы, весь этот вид болезненной доброты — она казалась воплощением неудачи.

— Здравствуйте, — быстро сказал он, — знаете ли, со мной сейчас...

Сара дружески его оттолкнула и заглянула через его плечо.

— Кто у вас? — спросила она с жадным любопытством. — А! Это Ивиш Сергина. Как поживаете, Ивиш?

Ивиш встала и изобразила что‑то вроде реверанса. У нее был разочарованный вид. У Сары, впрочем, тоже. Ивиш была единственным человеком, которого Сара не выносила.

— Какая вы худышка, — сказала Сара. — Уверена, что вы мало едите. Это неблагоразумно.

Матье сел напротив Сары и пристально посмотрел на нее. Сара начала смеяться.

— Вот Матье делает мне страшные глаза, — весело сказала она. — Не хочет, чтобы я поучала вас насчет диеты. Она повернулась к Матье.

— Я поздно вернулась, — сказала она. — Вальдманна невозможно было найти. Он всего лишь три недели в Париже и уже ввязался в кучу сомнительных делишек. Я его поймала только около шести.

— Вы очень добры, Сара, спасибо, — пробормотал Матье. Он торопливо добавил:

— Поговорим об этом позже. Выпейте чашечку чаю.

— Нет, нет! Я даже не присяду, — сказала она, — мне нужно мчаться в испанский книжный магазин, они срочно хотят меня видеть: в Париж приехал один друг Гомеса.

— Кто? — спросил Матье, чтобы выиграть время.

— Еще не знаю. Мне так и сказали: один друг Гомеса. Он приехал из Мадрида.

Сара с нежностью посмотрела на Матье. Ее глаза как будто помутились от доброты.

— Мой бедный Матье, у меня для вас скверные вести: он отказался.

— Гм!..

У Матье все‑таки хватило силы предпринять еще одну попытку:

— Вы, конечно, хотите поговорить со мной наедине?

Он несколько раз нахмурил брови, но Сара на него не смотрела.

— Да нет... К чему? — грустно промолвила она. — Мне почти нечего вам сказать. Она таинственно добавила:

— Я настаивала, как могла. Но ничего не вышло. Известное вам лицо должно быть у него завтра утром с деньгами.

— Что ж, тем хуже: не будем больше об этом, — быстро сказал Матье.

Он подчеркнул последние слова, но Сара считала нужным оправдаться.

— Я сделала все возможное, поверьте, я его даже умоляла. Он спросил: «Это еврейка?» Я сказала: «Нет». Тогда он отрезал: «Я не делаю в кредит. Если она хочет, чтобы ей помог я, пусть платит. Если нет, в Париже достаточно клиник».

Матье услышал, как за его спиной скрипнул диван. Сара продолжала:

— Он сказал: «Я им больше ничего не сделаю в кредит, они нам причинили предостаточно страданий». И, знаете ли, это правда, я его почти понимаю. Он мне рассказывал о венских евреях, о концентрационных лагерях. Я не хотела этому верить... — Ей изменил голос. — Их так мучили...

Сара замолкла, воцарилась гнетущая тишина. Покачивая головой, она снова заговорила:

— Что вы собираетесь делать?

— Еще не знаю.

— Вы не думаете о...

— Да, — грустно сказал Матье. — Думаю, что этим кончится.

— Мой дорогой Матье! — взволнованно воскликнула Сара.

Он сурово посмотрел на нее, и она растерянно замолчала; он увидел, как на ее лице промелькнул проблеск понимания.

— Ладно! — помедлив, проговорила она. — Я побегу. Обязательно позвоните мне завтра утром, я хочу знать, чем все кончится.

— Договорились, —  сказал Матье, — до свиданья, Сара.

— До свиданья, моя маленькая Ивиш! — крикнула Сара уже в дверях.

— До свиданья, мадам, — ответила Ивиш.

Когда Сара ушла, Матье принялся ходить по комнате. Его знобило.

— Эта женщина — настоящий ураган, — смеясь, проговорил он. — Она врывается как вихрь, все сокрушает и тут же исчезает.

Ивиш промолчала. Матье знал, что она не ответит. Он сел рядом с ней и, глядя в сторону, сказал:

— Ивиш, я женюсь на Марсель. Снова молчание. Матье посмотрел на тяжелые зеленью шторы. Он почувствовал, что смертельно устал. Опустив голову, он пояснил:

— Позавчера она мне сообщила, что беременна.

Слова давались ему с трудом: он не смел повернуться к Ивиш, но знал, что она на него смотрит.

— Интересно, зачем вы мне это говорите? — ледяным голосом спросила Ивиш. — Это ваши дела.

Матье пожал плечами.

— Вы же знали, что она...

— ...ваша любовница? — высокомерно спросила Ивиш. — Признаться, я не очень интересуюсь подобными историями.

Она поколебалась, потом рассеянно проговорила:

— Не понимаю, почему у вас такой удрученный вид. Если вы на ней женитесь, значит, вы, безусловно, этого хотите. В противном случае, судя по вашему разговору, есть и другой выход...

— У меня нет денег, — сказал Матье. — Я искал повсюду...

— Так вы для этого попросили Бориса одолжить у Лолы пять тысяч франков?

— А, вы все знаете? Я не... да, если угодно, для этого.

— Какая мерзость!

— Не спорю.

— Впрочем, меня это не касается, — сказала Ивиш. — Вы сами отвечаете за свои поступки. Она допила чай и спросила:

— Который час?

— Без четверти девять.

— Уже темно?

Матье подошел к окну и раздвинул шторы. Серенький день еще сочился сквозь жалюзи.

— Не совсем.

— Ну и ладно, — вставая, сказала Ивиш, — я все‑таки пойду. Мне еще чемоданы собирать, — простонала она.

— Что ж, до свиданья, — сказал Матье.

Ему не хотелось удерживать ее.

— До свиданья.

— Так я вас увижу в октябре? Это вырвалось у него помимо воли. Ивиш так и подскочила.

— В октябре! — сверкая глазами, бросила она. — В октябре! Нет уж!

Она засмеялась.

— Извините, — продолжала она, — но у вас такой нелепый вид. Я и не помышляла брать у вас деньги: у вас их и так не слишком много, чтобы обустроить свою семейную жизнь.

— Ивиш! — сказал Матье, беря ее за руку.

Ивиш вскрикнула и резко высвободилась.

— Оставьте меня! Не прикасайтесь ко мне!

Матье уронил руки. Он почувствовал, как в нем вздымается ярость.

— Я так и думала, — задыхаясь, продолжала она. — Вчера утром... когда вы посмели прикоснуться ко мне... я себе сказала: «Это повадки женатого человека».

— Хорошо, — жестко оборвал ее Матье. — Не стоит продолжать. Я все понял.

Она была еще здесь, стояла перед ним, красная от бешенства, с наглой улыбкой на губах: он испугался себя самого. Оттолкнув ее, он бросился вон из квартиры и захлопнул входную дверь.

XVI

Ты не умеешь любить и от любви обмирать,

Мне остается в тоске руки к тебе простирать. Кафе «Три мушкетера» сверкало всеми огнями в дымчато‑смутном вечере. Праздная толпа скопилась у террасы: скоро светящееся кружево ночи от кафе к кафе, от витрины к витрине протянется вдоль Парижа; люди ждали ночь, слушая музыку, у них был счастливый вид, они зябко жались друг к другу под первым красноватым отблеском заката. Матье обогнул эту лирическую толпу: сладость вечера была не для него.

Ты не умеешь любить и обмирать от любви,

Никогда не будет этого у тебя в крови. Длинная прямая улица. За его спиной, в зеленой комнате, маленькое злобное создание изо всех сил понуждало его бежать. Перед ним, в розовой комнате, неподвижная женщина ждала его, расцветая от надежды. Через час он, крадучись, зайдет в розовую комнату и будет проглочен этой сладкой надеждой, этой благодарностью, этой любовью. На всю жизнь, на всю жизнь. В воду бросаются даже из‑за страстей помельче.

«Идиот! Подонок!»

Матье рванулся вперед — он едва не попал под автомобиль, — но, споткнувшись о тротуар, рухнул на землю: он упал на руки.

«Черт бы меня побрал!»

Он встал, ладони саднили. Он внимательно осмотрел грязные руки: правая была черной, с несколькими ссадинами, левая сильно болела; грязь запачкала повязку. «Этого только не хватало, — серьезно подумал он. — Этого только не хватало». Он вынул платок, смочил его слюной и с некоей нежностью потер ладони; ему хотелось плакать. Секунду он стоял в нерешительности и с удивлением, как бы другими глазами посмотрел на себя. А потом расхохотался. Он смеялся над собой, над Марсель, над Ивиш, над своей нелепой неуклюжестью, над своей жизнью, над своими жалкими страстями; он вспоминал былые надежды и смеялся над ними, потому что они так завершились — преисполненный серьезности человек, готовый расплакаться оттого, что растянулся на улице; Матье смотрел на себя без стыда, с холодным и веселым ожесточением, он думал: «И я мог воспринимать себя всерьез?» После нескольких приступов смех утих: над кем смеяться, когда этого человека уже как бы не существовало?

Пустота. Тело, волоча ноги, двинулось вперед, тяжелое и горячее, с содроганиями, спазмами бешенства в горле и желудке. Но оно уже опустело. Улицы вытекли, как через отверстие раковины; то, что их только что заполняло, куда‑то сгинуло. Предметы остались нетронутыми, но их сочетание распалось, теперь они свисали с неба гигантскими сталактитами или вырастали из‑под земли причудливыми мегалитами. Все их обычные, еле слышные мольбы, их тоненький стрекот чешуйчатокрылых — все рассеялось в воздухе, они безмолвствовали. Еще недавно в них можно было угадать будущее человека, который бросался на них, а они его отшвыривали в туманность различных искусов. Но будущее скончалось.

Тело повернуло направо, нырнуло в танцующий и светящийся газ, в глубь расселины между стеклянными глыбами с мерцающими полосками. Темные массы, поскрипывая, влачились одна за другой. На уровне глаз раскачивались мохнатые цветы. Между цветами, в глубине этой расщелины, скользила некая прозрачность и с ледяной страстью созерцала себя самое.

«Я пойду и возьму их!» Мир разом видоизменился, шумный и озабоченный, с автомобилями, людьми, витринами; Матье очнулся посреди улицы де Депар. Но это был уже совсем не тот мир и совсем не тот Матье. В конце мира, по ту сторону зданий и улиц, была запертая дверь. Он порылся в бумажнике и извлек ключ. Запертая дверь там и плоский ключ здесь: единственные реальные предметы; между ними только нагромождение препятствий и расстояний. «Через час. Еще есть время пройтись пешком». Один час: как раз столько потребуется, чтобы дойти до той двери и открыть ее; за этим часом не было ничего. Матье шел размеренным шагом, в ладу с самим собой, он чувствовал себя злым и хладнокровным. «А если Лола осталась в постели?» Он положил ключ в карман и подумал: «Что ж, пусть так: я все равно возьму деньги».

Лампа светила тускло. Около оконца между фотографиями Марлен Дитрих и Роберта Тейлора висел календарь‑реклама с маленьким зеркалом в ржавых пятнах. Даниель подошел к нему, немного нагнулся и начал завязывать галстук; он спешил полностью одеться. В зеркале у себя за спиной он увидел почти стертый грязью зеркала и полутьмой худой и суровый профиль Ральфа, и руки его задрожали: Даниеля охватило желание стиснуть эту худую шею с выступающим кадыком и заставить ее хрустнуть под его пальцами. Ральф повернул голову к зеркалу, он не знал, что Даниель видит его, и устремил на него странный взгляд. «У него рожа убийцы», — вздрогнув, подумал Даниель, но в конечном счете это была дрожь удовольствия. «Маленький самец унижен, он меня ненавидит». Он помедлил, завязывая галстук. Ральф все еще смотрел на него, и Даниель наслаждался этой ненавистью, которая их объединяла, воспаленная ненависть, которой, казалось, уже лет двадцать, почти привычка; и это его очищало. «Однажды вот такой тип укокошит меня, подкравшись сзади». Молодое лицо увеличится в зеркале, а потом все будет кончено, наступит постыдная смерть, которая ему и подобает. Он резко повернулся, и Ральф быстро опустил глаза. Комната была накалена, как жаровня.

— У тебя нет полотенца?

У Даниеля были влажные руки.

— Посмотрите в кувшине.

В кувшине Даниель обнаружил грязное полотенце. Он тщательно вытер руки.

— Не похоже, что в этом кувшине когда‑нибудь была вода. Вы оба, кажется, не слишком часто умываетесь.

— Мы умываемся под краном в коридоре, — мрачно пояснил Ральф.

Наступило молчание, потом Ральф добавил:

— Так удобнее.

Присев на край складной кровати, он надевал туфли, при этом он втянул грудную клетку и приподнял правое колено. Даниель смотрел на эту худую спину, молодые мускулистые руки, которые выглядывали из коротких рукавов рубашки: в Ральфе есть некая прелесть, объективно констатировал он. Но эта прелесть была ему противна. Еще минута, и он будет на улице, все останется в прошлом. Но Даниель знал, что его ожидало на улице. Надевая пиджак, он чуть помешкал: плечи и грудь были залиты потом, он с опасением подумал, что под тяжестью пиджака льняная рубашка приклеится к влажной коже.

— У тебя дьявольски жарко, — сказал он Ральфу.

— Ну да, квартира‑то под крышей.

— Который час?

— Только что пробило девять.

До наступления дня нужно как‑то скоротать десять часов. Спать он не ляжет. Когда после этого ложишься спать, становится гораздо тяжелее. Ральф поднял голову.

— Я хотел спросить, месье Лолик... это вы посоветовали Бобби вернуться к тому аптекаришке?

— Посоветовал? Нет. Я ему сказал, что он поступил как идиот, уйдя из аптеки.

— Тогда ладно. Это не одно и то же. Сегодня утром он сказал мне, что пойдет просить прощения и что этого хотите вы; по роже было видно — врет.

— Ничего я не хочу, — сказал Даниель, — и я ему вовсе не советовал просить у кого‑то прощения.

Оба презрительно усмехнулись. Даниель хотел надеть пиджак, но ему не хватило решимости.

— Я ему сказал: делай, как знаешь, — проговорил, наклоняясь, Ральф. — Это меня не касается. Раз тебе советует месье Лолик... Но теперь понятно, что да как.

Он раздраженно завозился, завязывая шнурок левой туфли.

— Я ему ничего не скажу, — проговорил он, — он такой, он не может без вранья. Но есть один тип, которого я ей‑же‑ей подловлю в каком‑нибудь закоулке.

— Аптекарь?

— Да. Но не старый. Молодой.

— Ученик?

— Да. Он гомик. Это он растрепал аптекарше про Бобби и меня. Пусть Бобби не очень‑то гордится, что вернулся в эту аптеку. Но будьте спокойны, как‑нибудь вечером я подстерегу у выхода этого недоноска.

Ральф злобно улыбнулся, он наслаждался своим гневом.

— Я притащусь, руки в карманах, видок — оторви и брось: «Ты меня узнаешь? Тогда все в порядке. Скажи‑ка, что ты молол про меня? А? Что ты про меня молол?» «Я ничего не говорил! Я ничего не говорил!» «А, ты ничего не говорил?» И бац, удар под ложечку, я его валю на землю, прыгаю сверху и прижимаю его рожу к асфальту!

Даниель смотрел на него с насмешливым раздражением и думал: «Все они одинаковые». Все. Кроме Бобби, который был и остался бабой. После они любят клясться, что набьют кому‑нибудь морду. Ральф оживился, глаза его блестели, уши пылали: он испытывал необходимость в движениях быстрых и резких. Даниель не смог воспротивиться желанию унизить его еще больше.

— Скажи, а вдруг он тебя отлупит?

— Он? — злобно усмехнулся Ральф. — Пусть только попробует! Спросите у парня из «Ориенталя» — этот уже понял, кто кого отлупит. Малый лет тридцати вот с такими ручищами. Он болтал, что хочет выставить меня.

Даниель надменно улыбнулся.

— И ты, конечно, сделал из него котлету?

— Ого! Спросите сами, — оскорбился Ральф. — На нас смотрело человек десять. «Выйдем», — сказал я ему. Там был Бобби и еще один, длинный, которого я с вами видел, Корбен, он с бойни. Так вот, тот тип выходит. Ты что, говорит, хочешь проучить меня, отца семейства? И тут я ему врезал! Для начала в глаз, а потом локтем. Вот так! Прямо по сопатке! — Ральф вскочил, изображая эпизоды драки. Он вертелся, мелькали его маленькие крепкие ягодицы, обтянутые голубыми брюками. Даниель почувствовал, как его охватывает ярость, ему захотелось ударить Ральфа. — Потом я его припечатал, — продолжал Ральф. — Захват за ноги, и он на земле! Он и охнуть не успел, этот отец семейства.

Ральф замолчал, угрожающий и полный спеси, под защитой своей доблести. Он застыл, точно какое‑то насекомое. «Я убью его», — подумал Даниель. Он не очень верил в эти россказни, и все‑таки его унижало, что Ральф повалил на землю тридцатилетнего мужика. Он засмеялся.

— Корчишь из себя богатыря, — с трудом проговорил Даниель, — но в конце концов нарвешься на неприятности.

Ральф тоже засмеялся, и они приблизились друг к другу.

— Богатыря я из себя не корчу, но здоровяков не боюсь.

— Стало быть, ты никого не боишься? — сказал Даниель. — Совсем совсем никого?

Ральф был весь красный.

— Не всегда здоровяки самые сильные!

— А ты? Ну‑ка, покажи, какой ты сильный, — подзадоривал Даниель, слегка толкая его.

Ральф на секунду застыл, открыв рот, затем глаза его сверкнули.

— С вами я схлестнуться согласен. Понарошку, конечно, — сказал он свистящим голосом. — Если по‑честному, вам меня не одолеть.

Даниель схватил его за пояс.

— Сейчас посмотрим, мой маленький.

Ральф был гибкий и выносливый: молодые мышцы так и ходили под пальцами Даниеля. Они боролись молча, и Даниель начал тяжело дышать, ему смутно казалось, будто он толстый и усатый. Ральфу удалось его приподнять, но Даниель толкнул его двумя руками в лицо, и Ральф его отпустил. Они снова стояли друг против друга, улыбающиеся и полные ненависти.

— А, так вы по‑настоящему хотите? — странным голосом сказал Ральф. — По‑настоящему хотите бороться?

Внезапно он, наклонив голову, бросился на Даниеля. Тот ушел от удара и ухватил Ральфа за затылок. Он уже задыхался, а у Ральфа был совсем бодрый вид. Они снова схватились и закружились посреди комнаты. Во рту у Даниеля был острый и горький привкус: «Нужно с этим кончать, не то он меня одолеет». Он изо всех сил толкнул Ральфа, но тот устоял. Бешеная ярость охватила Даниеля, он подумал: «Я смешон». Он быстро нагнулся, ухватил Ральфа за ягодицы, приподнял его, швырнул на кровать и в том же броске упал на него. Ральф отбивался, пытаясь царапаться, но Даниель схватил его за запястья и прижал их к подушке. Они довольно долго оставались в таком положении; Даниель слишком устал и не мог встать. Ральф был пригвожден к кровати, беспомощный и раздавленный весом мужчины, солидного и зрелого. Даниель с наслаждением смотрел на парня: глаза Ральфа сверкали от ненависти, он был прекрасен.

— Ну, кто кого одолел? — отдышливо спросил Даниель. — Кто кого одолел, дружочек?

Ральф сразу же улыбнулся и через силу выдавил:

— Да вы силач, месье Лолик.

Даниель отпустил парнишку и встал на ноги. Он задыхался и был унижен. Сердце его яростно колотилось.

— Когда‑то я был силачом. А теперь дыхания не хватает.

Ральф поднялся и поправил воротничок рубашки; он дышал ровно и попытался засмеяться, но избегал взгляда Даниеля.

— Дыхание — это пустяки, — сказал он. — Просто нужно потренироваться.

— Ты хорошо дерешься, — сказал Даниель, — но у нас разница в весе,

Оба смущенно хихикнули. Даниелю хотелось схватить Ральфа за горло и дать ему мощную оплеуху. Он надел пиджак; промокшая от пота рубашка прилипла к коже.

— Ну все, — сказал он, — я ухожу. Будь здоров.

— До свиданья, месье Лолик.

— Я кое‑что для тебя припрятал, — сказал Даниель — Поищи хорошенько и найдешь.

Дверь закрылась. Даниель спустился по лестнице на ватных ногах. «Сначала вымыться, — подумал он, — прежде всего вымыться с головы до ног». Когда он выходил на улицу, в голову ему вдруг пришла мысль, от которой он застыл на месте: утром, перед тем как выйти, он побрился и оставил бритву на камине широко открытой.

Открывая дверь, Матье нажал на легкий, приглушенный звонок. «Утром я его не заметил, — подумал он, — наверно, его включают вечером, после девяти». Он искоса бросил взгляд сквозь стекло конторки и увидел тень: там кто‑то был. Он не торопясь дошел до щита с ключами. Комната 21. Ключ висел на гвозде. Матье быстро взял его и положил в карман, затем сделал полуоборот и вернулся к лестнице. За его спиной открылась дверь. «Сейчас меня окликнут», — подумал он. Ему не было страшно: все было предусмотрено.

— Эй там! Куда идете? — раздался грубоватый голос. Матье обернулся и увидел худую высокую женщину в пенсне. Вид у нее был значительный и встревоженный. Матье улыбнулся ей.

— Куда идете? — повторила она. — Могли бы сначала спросить.

Боливар. Негра звали Боливар.

— Я иду на четвертый этаж, к месье Боливару, — спокойно ответил Матье.

— Ладно! Просто я видела, как вы возились у щита, — настороженно сказала женщина.

— Я смотрел, там ли его ключ.

— И что?

— Его нет. Значит, Боливар у себя, — сказал Матье. Женщина подошла к щиту. Один шанс из двух.

— Да, — сказала она с разочарованным облегчением. — Он у себя.

Матье, не ответив, стал подниматься по лестнице. На площадке четвертого этажа он на минуту остановился, потом вставил ключ в скважину номера 21 и открыл дверь.

Комната утопала в ночи. Красная ночь, пропахшая лихорадкой и духами. Матье закрыл дверь на ключ и подошел к кровати. Сначала он вытянул руки вперед, чтобы защитить себя от препятствий, но быстро привык к полумраку. Кровать была не убрана, на валике было две подушки, на них еще сохранились вмятины от тяжести двух голов. Матье стал на колени перед сундучком и открыл его; он почувствовал легкую тошноту. Ассигнации, которые он утром бросил, лежали на связке писем: Матье взял пять банкнот, он ничего не хотел красть для себя. «Что делать с ключом?» Он немного подумал и решил оставить его в замке сундучка. Вставая, он увидел справа в глубине комнаты дверь, которую утром не заметил. Он подошел к ней и открыл: это был туалет. Матье чиркнул спичкой и увидел в зеркале свое лицо, позолоченное пламенем. Он смотрел на себя, пока пламя не погасло, затем бросил спичку и вернулся в комнату. Теперь он четко различал мебель, одежду Лолы, ее пижаму, ее халат, ее костюм, аккуратно разложенные на стульях и висящие на плечиках; он зло засмеялся и вышел.

Коридор был пуст, но откуда‑то доносились шаги и смех. По лестнице кто‑то поднимался. Матье хотел было вернуться в комнату; но нет, ему было абсолютно безразлично, если его схватят. Он вставил ключ в скважину и запер дверь на два оборота. Когда он выпрямился, он увидел женщину, за которой шел солдат.

— Нам на пятый, — сказала женщина. Солдат сказал:

— Высоковато.

Матъе пропустил их, потом сошел вниз. Он весело подумал, что самое трудное еще впереди: нужно снова повесить ключ на щит.

На втором этаже он остановился и перегнулся через перила. Консьержка стояла на пороге входной двери к нему спиной и смотрела на улицу. Матье бесшумно спустился по ступенькам и повесил ключ на гвоздь, затем крадучись поднялся до площадки, подождал немного и шумно спустился по лестнице. Консьержка обернулась, и Матье, проходя мимо, попрощался с ней:

— До свиданья, мадам.

— До свиданья, — буркнула та. Матье вышел, он чувствовал ее взгляд, упиравшийся ему в спину, ему хотелось смеяться.

У м е р  г а д — у м е р  я д.

Он идет широкими шагами на ватных ногах. Он трепещет, во рту у него пересохло. Улицы слишком лазурные, погода слишком прекрасная. П л а м я   б е ж и т   в д о л ь   ф и т и л я,   в к о н ц е   е г о   п о р о х о в а я   б о ч к а. Он поднимается по лестнице, шагая через ступеньку, ему трудно вставить ключ в замочную скважину, рука его дрожит. Две кошки улепетывают между ног: теперь он внушает им ужас. У м е р   г а д.

Бритва здесь, на ночном столике, широко раскрытая. Он берет ее за рукоятку и разглядывает. Рукоятка черная, лезвие белое. П л а м я   б е ж и т   в д о л ь   ф и т и л я. Он проводит пальцем по лезвию бритвы, чувствует на конце пальца кисловатый вкус пореза, он вздрагивает: его правая рука должна все сделать сама. Бритва тут не помощник, сама по себе она нейтральна, у нее вес сидящего на руке насекомого. Даниель делает несколько шагов по комнате, ему нужна помощь, какой‑то знак. Но все неподвижно и молчаливо. Неподвижен стол, неподвижны стулья, они плавают в неподвижном свете. Он стоит один, и только он живой в этом ослепительно‑лазурном свете. Ничто мне не поможет, ничто не произойдет. В кухне скребутся кошки. Он нажимает рукой на стол, стол отвечает на его нажатие ответным, таким же — ни больше, ни меньше. Вещи раболепны. Послушны, покладисты. Моя рука сделает все. От раздражения и тревоги он время от времени зевает. Больше от раздражения, чем от тревоги. Он один в обрамлении предметов. Ничто не толкает его к действию, но ничто и не мешает: нужно решаться самому. Его поступок — это пока нечто отсутствующее. Кровавого цветка у него между ног еще нет; красной лужицы на паркете тоже еще нет. Он смотрит на пол. Паркет одноцветный, гладкий, для пятна нет места. Я   б у д у   л е ж а т ь   н а   п о л у,   н е п о д в и ж н ы й, с   р а с с т е г н у т ы м   и   л и п к и м и   б р ю к а м и ;   б р и т в а   б у д е т   н а п о л у,   к р а с н а я,   з а з у б р е н н а я,   н е п о д в и ж н а я. Он зачарованно смотрит на бритву, на паркет: если бы он только мог достаточно хорошо представить себе эту красную лужу и этот ожог, так, чтобы они реализовались сами собой, чтобы не нужно было делать это движение. Боль я выдержу. Я ее хочу, я ее призываю. Но это движение, это движение... Он смотрит на пол, затем на лезвие. Напрасно: воздух мягкий, комната мягко затемнена, бритва мягко блестит и мягко давит на руку. Движение, нужно лишь одно движение — и настоящее погибнет с первой же каплей крови. Моя рука, моя рука должна это сделать.

Он идет к окну, смотрит на небо. Задергивает шторы. Левой рукой. Зажигает свет. Левой. Берет бумажник. Вынимает пять тысяч франков. На письменном столе берет конверт, кладет туда деньги. Пишет на конверте: «Для месье Деларю, улица Югенс, 12». Кладет его на виду на стол. Встает, идет, уносит гада, прижатого к его животу, гад сосет его, он его остро ощущает. Да или нет. Он в ловушке. Нужно решаться. Для этого впереди вся ночь. Он один, наедине с собой. И так будет всю ночь. Его правая рука снова берет бритву. Он боится своей руки, он за ней следит. Она одеревенела. Он говорит: «Ну же!» И легкая щекочущая дрожь пробегает по его телу от поясницы до затылка. «Ну же, пора с этим кончать!» Если б можно было вдруг оказаться искалеченным, как оказываешься утром на ногах после звонка будильника, не зная, как и когда встал. Но нужно сначала сделать это непристойное движение, это движение у писсуара, расстегивать брюки долго и терпеливо. Неподвижность бритвы передается его ладони, его руке. Живое, теплое тело с каменной рукой. Огромная рука статуи, недвижная, ледяная, с бритвой на конце. Он разжимает пальцы. Бритва падает на стол.

Бритва здесь, на столе, широко раскрытая. Ничто не изменилось. Он может протянуть руку и снова взять ее. Безвольная бритва подчинится. Еще есть время; времени еще много, в запасе целая ночь. Он ходит по комнате. Он больше себя не ненавидит, он больше ничего не хочет, он плавает. Гад здесь, у него между ног, прямой и упругий. Мерзость! Если это так тебе противно, мой милый, то бритва здесь, на столе. У м е р   г а д... Бритва. Бритва. Он кружит вокруг стола, не отрывая от нее глаз. Значит, тебе ничто не мешает ее взять? Ничто. Все неподвижно и спокойно. Он протягивает руку, щупает лезвие. М о я   р у к а   с д е л а е т   в с е   с а м а. Он отпрыгивает назад, распахивает дверь и вылетает на лестницу. Одна из его кошек, обезумев от испуга, скатывается по лестнице впереди него.

Даниель бежал по улице. Наверху осталась распахнутая дверь, зажженная лампа, бритва на столе; кошки бродят по темной лестнице. Ничто не мешает ему вернуться. Комната покорно ждет его Ничто не решено, ничто никогда не будет решено. Нужно бежать, бежать как можно дальше, погрузиться в шум, в свет, в толпу, снова стать человеком среди других, чтобы на тебя смотрели другие. Он добежал до «Ру Улаф», задыхаясь, толкнул дверь.

— Виски! — тяжело выдохнул он.

Глухие удары сердца отдавались в кончиках пальцев, во рту был привкус чернил. Он сел за огороженный столик в глубине.

— У вас усталый вид, — уважительно сказал официант.

Это был высокий норвежец, который говорил по‑французски без акцента. Он доброжелательно смотрел на Даниеля, и Даниель почувствовал себя богатым клиентом с причудами, который оставляет хорошие чаевые. Он улыбнулся.

— Я неважно себя чувствую, — объяснил он, — у меня небольшая температура.

Официант покачал головой и удалился. Даниель снова погрузился в свое одиночество. Там, наверху, ждала его комната, совсем готовая, дверь широко распахнута, на столе блестит бритва. «Никогда я не смогу вернуться домой». Он будет пить столько, сколько нужно. А в четыре часа официант с помощью бармена отнесет его в такси. Как всегда.

Официант вернулся с наполовину налитым стаканом и бутылкой воды «Перрье».

— Именно то, что вы любите, месье, — сказал он.

— Благодарю.

В этом тихом баре Даниель был один. Золотистый свет пенился вокруг него; золотистая облицовка перегородок мягко блестела; они покрыты толстым слоем лака, на ощупь он липкий. Даниель налил в бокал воду «Перрье», и виски какой‑то миг искрилось, беспокойные пузырьки поднимались на поверхность, они торопились, как кумушки, потом этот маленький переполох успокоился. Даниель смотрел на желтую жидкость с плавающей полоской пены: похоже на выдохшееся пиво. Невидимые, где‑то переговаривались по‑норвежски официант и бармен.

— Официант, еще!

Он смахнул рукой бокал, и тот разбился на плиточном полу. Бармен и официант сразу замолкли; Даниель нагнулся и заглянул под стол: жидкость медленно ползла по плиткам, продвигая ложноножки к ножке стула.

Подбежал официант.

— Как я неловок! — улыбаясь, простонал Даниель.

— Заменить? — спросил официант.

Он наклонился, чтобы вытереть жидкость и собрать осколки; ягодицы его напряжены.

— Да... нет, — быстро сказал Даниель. — Это профилактика, — шутливо добавил он. — Сегодня вечером мне не следует пить спиртное. Дайте полбутылки «Перрье» с ломтиком лимона.

Официант удалился. Даниель почувствовал себя спокойнее. Непроницаемое настоящее преобразовывалось вокруг него. Запах имбиря, золотистый свет, деревянные перегородки...

— Благодарю.

Официант открыл бутылку и наполнил бокал. Даниель выпил и поставил бокал на стол. «Я знал! Я знал, что не сделаю этого!» Когда он крупным шагом шел по улице, когда через ступеньку бежал по лестнице, он уже знал, что не доведет все до конца; он это знал, когда брал бритву, он ни на секунду не обманывался, какой ничтожный комедиант! Только под конец ему удалось нагнать на себя страху, и тогда он сбежал. Даниель взял бокал и стиснул его в руке: изо всех сил он хотел почувствовать к себе отвращение, и сейчас для этого был прекрасный повод. «Подлец! Трус и комедиант: подлец!» На мгновение ему показалось, что вот‑вот это ему удастся, но нет, это были только слова. Нужно было... А, неважно кто, неважно, какой судья, он согласился бы на любого, только н е   н а   с е б я   с а м о г о, не на это жестокое презрение к себе, никогда не имевшее достаточно силы, не на это слабое затухающее презрение, ежеминутно почти исчезающее, но не проходящее до конца. Если бы знал кто‑то еще, если бы он мог почувствовать, как на него давит тяжелое презрение другого... «Но я никогда не смогу, лучше я оскоплю себя». Он посмотрел на часы, одиннадцать, нужно убить еще восемь часов, и тогда наступит утро. Время остановилось.

Одиннадцать! Он вздрогнул: «Матье сейчас у Марсель. Она с ним говорит. Она с ним говорит именно сейчас, она обнимает его за шею, она считает, что он недостаточно быстро объясняется... Это тоже сделал я». Даниель задрожал всем телом: «Матье уступит, он непременно уступит, все‑таки я испортил ему жизнь».

Он отставил в сторону бокал и застыл с остановившимся взглядом, он не мог ни презирать себя, ни забыть. Он хотел умереть, и все‑таки он существует, упорно заставляет себя существовать. Но он хотел бы умереть, он думает, что хотел бы умереть, он думает, что думает, что хотел бы умереть... Впрочем, е с т ь  о д н о  с р е д с т в о. Он сказал это вслух, и к нему подбежал официант.

— Вы меня звали?

— Да, — рассеянно сказал Даниель. — Это вам.

Он бросил на стол сто франков. Есть одно средство. Есть средство все уладить! Он выпрямился и быстрыми шагами пошел к выходу. «Дивное средство!» Он ухмыльнулся: он всегда веселился, когда была возможность под строить себе гнусную каверзу.

XVII

Матье тихо закрыл дверь, слегка приподнимая ее на петлях, чтоб не скрипнула, затем поставил ногу на первую ступеньку лестницы, нагнулся и развязал шнурок. Грудь его касалась колена. Он снял туфли, взял их в левую руку, выпрямился и положил правую на перила, подняв глаза на бледно‑розовый туман, повисший в сумраке. Матье больше себя не осуждал. Он медленно поднимался в темноте, стараясь, чтобы ступеньки не скрипели.

Дверь комнаты была полуоткрыта; он толкнул ее. Внутри стоял удушливый запах. Казалось, весь зной дня выпал в осадок в этой комнате. Сидевшая на кровати женщина, улыбаясь, смотрела на него — это Марсель. Она надела красивый белый халат с позолоченным поясом и тщательно нарумянилась, у нее был бодрый и торжественный вид. Матье закрыл дверь и застыл на месте, опустив руки, горло его стиснула невыносимая сладость существования. Он здесь, здесь он расцветал, рядом с этой улыбающейся женщиной, полностью погруженный в этот запах болезни, конфет и любви. Марсель откинула голову и лукаво смотрела на него сквозь полузакрытые веки. Он ответил на ее улыбку и направился ставить туфли в стенной шкаф. Голос, полный нежности, выдохнул ему в спину:

— Мой дорогой...

Он резко обернулся и прислонился к шкафу.

— Привет, — тихо отозвался он.

Марсель подняла руку к виску и пошевелила пальцами.

— Привет, привет!

Она встала, обняла его за шею и поцеловала, проникнув языком в его рот. Она наложила на веки голубые тени, в волосах был цветок.

— Тебе жарко, — сказала она, лаская его затылок.

Она смотрела на него снизу вверх, откинув немного голову и просовывая кончик языка между зубов, взволнованная и счастливая, она была красива. Матье со сжавшимся сердцем вспомнил о безобразной худосочности Ивиш.

— Ты нынче весела, — сказал он. — Однако вчера по телефону мне показалось, что у тебя скверное настроение.

— Нет, просто я вела себя глупо. Но сегодня все прекрасно.

— Ты хорошо провела ночь?

— Спала как сурок.

Она снова его поцеловала, и он почувствовал на своих губах бархат ее губ, а потом их гладкую, горячую и быструю нагую изнанку, ее язык. Он мягко высвободился. Под халатом Марсель была голой, он видел ее красивую грудь и ощутил во рту сладковатый привкус. Она взяла его за руку и увлекла к кровати.

— Сядь рядом со мной.

Он сел. Марсель все еще держала его руку в своих, неловко и лихорадочно сжимала ее, и Матье казалось, что тепло этих рук поднимается вплоть до подмышек.

— Как у тебя жарко, — сказал он.

Марсель не ответила, она пожирала его глазами, приоткрыв рот, с видом смиренным и доверчивым. Матье исподволь пронес левую руку мимо живота и запустил ее в карман брюк, чтобы взять сигареты. Марсель перехватила взглядом его руку и негромко вскрикнула:

— Что у тебя с рукой?

— Порезался.

Марсель выпустила его правую руку и на лету схватила левую; она перевернула ее, как блин, и стала внимательно рассматривать ладонь.

— Но повязка ужасно грязная, может быть заражение! Там все черное; откуда такая грязь?

— Я упал.

Она снисходительно засмеялась.

— И порезался, и упал. Как вам нравится этот недотепа! Что же ты натворил? Постой‑ка, я сменю повязку, эта не годится.

Она разбинтовала руку Матье и покачала головой.

— Ой, какая скверная рана, как это тебя угораздило? Ты был пьян?

— Вовсе нет. Это было вчера вечером в «Суматре».

— В «Суматре»?

Широкие бледные щеки, золотые кудри, завтра, завтра я подниму для вас волосы.

— Это затея Бориса, — ответил Матье. — Он купил нож и стал меня подначивать, что я не посмею всадить его себе в руку.

— А ты, естественно, тут же и всадил. Но ты абсолютно ненормальный, бедняга, эти детишки в конце концов превратят тебя в осла. Посмотрите‑ка на эту бедную израненную лапу.

Ладонь Матье неподвижно лежала в ее горячих руках; рана была отвратительна, с почерневшей сочащейся коркой. Марсель медленно поднесла руку Матье к лицу, пристально посмотрела на нее, потом вдруг нагнулась и смиренно припала губами к ране. «Что с ней?» — подумал он. Он привлек Марсель к себе и поцеловал ее в ухо.

— Тебе хорошо со мной? — спросила Марсель.

— Конечно.

— По твоему виду этого не скажешь.

Матье, не ответив, улыбнулся ей. Марсель встала и пошла к шкафу за аптечкой. Она повернулась к нему спиной, стала на цыпочки и подняла руки, чтобы дотянуться до верхней полки; рукава скользнули вниз. Матье смотрел на обнаженные руки, которые он так часто ласкал, и прежние желания шевельнулись в его сердце. Марсель вернулась с неуклюжей проворностью.

— Давай лапу.

Она напитала спиртом маленькую губку и стала промывать рану. Он чувствовал на своем бедре тепло так хорошо знакомого ему тела.

— Лизни!

Марсель протянула ему кусочек пластыря. Он вытянул язык и послушно лизнул розовую ткань. Марсель приложила пластырь к ране, взяла прежнюю повязку и с веселым отвращением подержала ее кончиками пальцев.

— Что мне делать с этой гадостью? Когда ты уйдешь, выброшу ее в мусорный бак. Она быстро перевязала ему руку белоснежным бинтом.

— Значит, Борис тебя подначил? И ты резанул себе руку? Большой, а хуже ребенка! А он сделал то же?

— Нет, конечно.

Марсель засмеялась.

— Он тебя обставил!

Она зажала во рту английскую булавку, двумя руками разрывая бинт. Сжимая губами булавку, она сказала:

— А Ивиш там тоже была?

— Когда я порезался?

— Да.

— Нет, она танцевала с Лолой. Марсель заколола повязку булавкой. На стальной головке осталось немного помады.

— Все! Готово. Вы славно повеселились?

— Так себе.

— В «Суматре» хорошо? Знаешь, чего я хочу? Чтобы ты когда‑нибудь меня туда сводил.

— Но это тебя утомит, — раздраженно возразил Матье.

— Ну, один‑то раз... Устроим себе настоящий праздник, мы так давно с тобой нигде не бывали вместе.

«Не бывали вместе!» Матье с раздражением повторил про себя это супружеское выражение: Марсель вечно выбирала не те слова.

— Ты не против? — спросила она.

— Послушай, — сказал он, — с любом случае это будет не раньше осени: до того времени тебе следует основательно отдохнуть, и, потом, скоро ресторан, как всегда раз в году, закроется. Лола отправляется на гастроли по Северной Африке.

— Что ж, пойдем осенью. Обещаешь?

— Обещаю.

Марсель смущенно кашлянула.

— Я вижу, ты на меня немного сердишься, — проговорила она.

— Я?

— Да... Я позавчера вела себя некрасиво.

— Да нет же. С чего ты взяла?

— Да. Не спорь. Но я нервничала.

— Еще бы. И все из‑за меня, бедняжка моя.

— Тебе не в чем себя упрекать, — доверчиво сказала она. — Ни прежде, ни теперь.

Матье не осмелился повернуться к ней, он очень хорошо представлял выражение ее лица, он не мог вынести этого необъяснимого и незаслуженного доверия. Наступило долгое молчание: она, конечно, ждала ласковых слов, слов прощения. Матье не выдержал:

— Посмотри.

Он вынул из кармана бумажник и бросил его на колени. Марсель вытянула шею и положила подбородок на плечо Матье.

— На что я должна посмотреть?

— На это.

Он извлек из бумажника ассигнации.

— Одна, две, три, четыре, пять, — пересчитал он, победно шелестя ими. Банкноты еще пахли Лолой. Матье помедлил, держа деньги на коленях, и, поскольку Марсель молчала, он повернулся к ней. Марсель подняла голову и, сощурившись, смотрела на деньги. Казалось, она ничего не понимала. Потом она медленно повторила:

— Пять тысяч франков..

Матье добродушно развел руками, намереваясь положить деньги на ночной столик.

— Да! — сказал он. — Пять тысяч франков. Нелегко было их раздобыть.

Марсель не ответила. Она покусывала нижнюю губу и недоуменно смотрела на деньги: она разом постарела. Но продолжала грустно и доверчиво глядеть на Матье. Затем заговорила:

— А я думала...

Матье быстро перебил ее.

— Теперь ты сможешь пойти к этому еврею. Кажется, он своего рода знаменитость. Сотни женщин в Вене прошли через его руки. И в основном великосветские женщины, богачки.

Глаза Марсель погасли.

— Тем лучше, — сказала она. — Тем лучше. Она взяла из аптечки английскую булавку и стала нервно сгибать ее и разгибать. Матье добавил:

— Я тебе их оставляю. Думаю, Сара отведет тебя к нему, и ты тут же расплатишься. Этот чертов еврей требует, чтобы ему платили сразу.

Наступило молчание, затем Марсель спросила:

— Где ты взял деньги?

— Угадай.

— У Даниеля?

Он пожал плечами: она прекрасно знала, что Даниель отказал.

— Жак?

— Нет. Я же тебе сказал вчера, по телефону.

— Тогда не знаю, — суховато сказала Марсель. — Кто же?

— Никто мне их не давал, — буркнул он. Марсель слабо улыбнулась.

— Что ж ты их украл, что ли?

— Вот именно.

— Ты их украл? — ошеломленно переспросила она. — Но... ты шутишь?

— Нет, не шучу. Я взял их у Лолы.

Наступило молчание. Матье вытер вспотевший лоб.

— Я тебе все расскажу, — пообещал он.

— Ты их украл! — медленно повторила Марсель.

Ее лицо посерело; она сказала, не глядя на него:

— Тебе так хотелось избавиться от этого ребенка...

— Нет, я просто не хотел, чтобы ты пошла к той бабке. Она думала; у рта ее снова обозначились суровые и презрительные складки. Он спросил:

— Ты меня осуждаешь за эту кражу?

— Плевать я на это хотела.

— Но тогда в чем дело?

Марсель сделала резкое движение, и аптечка упала на пол. Оба посмотрели на нее, Матье оттолкнул ее ногой. Марсель медленно повернула к нему удивленное лицо.

— В чем дело? — повторил Матье.

Она отрывисто засмеялась.

— Почему ты смеешься?

— Я смеюсь над собой, — сказала она.

Марсель вынула из волос цветок и стала вертеть его между пальцев. Она прошептала:

— Какой я была дурой...

Лицо ее ожесточилось. Она так и сидела с открытым ртом, как будто хотела что‑то сказать, но слова застряли в горле: казалось, она испугалась того, что собиралась сказать. Матье взял ее за руку, но Марсель высвободилась. Не глядя на него, она выговорила:

— Я знаю, что ты видел Даниеля.

Вот оно что! Она откинулась назад и сжала руками простыню; она выглядела испуганной и одновременно успокоенной. Матье тоже почувствовал некоторое облегчение: все карты раскрыты, теперь надо идти до конца. Для этого у них целая ночь.

— Да, я его видел. Откуда ты знаешь? Значит, это ты его подослала? Вы это подстроили вместе?!

— Не говори так громко, — остановила его Марсель, — маму разбудишь. Я его не подсылала, но я знала, что он хотел с тобой встретиться.

Матье печально проговорил:

— Как все это некрасиво!

— Да, некрасиво, — с горечью признала Марсель.

Они замолчали: Даниель был здесь, он сидел между ними.

— Что ж, — начал Матье, — нужно откровенно объясниться, нам ничего, кроме этого, не остается.

— Нечего объяснять, — сказала Марсель. — Ты видел Даниеля, он тебе сказал то, что намеревался сказать, а ты после встречи с ним пошел и украл у Лолы пять тысяч франков.

— Да. А ты уже несколько месяцев тайком принимаешь Даниеля. Видишь — есть что объяснять. Послушай, — быстро спросил он, — что случилось позавчера?

— Позавчера?

— Не делай вид, будто не понимаешь. Даниель мне сказал, что ты меня упрекаешь за мое позавчерашнее поведение.

— Ладно, оставь, — сказала она. — Не забивай себе голову.

— Прошу тебя. Марсель, не упрямься. Клянусь, я готов признать все свои ошибки. Но скажи, что случилось позавчера? Будет куда лучше, если мы снова станем друг другу доверять.

Она все еще колебалась, хмурая и немного размякшая.

— Прошу тебя, — повторил он, взяв ее за руку.

— Ну что ж... как всегда, тебе было плевать на то, что я думаю.

— А что ты думаешь?

— Зачем ты меня заставляешь говорить? Ты все хорошо знаешь и без меня.

— Верно, мне кажется, действительно знаю.

Он подумал: «Конечно, я на ней женюсь». Это было ясно как день. «Нужно быть просто негодяем, чтобы прикидывать, как бы с ней порвать». Она была с ним, она страдала, она несчастна и зла, и ему достаточно сделать только одно движение — и она успокоится. Он спросил:

— Ты хочешь, чтобы мы поженились?

Марсель вырвала у него руку и резко поднялась. Он недоуменно смотрел на нее: она мертвенно побледнела, губы ее дрожали.

— Ты... Так тебе сказал Даниель?

— Нет, — озадаченно ответил Матье. — Я сам сделал такой вывод.

— Сам сделал такой вывод! — смеясь, проговорила она. — Сам сделал такой вывод! Даниель тебе сказал, что я расстроена, и ты решил, будто я хочу заставить тебя жениться. Вот как ты обо мне думаешь... И это после семи лет!

Руки ее задрожали. Матье захотелось ее обнять, но он не посмел.

— Ты права, — сказал он, — я не должен был так думать.

Марсель, казалось, не слышала его. Он продолжал настаивать:

— Послушай, у меня были веские причины: Даниель сказал, что вы тайком от меня видитесь. Она молчала. Матье мягко продолжил:

— Ты хочешь ребенка?

— Ха! — усмехнулась Марсель. — Это тебя не касается. То, чего я хочу, тебя больше не касается!

— Прошу тебя, — сказал Матье, — еще есть время...

Она покачала головой.

— Неправда, времени больше нет.

— Но почему. Марсель? Почему ты не хочешь спокойно все обсудить? Нам хватит часа: все уладится, все прояснится...

— Не хочу.

— Но почему? Почему?

— Потому что теперь я не слишком тебя уважаю. К тому же ты меня больше не любишь.

Она говорила убежденно, но, казалось, удивилась и испугалась собственных слов; в ее глазах застыл лишь тревожный вопрос. Она грустно продолжила:

— Чтобы подумать обо мне то, что ты подумал, нужно совсем меня не любить...

Это был почти вопрос. Если бы он обнял ее, сказал, что любит, все еще могло быть спасено. Он женился бы на ней, у них был бы ребенок, они прожили бы бок о бок всю жизнь. Матье встал, он собирался сказать: «Я люблю тебя». Но помедлил и вдруг четко произнес:

— Что ж, это правда... Я больше тебя не люблю.

Слова уже были сказаны, но он все еще с ошеломлением слышал их. Он подумал: «Кончено, все кончено». Марсель отскочила, издав торжествующий крик, но тотчас же прикрыла рот рукой и сделала Матье знак молчать, озабоченно прошептав:

— Мама...

Оба прислушались, но до их слуха донесся лишь отдаленный гул машин. Матье сказал:

— Но я еще очень дорожу тобой...

Марсель надменно засмеялась.

— Естественно. Только ты дорожишь... несколько иначе, чем прежде. Не так ли?

Матье взял ее за руку.

— Послушай, я...

Марсель резко вырвала руку.

— Не надо. Я узнала то, что хотела. Она подняла потные пряди волос, упавшие на лоб. И вдруг улыбнулась, как от хорошего воспоминания.

— Скажи, — с внезапной злобной радостью продолжила она, — вчера по телефону ты говорил мне совсем другое. Ты мне сказал: «Я люблю тебя», хотя никто тебя об этом не просил.

Матье не ответил. Она проговорила уничтожающе:

— Как же ты меня презираешь...

— Я тебя не презираю, — возразил Матье. — Я...

— Уходи! — вспыхнула Марсель.

— Ты с ума сошла, — сказал Матье. — Я не хочу уходить, мне нужно тебе объяснить, я...

— Уходи, — повторила она глухо, с закрытыми глазами.

— Но я сохранил к тебе всю свою нежность, — отчаянно твердил он, — я не собираюсь тебя бросать. Я хочу остаться с тобой на всю жизнь, я женюсь на тебе, я...

— Уходи, — сказала она, — уходи, я не хочу тебя больше видеть, уходи, или я не отвечаю за себя, я начну выть.

Она задрожала всем телом. Матье шагнул к ней, она грубо его оттолкнула.

— Если не уйдешь, я позову мать.

Он открыл шкаф и взял туфли, он чувствовал себя смешным и гнусным. Она сказала ему в спину:

— Забери свои деньги. Матье обернулся.

— Нет, — возразил он. — Это само по себе. Дело в том...

Она взял деньги с ночного столика и швырнула их ему в лицо. Банкноты разлетелись по комнате и упали на коврик у кровати. Матье не поднял их; он смотрел на Марсель. Тут она начала прерывисто смеяться, закрыв глаза.

— Ха!.. Как смешно! А я‑то думала...

Он хотел подойти, но она открыла глаза и, отступив назад, показала ему на дверь. «Если я останусь, она заорет», — подумал Матье. Он повернулся и вышел из комнаты в носках, держа туфли. Спустившись по лестнице, он обулся, ненадолго остановился, взявшись за ручку двери, и прислушался. Внезапно до него донесся низкий и мрачный смех Марсель. Он вздымался, как ржание, и постепенно затухал. Раздался голос:

— Марсель! Что случилось? Марсель!

Это была ее мать. Смех резко пресекся, все погрузилось в тишину. Матье еще минуту прислушивался, потом тихо открыл дверь и вышел.

XVIII

Матье думал: «Я негодяй», и это его безмерно удивляло. В нем не осталось ничего, кроме усталости и оцепенения. Он остановился на площадке третьего этажа, чтобы отдышаться. Ноги были ватными; за трое суток он спал всего шесть часов, а может, даже и меньше. «Сейчас лягу спать». Он сбросит кое‑как одежду, доковыляет до кровати и рухнет на нее. Но он знал, что не уснет и будет всю ночь лежать, устремив взгляд в темноту. Он добрался до двери квартиры, она была открыта, Ивиш, должно быть, в панике бежала; в кабинете еще горела лампа.

Он вошел и увидел Ивиш — та, оцепенев, сидела на диване.

— Я не ушла, — сказала она.

— Вижу, — холодно откликнулся Матье.

Они с минуту помолчали; Матье слышал громкий и мерный шум своего собственного дыхания. Ивиш, отвернувшись, пробормотала:

— Я вела себя мерзко.

Матье не ответил. Он смотрел на волосы Ивиш и думал: «Неужели я все это сделал из‑за нее?» Она наклонила голову, и Матье с прилежной нежностью посмотрел на смуглый девичий затылок. Он хотел бы почувствовать, что дорожит ею больше всего на свете, чтобы его поступок имел хотя бы это оправдание. Но он не чувствовал ничего, кроме беспредметного гнева от совершенного поступка, голого, скользящего, непонятного: он украл деньги, он бросил беременную Марсель — ради чего?

Ивиш сделала над собой усилие и вежливо сказала:

— Я не должна была вмешиваться и навязывать свое мнение...

Матье пожал плечами.

— Я только что порвал с Марсель.

Ивиш подняла голову и бесцветным голосом произнесла:

— Вы оставили ее, не дав ей денег?

Матье улыбнулся. «Естественно, — подумал он. — Сделай я так, она бы теперь меня в этом упрекнула».

— Нет. Я все уладил.

— Вы нашли деньги?

— Да.

— Где же?

Он не ответил. Она с беспокойством посмотрела на него.

— Но вы не...

— Да. Я их украл, если вы это имеете в виду. У Лолы. Я проник к ней в номер, когда ее там не было.

Ивиш сощурилась, и Матье пояснил:

— Я их ей верну. Это вынужденный заем, вот и все. У Ивиш был глупый вид, она медленно, как только что Марсель, повторила:

— Вы обокрали Лолу.

Ее проникновенный вид разозлил Матье. Он быстро сказал:

— Да, знаете ли, это не шибко геройский поступок: нужно было всего лишь подняться по лестнице и открыть дверь.

— Зачем вы это сделали?

Матье коротко засмеялся.

— Кабы я знал!

Она резко выпрямилась, и лицо ее стало суровым и замкнутым, как в те минуты, когда она оборачивалась на улице, чтобы проследить глазами за красивой женщиной или молодым человеком. Но на сей раз она смотрела на Матье. Матье почувствовал, что краснеет. Из щепетильности он пояснил:

— Я не собирался ее бросать. Я просто хотел дать ей денег вместо того, чтоб жениться на ней.

— Понимаю, — кивнула Ивиш.

Но она продолжала недоуменно смотреть на него. Он настаивал, отвернувшись:

— Все вышло не очень‑то пристойно: она меня выгнала. Она все это плохо восприняла; не знаю, чего она ожидала.

Ивиш не ответила, и Матье умолк, охваченный тревогой. Он подумал: «Не хочу, чтоб она меня вознаградила».

— Вы красивы, — сказала Ивиш.

Матье с унынием почувствовал, как в нем возрождается пронзительная любовь. Ему показалось, что он бросает Марсель вторично. Он ничего не сказал, только сел рядом с Ивиш и взял ее за руку. Она сказала ему:

— У вас потрясающе одинокий вид.

Матье стало стыдно. Наконец он проговорил:

— Интересно, о чем вы думаете, Ивиш? Все это более чем прискорбно: я украл деньги в смятении, и сейчас меня мучает совесть.

— Я прекрасно вижу, что вас мучает совесть, — улыбнулась Ивиш. — Думаю, что и меня бы она мучила: в первый раз всегда так.

Матье сильно сжал маленькие неподатливые пальцы с острыми ноготками. Он сказал:

— Вы ошибаетесь, я не...

— Молчите, — остановила его Ивиш.

Она решительно высвободила руку и отбросила назад волосы, открывая щеки и уши. Ей хватило нескольких быстрых движений, и, когда она опустила руки, ее лицо было оголено.

— Вот так, — произнесла она.

Матье подумал: «Она хочет отнять у меня все, вплоть до угрызений совести». Он протянул руку, привлек к себе Ивиш, и она этому не противилась; он услышал в себе живой и веселый мотивчик, о котором, казалось, давно забыл. Голова Ивиш переместилась на его плече, Ивиш ему широко улыбалась. Он улыбнулся ей в ответ и легко поцеловал в губы, потом посмотрел на нее, и мотивчик резко оборвался: «Но она же еще ребенок», и он почувствовал себя совершенно одиноким.

— Ивиш, — тихо позвал он.

Она с удивлением посмотрела на него.

— Ивиш, я... я был неправ.

Она нахмурила брови и, протестуя, мелко затрясла головой. Матье опустил руки и устало сказал:

— Я не знаю, чего хочу от вас.

Ивиш вздрогнула и быстро высвободилась. Ее глаза сверкнули, но она притушила блеск и приняла грустный и нежный вид. Только руки ее безумно двигались: они летали вокруг нее, хватались за голову, тянули за волосы. У Матье пересохло в горле, но он наблюдал этот гнев почти безразлично. Он думал: «Тут я тоже все испортил»; он был почти доволен: получалось как бы искупление. Он продолжил, ища взгляд, который она упорно прятала.

— Не нужно было вас трогать.

— Да это не имеет значения, — процедила она, покраснев от бешенства.

Потом нараспев добавила:

— У вас такой гордый вид, оттого что вы приняли решение, я уж подумала, что вы пришли за вознаграждением.

Он нежно взял ее за руку немного выше локтя. Она не вырывалась.

— Но я люблю вас, Ивиш.

Ивиш напряглась.

— Я не хотела бы, чтоб вы подумали... — начала она.

— О чем?

Но он догадывался. Он отпустил ее руку.

— У меня... у меня нет к вам чувства, — сказала Ивиш.

Матье не ответил. Он подумал: «Она берет реванш, и это правильно». Впрочем, скорее всего это было правдой: с какой стати ей любить его? Он больше ничего не желал, разве только долго молчать, сидя рядом с ней, и еще чтоб в конце концов она молча ушла. Тем не менее он спросил:

— Вы вернетесь в будущем году?

— Вернусь, — пообещала она.

Ивиш ему почти нежно улыбалась, должно быть, она упивалась своей удовлетворенной гордыней. Это было то же лицо, которое она обратила к нему вчера, когда служительница из туалета перевязывала ей руку. Матье неуверенно смотрел на нее и чувствовал, как возрождается его желание. Это грустное и безропотное желание не было желанием пустоты. Он взял ее за руку, почувствовал ее свежую кожу и сказал:

— Я вас...

Но тут же остановился. В дверь звонили: сначала один звонок, потом два, потом непрерывный звон. Матье похолодел: «Марсель!» Ивиш побледнела, конечно, ей тоже пришла в голову эта мысль. Они переглянулись.

— Нужно открыть, — прошептала она.

— Думаю, да, — согласился Матье.

Но не пошевелился. В дверь уже барабанили. Ивиш, вздрогнув, сказала:

— Страшно подумать, что за дверью кто‑то есть.

— Да. Хотите... Хотите пройти на кухню? Я закрою дверь, и вас никто не увидит.

Ивиш посмотрела на него спокойно и властно.

— Нет, я останусь.

Матье пошел открывать и увидел в полумраке кривящееся, похожее на маску лицо: это была Лола. Она оттолкнула его, чтобы побыстрее войти.

— Где Борис? — спросила она. — Я слышала его голос.

Матье даже не успел закрыть дверь, он вошел в кабинет следом за ней. Лола с угрожающим видом подошла к Ивиш.

— Вы мне сейчас же скажете, где Борис.

Ивиш испуганно смотрела на нее. Впрочем, та, казалось, обращалась не к ней и вообще ни к кому. Матье даже не был уверен, видит ли Лола ее. Он встал между ними.

— Его здесь нет.

Лола обратила к нему искаженное заплаканное лицо.

— Я слышала его голос.

— Кроме кабинета, — сказал Матье, пытаясь поймать ее взгляд, — в квартире есть кухня и ванная. Можете обыскать все, если что‑то подозреваете.

— Но тогда где же он?

На ней было черное шелковое платье и сценический грим. Ее большие темные глаза словно застыли.

— Он расстался с Ивиш приблизительно в три часа, — сказал Матье. — Мы не знаем, что он делал с тех пор.

Лола засмеялась, не меняя позы, как слепая. Руки ее судорожно тискали маленькую сумочку из черного бархата, которая, казалось, содержала только один предмет, твердый и тяжелый. Матье увидел сумочку и испугался, следовало немедленно отослать Ивиш.

— Ну что ж, если вы не знаете, что он делал, я могу вас просветить, — проговорила Лола. — Он поднялся ко мне в номер часов в семь, когда я вышла, открыл дверь, взломал замок сундучка и украл у меня пять тысяч франков.

Матье не смел посмотреть на Ивиш, он ласково сказал ей, опустив глаза:

— Будет лучше, если вы уйдете, мне нужно поговорить с Лолой. Могу ли я... могу ли я снова увидеть вас сегодня ночью?

Лицо Ивиш исказилось.

— Нет‑нет! — сказала она. — Я хочу вернуться к себе, мне нужно собрать чемоданы, и вообще я хочу спать. Я так хочу спать!

Лола спросила:

— Она уезжает?

— Да, — ответил Матье. — Завтра утром.

— Борис тоже уезжает?

— Нет.

Матье взял Ивиш за руку.

— Идите спать, Ивиш. У вас был трудный день. Вы по‑прежнему не хотите, чтобы я проводил вас на вокзал?

— Нет. Лучше не надо.

— Тогда до будущего года.

Он посмотрел на нее, надеясь обнаружить в ее глазах проблеск нежности, но прочел в них только панику.

— До будущего года, — повторила она.

— Я буду вам писать, — грустно сказал Матье.

— Да, да.

Она направилась к выходу. Лола преградила ей дорогу.

— Простите! Как я могу быть уверена, что она не идет к Борису?

— А хоть бы и так, — сказал Матье. — Полагаю, она свободна.

— Останьтесь, — сказала Лола, ухватив левой рукой Ивиш за запястье.

Ивиш вскрикнула от боли и гнева.

— Оставьте меня! — закричала она. — Не прикасайтесь ко мне! Не хочу, чтобы ко мне прикасались!

Матье быстро оттолкнул Лолу, та, ворча, на шаг отступила. Он не сводил глаз с сумочки.

— Мерзкая баба, — сквозь зубы процедила Ивиш. Она ощупывала запястье большим и указательным пальцами.

— Лола, — сказал Матье, не отрывая глаз от сумочки, — пусть Ивиш уйдет, мне много нужно вам сказать, но сначала дайте ей уйти.

— Вы мне скажете, где Борис?

— Нет, — ответил Матье, — но я вам объясню эту историю с кражей.

— Что ж, идите, — сказала Лола. — И если увидите Бориса, передайте ему, что я подала на него заявление в полицию.

— Заявление будет отозвано, — вполголоса сказал Матье, все еще глядя на сумочку. — Прощайте, Ивиш. Уходите быстрее.

Ивиш не ответила, и Матье с облегчением услышал ее легкие удалявшиеся шаги. Он не видел, как она уходила, но шум шагов стих и у него защемило в груди. Лола сделала шаг вперед и крикнула:

— Передайте ему, что он ошибся адресом! Передайте ему, молод он еще меня дурачить!

Она повернулась к Матье: у нее по‑прежнему был странный и невидящий взгляд.

— Ну? — сурово сказала она. — Валяйте.

— Послушайте, Лола!.. — начал Матье.

Но Лола вновь засмеялась.

— Я не вчера родилась, — смеясь, сказала она. — Да уж! Мне уже не раз говорили, что я ему в матери гожусь. Матье подошел к ней.

— Лола!

— Он сказал себе: «Эта старуха без ума от меня и будет только счастлива, если я ее надую, она еще мне скажет спасибо». Нет, он меня не знает! Он меня не знает!

Матье схватил ее за руки и потряс, как сливу, а она, смеясь, все кричала:

— Он меня не знает!

— Заткнитесь! — грубо крикнул Матье.

Лола успокоилась и в первый раз, казалось, его увидела.

— Валяйте!

— Лола, — спросил Матье, — вы действительно заявили на Бориса в полицию?

— Да. Что вы хотите мне сказать?

— Деньги украл я! — выпалил Матье.

Лола безучастно смотрела на него. Он вынужден был повторить:

— Это я украл у вас пять тысяч франков.

— А! — сказала она. — Вы! Она пожала плечами:

— Но хозяйка его видела.

— Как она могла его видеть, если это был я?

— Она его видела, — огрызнулась Лола. — Он тайком поднялся ко мне в семь часов. Она его пропустила, потому что я ее об этом попросила. Я его ждала весь день, а через десять минут, как я вышла, он проник в номер. Должно быть, он следил за мной из‑за угла и поднялся, увидев, как я ушла.

Она говорила тускло и быстро, голос ее выражал несокрушимую уверенность. «Можно подумать, что она сама себя в этом уверяет», — обескураженно подумал Матье. Он сказал:

— Послушайте, в котором часу вы вернулись к себе?

— Первый раз? В восемь.

— Так вот, деньги были еще в сундучке.

— А я вам говорю, что Борис был в номере в семь.

— Может, и был, наверное, он пришел повидать вас. Но вы ведь не заглядывали в сундучок?

— Заглядывала.

— В восемь часов?

— Да.

— Лола, будьте откровенны, — сказал Матье. — Я же знаю, что не заглядывали. Я это точно знаю. В восемь часов ключ был у меня, и вы не могли открыть сундучок. Даже если вы обнаружили пропажу в восемь, то, по‑вашему, выходит, что вы ждали полуночи, чтобы прийти ко мне? В восемь часов вы спокойно загримировались, надели красивое черное платье и отправились в «Суматру». Не так ли?

Лола настороженно на него поглядела.

— Хозяйка его видела.

— Да. Но в сундучок‑то не заглянули. В восемь часов деньги еще были там. Я пришел в десять и взял их. У конторки была старуха консьержка, она меня видела и может это подтвердить. Вы заметили пропажу только в полночь.

— Да, — устало сказала Лола. — В полночь. Но это не имеет значения. В «Суматре» мне стало дурно, и я вернулась. Я легла в постель и взяла сундучок. Там были... там были письма, которые я хотела перечитать.

Матье подумал: «И правда, письма. Почему она хочет скрыть, что их у нее украли?» Они помолчали; время от времени Лола раскачивалась взад‑вперед, как человек, спящий стоя. Наконец она будто очнулась.

— Так это вы меня обокрали?

— Я.

Она коротко засмеялась.

— Приберегите вашу трепотню до суда, раз уж вам угодно схлопотать полгода вместо него.

— Полноте, Лола, какой интерес мне рисковать свободой ради Бориса?

Она скривила рот.

— Откуда я знаю, как вы его там обрабатываете?

— Но это же глупо! Послушайте, клянусь вам, это я: сундучок был у окна, под чемоданом. Я взял деньги и оставил ключ в замке.

Губы Лолы дрожали, она нервно мяла сумочку.

— Вы все сказали, что хотели? Тогда позвольте мне уйти.

Она собиралась пройти к двери, но Матье остановил ее:

— Лола, вы  н е   х о т и т е   дать себя переубедить.

Лола плечом оттолкнула его.

— Разве вы не видите, в каком я состоянии? За кого вы меня принимаете, думаете, я поверю вашим сказкам? «Сундучок был под чемоданом, у окна», — повторила она, передразнивая Матье. — Борис здесь был, неужели вы думаете, что я этого не знаю? Вы договорились, что сказать этой старухе Лоле. Пропустите меня! — грозно пророкотала она. — Пропустите!

Матье хотел взять ее за плечи, но Лола отскочила назад и попыталась открыть сумочку; Матье вырвал ее и бросил на диван.

— Хам! — выкрикнула Лола.

— Там серная кислота или револьвер? — улыбаясь, спросил Матье.

Лола задрожала всем телом. «Ну вот, — подумал Матье, — нервный срыв». Казалось, будто он видит зловещий и нелепый сон. Но ее нужно было убедить. Лола перестала дрожать. Она забилась в угол у окна и следила за ним сверкающими бессильной ненавистью глазами. Матье отвернулся: он не страшился ее ненависти, но на этом лице была такая нечеловеческая мука, что он был потрясен.

— Сегодня утром я был у вас в номере, — настойчиво твердил он. — Я взял ключ в вашей сумочке. Когда вы проснулись, я собирался открыть сундучок. У меня не было времени положить ключ на место, это и навело меня на мысль вернуться вечером к вам в номер.

— Не трудитесь, — ледяным тоном процедила Лола, — я видела, как вы вошли сегодня утром. Когда я с вами заговорила, вы не дошли даже до кровати.

— Я в первый раз зашел... — Лола усмехнулась, и он нехотя добавил: — ...из‑за писем.

Она его как будто не слышала: совершенно бесполезно было говорить ей о письмах, она могла думать только о деньгах, ей необходимо о них думать, чтобы разжечь в себе ярость, это последнее прибежище. Наконец она едко сказала:

— Все дело в том, что вчера вечером Борис попросил у меня именно пять тысяч франков, понимаете? Кстати, из‑за этого мы и поссорились.

Матье почувствовал свое бессилие: было очевидно, что виновным мог быть только Борис. «Я должен был это предвидеть», — удрученно подумал Матье.

— Не утруждайте себя, — со злой улыбкой сказала Лола. — Я с ним все равно разделаюсь! Если вам удастся заговорить зубы судье, я с ним разделаюсь по‑другому, вот и все.

Матье поглядел на сумочку, лежавшую на диване. Лола тоже поглядела на нее.

— Он просил деньги для меня, — признался Матье.

— Да. А книгу он днем тоже для вас украл? Он похвастался этим, когда мы танцевали.

Она резко остановилась и вдруг с угрожающим спокойствием заключила:

— Впрочем, ладно! Так это вы меня обокрали?

— Да, я.

— Что ж, верните мне деньги.

Матье озадаченно молчал. Лола добавила с торжествующей иронией:

— Верните мне их сейчас же, и я заберу свое заявление.

Матье не ответил. Лола заключила:

— Хватит. Я все поняла.

Она взяла сумочку, и он не попытался ей помешать.

— А это ведь тоже не доказательство, если бы они у меня и были, — с усилием сказал он. — Борис мог бы мне их передать.

— Я у вас не об этом спрашиваю. Я просто прошу их мне вернуть.

— У меня их нет.

— Вот как? В десять вы меня обокрали, а в полночь у вас уже ничего нет? Очень мило.

— Я отдал деньги.

— Кому?

— Этого я вам не скажу. Он быстро добавил:

— Но не Борису.

Лола, не ответив, заулыбалась; она направилась к двери и он ее не остановил. Он подумал: «Ее полицейский участок на улице Мартир. Я пойду туда объясниться». Но, когда он увидел со спины эту высокую черную фигуру, которая двигалась со слепой неминуемостью катастрофы, он испугался, подумав о сумочке, и предпринял последнюю попытку.

— Хорошо, я скажу, для кого это: для мадемуазель Дюффе, моей подруги.

Лола открыла дверь и вышла. Он услышал, как она закричала в прихожей, и сердце его чуть не выпрыгнуло из груди. Внезапно она снова появилась, вид у нее был безумный.

— Там кто‑то есть! — выкрикнула она. Матье подумал: «Это Борис».

Но это был Даниель. Он с благородным видом вошел и поклонился Лоле.

— Мадам, вот пять тысяч франков, — сказал он, протягивая конверт. — Извольте убедиться, что это действительно ваши деньги.

Матье одновременно подумал: «Его прислала Марсель» и «Он подслушивал под дверью». Даниель с удовольствием подслушивал под дверью, чтобы подготовить свое эффектное появление.

Матье спросил:

— Разве она...

Даниель жестом успокоил его:

— Все в порядке.

Лола смотрела на конверт недоверчиво и тупо, как крестьянка.

— Там пять тысяч франков? А как я узнаю, что они мои?

— Вы не записали номера купюр? — спросил Даниель.

— Еще чего!

— Ax, мадам, — с упреком сказал Даниель, — всегда надо записывать номера.

Матье внезапно осенило: он вспомнил удушливый запах «Шипра» и затхлости, исходившие от сундучка.

— Понюхайте их, — предложил он.

Лола некоторое время колебалась, потом резко схватила конверт, разорвала его и поднесла ассигнации к носу. Матье боялся, что Даниель расхохочется. Но Даниель был необычайно серьезен, он смотрел на Лолу с нарочитым пониманием.

— Так что? Вы принудили Бориса их вернуть? — спросила она.

— Я не знаю никого по имени Борис, — сказал Даниель. — Подруга Матье поручила мне принести их ему. Я бегом примчался сюда и случайно услышал конец вашего разговора, за что прошу прощения, мадам.

Лола оцепенела, руки ее повисли вдоль тела, левой она сжимала сумочку, правая судорожно впилась в банкноты; вид у нее был взволнованный и недоумевающий.

— Но зачем вы это сделали? — резко спросила она. — Что для вас значат пять тысяч франков? Матье невесело усмехнулся.

— Увы,немало. И мягко добавил:

— Теперь надо забрать ваше заявление. Или, если хотите, сообщите в полицию обо мне.

Лола отвернулась и быстро сказала:

— Я еще не подала заявления.

Она с сосредоточенным видом застала посреди комнаты, потом проговорила:

— Там были еще письма.

— У меня их больше нет. Я их взял для Бориса сегодня утром, когда он решил, что вы умерли. Это меня и натолкнуло на мысль вернуться и взять деньги.

Лола смотрела на Матье без ненависти, но с огромным удивлением и некоторьм интересом.

— Вы у меня украли пять тысяч франков! — сказала она. — Это... просто смешно.

Но глаза ее быстро погасли, лицо ожесточилось. Она страдала.

— Я ухожу, — сказала Лола.

Они молча посторонились. На пороге она обернулась.

— Если он ничего не сделал, то почему он не приходит?

— Не знаю.

Лола коротко всхлипнула и прислонилась на минутку к дверному косяку. Матье шагнул к ней, но она снова взяла себя в руки.

— Как вы думаете, он вернется?

— Думаю, да. Они не способны давать другим счастье, но они также не способны бросать, это для них еще труднее.

— Да, — сказала Лола. — Да. Ну что ж, прощайте.

— Прощайте, Лола. Вам... вам ничего не нужно?

— Нет.

Она вышла. Они услышали, как за ней закрылась дверь.

— Кто эта пожилая дама? — спросил Даниель.

— Это Лола, подруга Бориса Сергина. Она тронутая.

— Оно и видно, — сказал Даниель.

Матье почувствовал себя неловко, оставшись с ним наедине; ему казалось, что внезапно он снова поставлен перед своей виной. Она была здесь, напротив, живая, она жила в глубине глаз Даниеля, и кто знает, какую форму она приняла в его капризном и вычурном сознании. Даниель был явно настроен воспользоваться моментом. Сегодня он выглядел церемонным, дерзким и мрачным, как в свои самые скверные дни. Матье почувствовал неприязнь и посмотрел на Даниеля. Тот был бледен.

— Ты выглядишь отвратно, — сказал Даниель с нехорошей улыбкой.

— Я о тебе сказал бы то же самое, — парировал Матье. — В хорошенькую историю мы влипли. Даниель пожал плечами.

— Ты пришел от Марсель? — спросил Матье.

— Да.

— Это она вернула деньги?

— Они ей не нужны, — уклончиво сказал Даниель.

— Не нужны?

— Нет.

— Скажи, есть ли у нее по крайней мере средство...

— Об этом речь уже не идет, мой дорогой, — сказал Даниель. — Это уже дело прошлое.

Он приподнял левую бровь и насмешливо, будто через воображаемый монокль, посмотрел на Матье. «Если он хочет меня чем‑нибудь ошеломить, ему не помешало бы унять дрожь в руках».

Даниель небрежно сказал:

— Я женюсь на ней. Мы решили оставить ребенка.

Матье взял сигарету и закурил. Голова его гудела, как колокол, он спокойно спросил:

— Значит, ты ее любишь?

— А почему бы и нет?

«Это о Марсель идет речь», — подумал Матье. О Марсель! Ему не удавалось полностью в этом себя убедить.

— Даниель, — сказал он, — я тебе не верю.

— Подожди немного и убедишься.

— Нет, я имею в виду другое: ты не заставишь меня поверить в то, что ты ее любишь, значит, что‑то за этим кроется?

У Даниеля был усталый вид, он сел на край письменного стола, одну ногу поставил на пол, а другой непринужденно покачивал. «Он забавляется», — в бешенстве подумал Матье.

— Ты очень удивишься, если узнаешь истину, — сказал Даниель.

Матье подумал: «Черт! Она была его любовницей».

— Если ты не должен мне ничего говорить, то молчи, — сухо сказал он.

Даниель некоторое время смотрел на него, как будто ему было забавно его интриговать, потом вдруг встал и провел рукой по лбу.

— Все плохо начинается, — сказал он. Взгляд его был полон удивления. — Я имел в виду другое. Послушай, Матье, я...

Он натянуто засмеялся.

— Если я тебе кое‑что скажу, ты воспримешь это серьезно?

— Хорошо. Говори или не говори, — рассердился Матье.

— Так вот, я...

— Ты любовник Марсель. Это ты хотел сказать?

Даниель вытаращил глаза и присвистнул. Матье почувствовал, что краснеет.

— Неплохая находка! — восхитился Даниель. — Тебе только того и нужно, а? Нет, мой дорогой, у тебя не будет даже такого оправдания.

— Так говори же, — униженно взмолился Матье.

— Подожди! — остановил его Даниель. — У тебя есть что‑нибудь выпить? Виски?

— Нет, — сказал Матье, — но у меня есть белый ром. Прекрасная идея, — добавил он, — сейчас выпьем по стаканчику.

Он ушел в кухню и открыл буфет. «Какую мерзость я ему выдал», — подумал Матье. Он вернулся в комнату с двумя бокалами и бутылкой рома. Даниель взял бутылку и до краев наполнил бокалы.

— Это из «Рома Мартиники»? — спросил он.

— Да.

— Ты туда захаживаешь?

— Иногда. Твое здоровье.

Даниель изучающе смотрел на него, как будто Матье что‑то скрывал.

— За мою любовь! — провозгласил он, поднимая стакан.

— Ты пьян, — возмутился Матье.

— Действительно, я немного выпил, — признался Даниель. — Но успокойся. Я был трезв, когда пришел к Марсель. Это уже потом...

— Ты пришел сразу от нее?

— Да. Но с маленьким привалом в «Фальстафе».

— Ты... ты, должно быть, пришел к ней сразу после моего ухода?

— Я ждал, когда ты уйдешь, — улыбаясь, сказал Даниель. — Я увидел, как ты завернул за угол, и направился к ней.

Матье не смог сдержать недовольного жеста.

— Ты меня подстерегал? — спросил он. — Что ж, тем лучше, в конечном счете Марсель не осталась одна. Так что ты хотел мне сказать?

— Абсолютно ничего, старик, — сказал Даниель с внезапной сердечностью. — Я просто хотел объявить тебе о своей женитьбе.

— И это все?

— Все...да, это все.

— Ну, как угодно, — холодно сказал Матье.

Они немного помолчали, затем Матье спросил:

— Как... как там она?

— Ты хотел бы, чтоб она была в восторге? — насмешливо спросил Даниель. — Пощади мою скромность.

— Прошу тебя, — сухо сказал Матье. — Договорились, я не имею никакого права на вопросы... Но ведь ты пришел сюда...

— Что ж, — сказал Даниель, — я предполагал, что ее будет труднее убедить. Но она набросилась на мое предложение со скоростью экономического кризиса.

Матье увидел в его глазах вспышку обиды; он быстро сказал, желая извинить Марсель:

— Она потерпела крушение...

Даниель пожал плечами и стал расхаживать взад‑вперед. Матье не смел на него смотреть: Даниель сдерживался, он говорил тихо, но с видом одержимого. Матье скрестил руки и уставился на свои туфли. Он с трудом, как бы для себя самого, проговорил:

— Значит, она хотела ребенка? Я этого не понял. Если б она мне сказала...

Даниель промолчал. Матье продолжил:

— Так значит, ребенок. Ладно: пусть он родится. Я... я хотел его уничтожить. Но все же лучше ему родиться. Даниель не ответил.

— Разумеется, я его никогда не увижу? — спросил Матье.

Едва ли это был вопрос; он продолжил, не дожидаясь ответа:

— Ну вот. Наверное, я должен быть доволен. В каком‑то смысле ты ее спасаешь... но я не понимаю, зачем ты это сделал?

— Конечно, не из гуманных побуждений, если ты это имел в виду, — сухо отрезал Даниель. — Ром у тебя просто гадость, — добавил он. — И все же налей мне еще.

Матье налил ему и себе, и оба выпили.

— Итак, что ты теперь собираешься делать? — спросил Даниель.

— Ничего. Больше ничего.

— А эта девочка, Сергина?

— Нет.

— Вот ты и свободен.

— Ты так считаешь?

— До свидания, — вставая, сказал Даниель. — Я пришел вернуть деньги и немного тебя успокоить: ей больше нечего бояться, она мне доверяет. Вся эта история ее потрясла, но по‑настоящему Марсель не несчастна.

— Ты на ней женишься. — повторил Матье. — Она меня ненавидит, — вполголоса добавил он.

— Поставь себя на ее место, — жестко сказал Даниель.

— Знаю. Поставил. Она тебе говорила обо мне?

— Очень мало.

— Знаешь, — сказал Матье, — мне не по себе, что ты на ней женишься.

— Ты сожалеешь?

— Нет. По‑моему, это несчастье.

— Спасибо.

— Несчастье для вас обоих! Сам не знаю почему.

— Не волнуйся, все будет хорошо. Если родится мальчик, мы назовем его Матье.

Матье вскочил, сжав кулаки.

— Замолчи! — выкрикнул он.

— Ну, не сердись, — успокоил его Даниель. Он рассеянно повторил:

— Не сердись. Не сердись. — Он так и не решался уйти.

— Значит, — сказал Матье, — ты пришел посмотреть, какая у меня будет рожа после всего этого?

— Может, отчасти и так, — признался Даниель. — Если говорить напрямую. У тебя всегда был такой... основательный вид: это меня бесило.

— Что ж, теперь ты убедился в обратном, — сказал Матье. — Не такой уж я основательный.

— Да, не такой уж.

Даниель сделал несколько шагов к двери и быстро вернулся; он утратил насмешливый вид, но так получилось лишь хуже.

— Матье, я гомосексуалист, — сказал он.

— А? — изумился Матье.

Даниель отступил и удивленно посмотрел на него, в глазах его светился гнев.

— У тебя это вызывает отвращение, так ведь?

— Ты гомосексуалист? — медленно повторил Матье. — Нет, это не вызывает у меня отвращения, почему это должно вызывать у меня отвращение?

— Прошу тебя, — сказал Даниель, — ты вовсе не обязан изображать передо мной широту взглядов...

Матье не ответил. Он смотрел на Даниеля и думал: «Он гомосексуалист». Почему‑то не очень удивился.

— Ты ничего не говоришь, — свистящим голосом продолжал Даниель. — Ты прав. У тебя правильная реакция, я в этом не сомневался, такую следует иметь каждому нормальному человеку, но ты можешь оставить ее при себе.

Даниель застыл, руки прижаты к телу, вид жалкий. «Почему ему взбрело в голову каяться именно передо мной?» — жестко подумал Матье. Он понимал, что должен найти нужные слова, но погрузился в глубокое, парализующее безразличие. Все казалось ему в ту минуту таким естественным, таким нормальным: он негодяй, а Даниель — гомосексуалист, все в порядке вещей. Наконец он сказал:

— Ты можешь быть кем хочешь, это меня не касается.

— Конечно, — высокомерно улыбнулся Даниель. — Конечно же, это тебя не касается. У тебя достаточно забот с собственной совестью.

— Тогда зачем ты мне это сказал?

— Я... я хотел посмотреть, какое впечатление это произведет на такого человека, как ты, — сказал, откашлявшись, Даниель. — И потом, теперь есть кто‑то, кто знает, возможно, мне... мне удастся поверить в это самому.

Он позеленел и говорил с усилием, но продолжал улыбаться. Матье не мог вынести этой улыбки и отвернулся.

Даниель усмехнулся.

— Это тебя удивляет? Это нарушает твои представления о гомосексуалистах? Матье живо поднял голову.

— Не пыжься. Ты жалок. Не стоит пыжиться передо мной. Возможно, ты сам себе отвратителен, но не более, чем я себе, мы друг друга стоим. Впрочем, — подумав, сказал он, — именно поэтому ты мне и исповедуешься. Это должно быть менее тяжко — исповедоваться перед подонком; а облегчение от исповеди все равно есть.

— Ax ты, маленький лукавец! — развязно — Матье прежде такого не слышал — сказал Даниель.

Они замолчали. Даниель смотрел прямо перед собой, неподвижно и тупо, как это делают старики. Матье пронзило острое раскаяние.

— Но если ты такой, то зачем ты женишься на Марсель? — спросил Матье.

— Это тут ни при чем.

— Я... я не могу тебе позволить жениться на ней. Даниель выпрямился, и его зеленовато‑сизое лицо пошло багровыми пятнами.

— Вот как? Не можешь?— высокомерно спросил он. — А как ты мне помешаешь?

Матье, не ответив, встал. Телефон был на письменном столе. Матье набрал номер Марсель. Даниель с иронией смотрел на него. Наступило долгое молчание.

Матье вздрогнул.

— Алло! Это Матье. Я... послушай, мы были идиотами. Я хочу... алло! Марсель? Ты меня слушаешь? Марсель! — в ярости крикнул он. — Алло!

Ответа по‑прежнему не было. Он потерял голову и крикнул в трубку:

— Марсель, я хочу на тебе жениться!

Наступило короткое молчание, потом что‑то вроде лая на другом конце провода и короткие гудки. Какое‑то время Матье сжимал трубку, затем тихо положил ее на стол. Даниель, не говоря ни слова, смотрел на него, но выглядел он отнюдь не торжествующе. Матье сделал глоток рома и сел в кресло.

— Ладно!

Даниель улыбнулся.

— Успокойся, — утешающе сказал он, — гомосексуалисты обычно становятся прекрасными мужьями, это общеизвестно.

— Даниель! Если ты женишься на ней ради красивого жеста, ты испортишь ей жизнь.

— Не тебе бы говорить, — оборвал его Даниель. — Знаешь, я женюсь на ней вовсе не ради красивого жеста. Прежде всего она хочет ребенка.

— А... А она знает?

— Нет!

— Так почему ты женишься на ней?

— Потому что мы с ней друзья. Голос его звучал неубедительно. Они налили себе еще, и Матье упрямо произнес:

— Не хочу, чтобы она была несчастной.

— Клянусь, я сделаю все для ее счастья.

— Она думает, что ты ее любишь?

— Вряд ли. Она предложила жить у нее, но мне это не подходит. Я поселю ее у себя. Вероятно, чувство мало‑помалу возникнет — так мы думаем.

Он добавил с вымученной иронией:

— Я ведь собираюсь скрупулезно выполнять супружеские обязанности.

— Но как же... — Матье сильно покраснел. — Разве ты любишь и женщин тоже?

Даниель как‑то странно фыркнул:

— Не особенно.

— Понятно.

Матье опустил голову, и слезы стыда навернулись ему на глаза. Он проговорил:

— Я сам себе стал противен еще больше с тех пор, как узнал, что ты женишься на ней. Даниель выпил.

— А, — сказал он рассеянно и бесстрастно, — я думаю, ты должен чувствовать себя довольно мерзко.

Матье не ответил. Он сидел, опустив глаза: «Он гомосексуалист, а она выйдет за него замуж».

Он расставил руки и поскреб каблуком паркет: он ощутил себя загнанным в угол. Внезапно он почувствовал неловкость, он подумал: «Даниель на меня смотрит» — и поспешно поднял голову. Даниель действительно смотрел на него, да с такой ненавистью, что у Матье сжалось сердце.

— Почему ты на меня так смотришь? — спросил он.

— Ты знаешь!—сказал Даниель.—Ты тоже знаешь!

— Ты бы, наверное, не остановился перед тем, чтобы пустить мне пулю в лоб?

Даниель не ответил. Вдруг Матье обожгла невыносимая мысль.

— Даниель, ты ведь женишься на ней, чтобы наказать себя?

— Ну и что? — равнодушно пробормотал Даниель. — Это касается меня одного.

Матье схватился за голову.

— Боже мой! — воскликнул он.

Даниель быстро добавил:

— Это не имеет никакого значения. Во всяком случае, для нее.

— Ты ее ненавидишь?

— Нет.

Матье грустно подумал: «Это меня он ненавидит».

Даниель снова заулыбался.

— Допьем бутылку? — предложил он.

— Допьем, — согласился Матье. Они выпили, и Матье почувствовал, что хочет курить. Он взял в кармане сигарету и закурил.

— Послушай, — сказал он, — меня не касается, кто ты. Даже теперь, когда ты мне об этом сказал. И все‑таки кое‑что я хотел бы у тебя спросить: почему тебе стыдно?

Даниель отрывисто засмеялся:

— Я ждал этого вопроса, мой дорогой. Мне стыдно быть гомосексуалистом именно потому, что я гомосексуалист. Я знаю, что ты мне скажешь: «Я бы на твоем месте не стыдился, я бы добивался своего места под солнцем, эта склонность не хуже любой другой» и т. д. Только это меня не трогает. Я знаю, что ты мне все это скажешь именно потому, что ты сам не такой. Все гомосексуалисты стыдятся, это в их природе.

— Но разве не лучше было бы... принять себя таким, как есть? — робко спросил Матье.

Даниель, казалось, разозлился.

— Ты мне об этом скажешь в тот день, когда согласишься остаться негодяем, — жестко отрубил он. — Нет. Гомосексуалисты, которые хвалятся этим, которые афишируют это или просто с этим смирились... мертвецы: они убили себя из‑за того, что стыдились. Я такой смерти не хочу.

Но он, казалось, успокоился и без ненависти посмотрел на Матье.

— Я всего лишь слишком себя принял, — мягко продолжал он, — я себя очень хорошо знаю.

Разговор был исчерпан. Матье закурил другую сигарету. На дне его бокала осталось немного рома, и он его допил. Даниель внушал ему ужас. Он подумал: «Через два, через четыре года... стану ли я таким?» Ему вдруг захотелось поговорить с Марсель: только ей одной он мог рассказать о своей жизни, своих страхах, своих надеждах. Но он вспомнил, что больше никогда ее не увидит, и его неутоленное, неназванное желание медленно превратилось в отчаяние. Он был одинок.

Даниель, казалось, размышлял: его взгляд остановился, губы время от времени приоткрывались. Он коротко вздохнул, и что‑то дрогнуло в его лице. Он провел рукой по лбу: вид у него был удивленный.

— Сегодня я все‑таки попался, — сказал он вполголоса.

У него мелькнула странная улыбка, почти детская, которая выглядела неуместной на оливковом лице, где плохо выбритая щетина отсвечивала синевой. «Это правда, — подумал Матье, — на сей раз он на пределе». Ему вдруг пришла мысль, стиснувшая его сердце: «Он свободен». И ужас, который внушал ему Даниель, вдруг смешался с завистью.

— Ты должен быть в странном состоянии, — сказал он.

— Да, я в странном состоянии, — согласился Даниель.

Все еще добродушно улыбаясь, он сказал: — Дай мне сигарету.

— Ты разве куришь? — спросил Матье.

— Нет, только одну. И только сегодня. Матье быстро произнес:

— Я хотел бы быть на твоем месте.

— На моем месте? — без особого удивления переспросил Даниель.

— Да.

Даниель пожал плечами.

— В этой истории по всем позициям выиграл ты.

Матье горько усмехнулся. Даниель пояснил:

— Ты же свободен.

— Нет, — покачав головой, сказал Матье. — Бросить женщину еще не значит обрести свободу. Даниель с любопытством поглядел на него.

Однако сегодня утром ты, кажется, считал именно так.

— Не знаю. Это неясно. Все неясно. Истина в том, что я бросил Марсель  н и  р а д и  ч е г о.

Он задержал взгляд на оконных шторах, колыхавшихся от ночного ветра. Он устал.

— Ни ради чего, — повторил он. — Во всей этой истории я играл роль только отказа и отрицания: в моей жизни больше нет Марсель, но есть остальное.

— Что же?

Матье неопределенно махнул рукой в сторону письменного стола.

— Ну, все это, все остальное.

Он был околдован Даниелем. Он подумал: «Значит, это и есть свобода?» Даниель д е й с т в о в а л, он уже не может вернуться назад: ему должно казаться странным чувствовать за собой беспричинный поступок, которого он и сам уже почти не понимает и который перевернет его жизнь. А я все делаю ни ради чего; можно подумать, что у меня украдут результата! моих действий; все происходит так, словно я всегда могу начать сначала. Не знаю, что бы я отдал, лишь бы совершить непоправимый поступок».

Он сказал вслух:

— Позавчера вечером я видел человека, который хотел вступить в испанское ополчение.

— Ну и что?

— Он струсил: теперь ему крышка.

— Зачем ты мне это говоришь?

— Не знаю. Просто так.

— Ты хотел уехать в Испанию?

— Да. Но недостаточно сильно. Они замолчали. Через некоторое время Даниель бросил сигарету и сказал:

— Я хотел бы постареть на полгода.

— Я — нет, — сказал Матье. — Через полгода я буду таким же, как сейчас.

— С теми же угрызениями совести, — добавил Даниель. Он встал.

— Предлагаю опрокинуть стаканчик в «Клариссе».

— Нет, — отказался Матье. — Сегодня вечером я не хочу напиваться. Я не знаю, что сделаю, если напьюсь.

— Да ничего особенного, — заметил Даниель. — Так ты не идешь?

— Нет. Не хочешь еще немного посидеть? — спросил Матье.

— Мне надо выпить, — сказал Даниель. — Прощай.

— Прощай. Мы... мы скоро увидимся? — спросил Матье. Даниель смутился.

— Думаю, это будет непросто. Марсель мне сказала, что не хочет ничего менять в моей жизни, но скорее всего ей будет неприятно, если мы будем встречаться.

— Пусть так, — сухо сказал Матье. Даниель, не отвечая, улыбнулся ему, и Матье резко заключил:

— Ты меня ненавидишь.

Даниель подошел к нему и поспешно неловко и стыдливо положил руку ему на плечо.

— Нет, во всяком случае, не сейчас.

— Но завтра...

Даниель, не отвечая, наклонил голову.

— Пока, — сказал Матье.

— Пока.

Даниель ушел. Матье приблизился к окну и раздвинул шторы. За окном была нежная ночь, нежная и голубая; ветер прогнал облака, над крышами мерцали звезды. Матье облокотился на перила балкона и сладко зевнул. На улице, под ним, спокойным шагом шел человек; он остановился на перекрестке улиц Югенс и Фруадво [[9]](#footnote-9), поднял голову и посмотрел на небо: это был Даниель. Какая‑то мелодия порывами доносилась с проспекта дю Мэн, белый отсвет автомобильных фар скользнул в небе, задержался над трубой и исчез за крышами. Это было небо деревенского праздника, усеянное блестящими звездами, пахнущее каникулами и сельскими танцами. Матье видел, как скрылся Даниель, и подумал: «Я остался один». Один, но не свободнее, чем прежде. Вчера он сказал себе: «Если бы только Марсель не существовала». Но это была ложь. «Никто не стеснял моей свободы, ее выпила моя жизнь». Матье закрыл окно и вернулся в комнату. Здесь еще витал запах Ивиш. Он вдохнул его, и перед ним снова про несся этот сумасшедший день. Он подумал: «Много шума из ничего». Из ничего: эта жизнь была ему дана ни для чего, да и сам он был ничем, и тем не менее он не изменится, он уже сложился окончательно. Матье разулся и застыл, сидя на ручке кресла с туфлей в руке; горло его еще согревала сладкая теплота рома. Матье зевнул: он закончил день, он покончил со своей молодостью. Испытанная мораль уже скромно предлагала ему свои услуги: искушенное эпикурейство, смешливую снисходительность, покорность судьбе, отрешенность, строгость, стоицизм — все, что позволяет, подобно лакомке, минута за минутой дегустировать свою неудавшуюся жизнь. Матье снял пиджак и стал развязывать галстук. Зевая, он про себя повторял: «Значит, это правда, значит, это все‑таки правда: я вступил в возраст зрелости».

КОММЕНТАРИИ

«Дороги свободы» посвящены Ванде Козакевич, которая познакомилась с Сартром в 1937 году и оставалась до самой его смерти близким другом. Она была актрисой, играла женские роли в пьесах Сартра. Согласно переписке Сартра, он рассказывал В.Козакевич о работе над «Возрастом зрелости» и учел некоторые ее замечания. Отдельные черты В.Козакевич воплощены в образе Ивиш.

Глава I

"Пятьсот франков, а ведь надо дотянуть до двадцать девятого...» — Нехватка денег играет важную роль в развитии романа: Матье двое суток мечется по Парижу, раздобывая средства для сохранения своей свободы. В 1938 году жалованье преподавателя лицея составляло около 3000 франков — столько получал тогда и сам Сартр. Материальное положение Матье практически идентично материальному положению Сартра, которому нередко приходилось занимать деньги.

Вчера пошел в лицей прочитать последние лекции. — Временной период «Возраста зрелости» охватывает три ночи и два дня. Некоторые косвенные сведения (в разговоре с Марсель Матье упоминает, что последние занятия в лицее у него были «вчера», т.е. в понедельник 13 июня) показывают, что действие романа разворачивается между вечером вторника 14 июня 1938 года и ночью на пятницу 17 июня.

Потом я встречался с Ивиш. — До работы в лицее им.Пастера в Нейи, в 1936‑1937 гг. Сартр преподавал в Лаоне — в этом городе он «поселил» родителей Ивиш. Кстати, ее имя сам Сартр произносил как «Ивик», а не «Ивиш» (разумеется, с ударением на последнем слоге). Город Бове, о котором упоминает Матье, находится ближе к Парижу, чем Лаон, но расположен в том же северном направлении, в департаменте Уаза.

Сегодня утром зашел в бухгалтерию... — По словам самого Сартра, действие романа разворачивается во время каникул Матье не без умысла: Сартр не хотел показывать своего героя на занятиях в лицее, т.к. иначе ему пришлось бы вооружить героя некоей философией.

...чтобы не разбудить мадам Дюффе. — У Сартра были сложные отношения с Симоной Жолливе: студентом он приезжал к ней в Тулузу и был вынужден ждать на улице, пока мать Симоны ляжет спать — лишь после этого он мог подняться к Симоне в ее комнату над аптекой ("комнату‑ракушку», о чем говорится далее в романе). Воспоминания об этом ритуале отражены в описании отношений Матье и Марсель, которые, согласно тексту романа, длились семь лет и начались в 1931 году, — однако эта дата не соответствует чему‑либо конкретному в личной жизни Сартра.

Тебе тридцать четыре года... — Текст романа содержит противоречия относительно возраста Матье: по словам Марсель, ему тридцать четыре года, т.е. он родился в 1904 году; далее, в размышлениях Бориса он представлен тридцатипятилетним; в главе XV Матье, заполняя документы, указывает год рождения 1905 (как и Сартра), и в июне 1938 года ему должно быть тридцать три года. Эти противоречия объясняются тем, что роман создавался приблизительно с 1938 по 1940 годы, и Сартр хотел, чтобы Матье, его второе «я», был одного с ним возраста. По словам Сартра, кризис Матье типичен для мужчины тридцати пяти лет — это конец молодости, середина жизни, это «возраст зрелости», в который вступает герой.

Разве мы не условились говорить друг другу все? — Обещание Матье и Марсель «говорить друг другу все» — еще одна автобиографическая деталь: во время совместной жизни Сартра и Симоны де Бовуар они заключили своеобразный «пакт» — никогда не лгать друг другу и ничего не утаивать.

Завтра схожу к Cape. — Прототипом Сары послужила Стефа, жена Фернандо Херасси (см. о нем далее), которая, однако, не была еврейкой.

Глава II

Матье Деларю. — Фамилию для своего героя — Деларю — Сартр, судя по всему, выбрал не случайно: это довольно распространенная фамилия, которая переводится как «обычный», «любой», «как все»; буквально она означает (человек) «с улицы» или «на улице», что напоминает нам о том, как Матье мечется по улицам Парижа в поисках денег и в силу прочих обстоятельств и что он — некто, человек с улицы.

Лола. — По словам Сартра, персонаж Лолы является собирательным и воплощает представления Сартра о женщинах такого сорта, певицах и наркоманках из артистической богемы; до войны их было немало в кафе «Дом» и в различных кафе на Монпарнасе. Среди актрис и певиц можно назвать Марианну Освальд и Марго Лион — последняя даже написала Сартру, что узнала себя в персонаже Лолы.

Борис. — По свидетельству Симоны де Бовуар, персонаж Бориса — это русифицированный портрет их общего знакомого, «малыша Бо». Жак‑Лоран Бо — бывший ученик Сартра в лицее Гавра, сын духовника при лицее, младший брат романиста и сценариста Пьера Бо. Для Сартра и С. де Бовуар он (как и Ольга Козакевич) был воплощением юности. Сартр сделал Бориса на год моложе Бо (который родился в 1916 году), что связано с призывом Бориса на военную службу в романе «Отсрочка». Бо был призван в армию в 1939 году, а в мае 1940 года он, как и Борис, был ранен.

...полон пиетета к воззрениям своей сестры... — Ольга Козакевич (прототип Ивиш), старшая сестра Ванды Козакевич, родилась в 1917 году в России, после октябрьского переворота эмигрировала вместе с родителями. Ее мать была француженка, а отец — весьма состоятельный русский дворянин, приближенный к императорскому двору. После переворота он лишился всего и вместе с семьей скитался по Франции и Америке; затем Козакевичи поселились в небольшом французском городке, где отец, инженер по образованию, приобрел лесопильный завод. В Руане, через посредство С. де Бовуар и Сартра, Ольга познакомилась с Бо и подружилась с ним. Когда Сартр работал над «Возрастом зрелости», Ольга и Бо уже вместе жили в Париже, а во время войны они поженились. В романе Сартр сделал Ивиш сестрой Бориса.

К тому же она употребляла героин. — Лола представлена в романе наркоманкой: она принимает героин, один из самых сильнодействующих наркотиков, к которому быстро привыкают. Сартр не имел личного опыта приема наркотиков (лишь однажды он попробовал мескалин) и общения с наркоманами, однако в конце 30‑х годов многие завсегдатаи кафе «Дом», по его словам, принимали наркотики. В главе XI Матье представляет себе, как Лола нюхает белый порошок, что обычно делают с кокаином.

Глава III

Брюне. — Персонаж Брюне является собирательным; по словам Сартра, он хотел показать тип коммунистического активиста, интеллектуала по происхождению, играющего ведущую роль (Брюне — член ЦК). Его антибуржуазные настроения и моральная оппозиция по отношению к Матье заимствованы Сартром из его собственных споров с другом юности Полем Низаном, однако внешний облик Брюне взят Сартром у Жоржа Политцера.

Гомес. — Муж Сары, Гомес, появится лишь в романе «Отсрочка». Прототипом этого персонажа послужил друг Сартра, художник Фернандо Херасси (1899–1974), с которым Сартр познакомился в 1929 году через С. де Бовуар. Ф.Херасси родился п семье испанских евреев в Константинополе, изучал философию и историю искусства в Германии, имел выставки своих картин в Париже, где жил с 1935 года; воевал в Испании в составе интербригад, в марте 1939 года бежал во Францию и после четырех месяцев концлагерей в сентябре 1940 года эмигрировал вместе с семьей в США, где работал на американские спецслужбы; с 1946 года возобновил занятия живописью. Его сын Джон выведен в романе под именем Пабло.

«Помешать родиться...» — Тема отказа от отцовства является одной из ключевых в «Возрасте зрелости»; дать ли жизнь новому человеку — этот сложнейший вопрос экзистенциального выбора непосредственно связан с философией свободы. Судя по всему, Сартр никогда не стремился иметь детей, но проблема отцовства его волновала.

...лежал на песке в Аркашоне... — Воспоминания Матье во многом отражают прошлое Сартра: так, в детстве он не раз бывал в курортном городке Аркашоне на юго‑западном побережье Франции. Спиноза, которого читал Матье, наряду с Сократом, Декартом и Кантом, был помещен Сартром и его другом П.Низаном в их «личный Пантеон» в их бытность студентами.

...в собственных глазах Матье не был ни высоким... — В воспоминаниях Матье упоминает о своем высоком росте, хотя Сартр был невысок. По его словам, он не стал делать своего литературного двойника маленьким, поскольку считал, что человек невысокого роста производит впечатление духовно слабого и зависимого, в то время как в себе он ощущал немалые духовные силы. Кроме того, Сартру тогда казалось, что герой романа непременно должен быть высок и крепок. Он и сам всегда ощущал себя крепким физически и духовно, сильной личностью; он никогда не страдал от своего небольшого роста и не чувство вал себя ниже других.

Глава IV

...поведет Ивиш на выставку Гогена. — Выставка Гогена, о которой пойдет речь в главе VI, в действительности была открыта с 19 по 31 октября 1938 года в галерее Шарпантье (Фобур Сент‑Оноре).

Глава V

«Архангел!» — Марсель называет Даниеля «Архангелом»; это слово, видимо, было модным в 30‑е годы (например, Мари Лорансэн звала своим «архангелом» известного поэта, гомосексуалиста Рене Кревеля). Прототипом Даниеля послужил гомосексуалист «Марко» (Марк Зуорро), преподаватель в лицеях Руана и Парижа, друг Сартра (они познакомились в 1928 году в университетском городке) и С.де Бовуар, которая писала о нем: «Рядом с женщинами Марко без труда играл роль архангела».

Глава VI

Гоген, обнаженный до пояса... — В действительности не существует какого‑либо автопортрета Гогена, где он изображен обнаженным по пояс, как описано в романе. Любопытно, что в начале главы VII описание Даниеля совпадает с описанием Гогена на автопортрете.

Глава VII

«Не собак бы нужно было там оставлять». — Эпизод с собаками Константинополя, по словам Сартра, не выдумка: он прочитал об этой истории в прессе.

Серено. — Фамилия Даниеля — Серено — буквально означает «спокойный», «безмятежный» и выбрана для столько мучающегося персонажа не случайно. Любопытно, что сходно звучит и фамилия лесбиянки Инес, персонажа пьесы Сартра «За закрытыми дверями», — Серрано.

Глава VIII

Идейные споры с Жаком всегда плохо кончались. — Разговор Жака с Матье — эхо скучных споров, которые в 30‑е годы были у Сартра с его отчимом Жозефом Манси (тот считал Сартра чуть ли не коммунистом). Сартр взял отчима в качестве прототипа персонажа Жака Деларю, задавшись целью изобразить карикатурный портрет буржуа правого толка. Тонкая ирония Сартра состоит в том, что Матье слышит правду о себе от человека, которого презирает.

...это оказался «Эксельсиор». — Заголовки в газете «Эксельсиор», которую читает Матье, выдуманы Сартром; тем не менее, все они (кроме фразы о Грете Гарбо) соответствуют реальным событиям, о которых пресса (и в том числе «Эксельсиор») писала между 12 и 16 июня 1938 года.

...поселиться в гостинице. — Борис, находясь дома у Матье, советует тому переехать в отель. В 1946 году Сартр без особого желания согласился жить в одной квартире с матерью; до того он всегда жил в гостиницах, писал в кафе, питался в ресторанах, и эта свобода от собственности была для него очень важна. «Я бы ощущал себя потерянным — как Матье — будь у меня своя квартира с мебелью и прочими личными вещами», — говорил Сартр.

«...Он преподает в лицее Бюффон...» — Как следует из текста, Матье преподавал в парижском лицее Бюффон, который находился на бульваре Пастера; между тем, сам Сартр в период работы над «Возрастом зрелости» преподавал в лицее Пастера. В романе «Отсрочка» Жак ошибочно говорит, что Матье преподает в лицее Пастера — по словам Сартра, он не хотел делать Матье преподавателем того же лицея, где был сам.

Глава IX

«...покажу ему свой пропуск в префектуру». — Собираясь выдать себя за представителя «полиции нравов», Даниель готов был предъявить вместо удостоверения инспектора пропуск в префектуру, что свидетельствует о наличии у него весьма высокопоставленных покровителей.

Улица Данфер‑Рошро навевала на него смертную скуку... — Улица Данфер‑Рошро, по которой идет Борис, на самом деле является проспектом Данфер‑Рошро.

«Исторический и этимологический словарь воровского жаргона и арго с XIV века до наших дней». — Название словаря, который Борис собирался украсть, выдумано Сартром.

Это был Даниель Серено... — Встреча Бориса и Даниеля в книжном магазине напоминает эпизод прерванной кражи из романа Андре Жида «Фальшивомонетчики». В одном из интервью Сартр признавался, что думал о романе А.Жида, однако эта сцена отражает черту характера прототипа Бориса: Бо любил воровать книги. ...русского монаха, Алеши. — Под Алешей Даниель подразумевает младшего из братьев Карамазовых.

Глава XI

Кожа раскроилась от большого пальца до основания мизинца... — Сцена членовредительства Ивиш имеет реальную основу: Ольга Козакевич в период совместной жизни «трио» (она, Симона де Бовуар и Сартр), превратившись в «слегка безумный механизм», сожгла себе руку горящей сигаретой, делая это спокойно и методично. Можно также вспомнить, чтоЛафкадио, герой романа А.Жида «Подземелья Ватикана», воспитывал себя уколами шила в бедро.

Глава ХIII

... впилась в него зубами... — Можно отметить иронию Сартра: единственный персонаж романа, который что‑либо ест, — это субтильная Ивиш (да и то всего лишь яблоко). Однако многие персонажи пьют спиртное на страницах романа. Любопытно также, что кроме Лолы никто из героев не показан за работой.

На сей раз она выиграла без его вмешательства. — Сцена игры Бориса и Ивиш в кости подчеркивает их нарочитый инфантилизм; игру можно рассматривать как акт свободной воли, парадоксально снимающий с игрока ответственность за решение.

Глава XIV

... он отдавался темной прохладе бара. — По словам Сартра, бар «Синтра» на площади Оперы он описал как бар, в котором сидят Матье и Даниель.

Матье прочитал письмо от начала до конца. — Записка Марсель Даниелю датирована 20 апреля; это число, видимо, выбрано не случайно и подчеркивает двойственность Марсель: согласно внутренней хронологии романа, приблизительно в этот день был зачат ребенок Матье и Марсель.

...в стиле Калиостро... — Упоминание знаменитого шарлатана и авантюриста XVIII века Калиостро (настоящее имя — Жозеф Бальзамо) при описании внешности Даниеля призвано подчеркнуть темную сторону его натуры. О Марко, прототипе Даниеля, С. де Бовуар писала: «...уроженец города Бон (Восточная Франция), он был красоты необыкновенной: брюнет с кожей как темный янтарь и с яркими глазами, его лицо напоминало разом древнегреческие статуи и полотна Эль Греко».

Сначала она называла меня Лоэнгрином. — Лоэнгрин — как Марсель поначалу называла Даниеля — герой немецкой легенды, сын Парсифаля; он спас принцессу Брабанта и женился на ней, взяв с нее клятву, что она никогда не будет спрашивать о его происхождении. Клятва была нарушена, и Лоэнгрин покинул принцессу. Человек, у которого есть тайна и который женится на женщине, попавшей в беду, а затем оставляет ее: прозвище «Лоэнгрин» как бы предсказывает судьбу Даниеля. Как известно, сюжет легенды вдохновил Вагнера на создание оперы; между тем, Марко, прототип Даниеля, мечтал стать оперным певцом.

Глава ХV

... он зашагал по улице Фруадво. — Странно, что Матье идет по проспекту Данфер‑Рошро и переходит на улицу Фруадво, направляясь к себе домой, на улицу Югенс, которая находится с другой стороны кладбища Монпарнас. На самом деле в сознании Сартра, по его словам, квартира Матье располагалась там, где он сам жил в 1938 году (гостиница «Мистраль», улица Сель, 24), т.е. между улицей Фруадво и проспектом дю Мэн. Возможно, этим объясняется странная топографическая ошибка на последней странице романа, где упоминается «угол улицы Югенс и улицы Фруадво», в то время как в действительности эти две улицы разделены территорией кладбища.

Глава XVI

Кафе «Три мушкетера»... — Роман «Возраст зрелости» был частично написан в кафе «Три мушкетера», которое Сартр и С. де Бовуар часто посещали между 1938 и 1942 годами. Оно расположено на проспекте дю Мэн, недалеко от улицы Сель; именно там в марте 1941 года С. де Бовуар встретилась с вернувшимся из плена Сартром.

1. «Боевые кресты» – профашистская организация, возглавляемая полковником де ля Роком. [↑](#footnote-ref-1)
2. Дорио – бывший коммунист, в 30‑е годы – главарь ультраправой организации – кагуляров (от cagoul – капюшон). [↑](#footnote-ref-2)
3. Толстый кот у Рабле и Лафонтена. [↑](#footnote-ref-3)
4. Каид – вождь африканских туземцев. [↑](#footnote-ref-4)
5. «Моя грустная лошадка» (искаж. исп.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Лев Бельфора – монумент в честь героической защиты полковником Даефер‑Рошо крепости Бельфор во время франко‑прусской войны (1870–1871). [↑](#footnote-ref-6)
7. «В Каролине есть колыбелька» (англ.). [↑](#footnote-ref-7)
8. Факультет физики‑химии‑биологии. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ошибка автора. Улицы Югенс и Фруадво не пересекаются. [↑](#footnote-ref-9)